

ГРАНИ

24

1955

Год издания X

Выходит 4 раза в год

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

№ 24

1955

«ПОСЕВ»

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И СТИХИ

- Анатолий Дар
Солнце всё же светит 3

- Из русской зарубежной поэзии
Александра Васильковская, Григорий
Забезжинский, А. Неймирок, Сергей
Орлов, Екатерина Таубер, Борис
Филиппов, Игорь Чиннов 35

- А. Землев
Из цикла «Родина ветловая» 40

- Е. Яконовский
Небесные фонарики 74

ОЧЕРКИ ЗАРУБЕЖЬЯ

- Рости
Письма о Канаде 87

КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА

- Н. Анатольева
В поисках выхода 100

- Борис Нарциссов
Бунин — поэт 112

- Борис Филиппов
Константин Леонтьев и эстетика
жизни 116

- Н. Татищев
Сновидение Фридриха Гельдерлина 132

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

- В. Арсеньев — «Свет во тьме...».
А. К. — «Дворянские гнезда». А. Н. —
Христианская муза. Р. Р. — Типично
и не типично. 140

Обложка Н. Нико

СОЛНЦЕ ВСЕ ЖЕ СВЕТИТ

Р О М А Н

Часть вторая

Б Л О К А Д А

21.

Ненормальное чувство

Дни не летят, не идут, — ползут, пресмыкаются перед грандиозной глыбой человеческой муки, которую, кажется, ничто не может расточить, даже время. Только 25 декабря на улицах города можно было видеть, после полуторамесячного осадного сиденья на 125 граммах хлеба, бродячие улыбки и даже слышать невероятные, как лай собак или мяуканье кошек, радостные возгласы. Что могло быть причиной такого оживления? Что могло вывести людей из их голодного транса? Одно из двух: крупная победа на фронте или — прибавка нормы хлеба.

Да, хлеба, наконец, прибавили: служащие теперь будут получать по 250 граммов, «иждивенцы» — 200. Служащие приравнены к большинству рабочих. Партия поняла, что эта категория, с учеными, писателями и артистами, тоже хочет есть и может еще пригодиться, а иначе вымрет «как класс». И только рабочие, занятые на особо тяжелых работах, получили прибавку в 50 грамм.

Эта первая прибавка хлеба была и прибавкой надежды, и жизни. Но — только для тех, кто еще как-то хотя бы на ногах держался. А тех, к чьим костям на постелях тонким слоем опухшей кожи прилипли пролежни, уже не могла спасти. Таких — больше половины населения. Прохожие на улицах редки.

Но и у тех, кто еще мог стоять на ногах, у людей сверхчеловеческой стойкости, надежды хватит ненадолго, ненадолго продлится их жизнь.

Продолжение. См. «Г р а н и» №№ 21, 22, 23.

Продуктовые магазины попрежнему пустуют, население не получает ничего, кроме хлеба. И мороз. И метели — будто миллионы ведьм распускают свои седые космы и метут, воют. А какие-нибудь старушки-подружки, костлявые вертела с нанизанными лохмотьями, глазами и шапочками, встречаясь приветственно шепчут синими от мороза губами:

— Нешто это мороз?

— Нам-то что. Мы привычные. А вот немцу-то каково?

Таких старушек ничто не берет.

Когда Россия станет старушкой, — может, и ей будет чёрт не рад и не страшен?

*

Дмитрий проснулся оттого, что кто-то, проходя под окном, напевал охрипшим голосом:

Ой, хитра моя старуха,
Не найти хитрей,
Подарила мне старуха
Десять дочере-ге-гей!
Десять девок, как огонь —
Обож-жешься, только тронь...

Это управдом Малиновский. С тех пор, как Тамара выгнала его, он не рискует заходить, а так, иногда, «подает голос». Встречая Дмитрия на улице, кричит через дорогу:

— Солнце-то какое нынче! Как золотая десятка! — хотя оно было больше похожим на ржавое ведерное дно. Видно, скушал управдом, попивал древесный спирт, опухал.

Дмитрий выздоровел. Суп из «конской головизны» помог. Но все же трудно было собраться с силами пойти пешком в общежитие, хотя и очень туда тянуло — «как домой», говорил

он Тамаре, на что она обиженно отвечала:

— На мой взгляд, твой дом на сегодняшний день здесь, пора бы это понять! Да и что там делать? Ведь занятия в институте прекратились теперь уже, кажется, навсегда.

— Не тебе знать, — обижался он в свою очередь.

Теперь он поочередно с Тамарой ходил по утрам за хлебом, днем не ложился в «постель-гроб», а прогуливался, если не было обстрела, по Нарвской заставе, около Балтийского вокзала, вдоль Обводного канала. С каждым днем, с привычным отрывом от самого себя, он все больше и больше проникался мистическим сознанием неповторимости и величественности, красоты — да, красоты жизни, проходящей и неумирающей на его глазах, и в нем самом, и во всех, кого он встречал на своем пути.

В соседней комнате Тамара, зевая и крестясь — «бла-гослави на день грядущий» — вставала с кровати, похожей, на ее взгляд, на тарантас и скрипучими пружинами, и выгнутыми спинками.

— Пойди, вон тебя твой вздыхатель благословит, — сказал Дмитрий, — это он для тебя серенаду поет.

— Я ему такую серенаду покажу, что забудет, как домами управлять! — Тамара, по обыкновению хлопнув дверью, ушла за хлебом.

Было тихо. Это не значит, что немецкие орудия молчали, — они бы разорвались от молчания, от ненависти к этим русским, голодным, умирающим, но не сдающим, — они были по другим районам. Все уже знают, что если утром спокойно, — надо успеть использовать эту завесу тишины, пока ее не разорвет первый снаряд, а за ним другой и третий: немцы теперь швыряют их пачками. Еще ни одного дня ни один район не знал покоя. И в этом деле почти безнаказанного убийства и садизма немцы были точны и аккуратны. Если не утром, так днем, не днем, так вечером или ночью каждый район получал свою порцию в 5-6, а то и в несколько десятков снарядов. А последнее время

враг взял манеру срывать свое зло на Осажденном, первом своем камне преткновения, — за любой неуспех на Восточном фронте. За Москву, за Тихвин, за Волхов — он несколько раз принимался громить город и днем и ночью. Осажденный проглатывал тяжелые пилюли, апокалиптыне отмечали сокрушенно, но не без злорадства и военно-спортивного удовлетворения:

— Ничего! Это нам — за Москвуматушку, а это — за тихвинские бокситы, а это — за Волховстрой, лампочку Ильича. Ишь, как его припекло. Ничего!

Теперь даже вечно недовольные советской властью ненавидят немцев. Дмитрий пошел через Нарвскую площадь к Путиловскому заводу. После выздоровления его все время тянет туда, к фронту. «Орлы летят к солнцу — и не слепнут, иные люди идут на фронт, и живут там, как дома, а иные спят дома в постели и их разрывает снарядом. Разве есть какая-нибудь закономерность в жизни и смерти вообще, а на войне в особенности?» — думал он.

Неузнаваемо пустынна, даже для блокадного времени, Нарвская застава. Теперь она и в самом деле застава: шоссе, посыпанное, как солью, сухим снежным песком, закрыто шатбаумом. По обеим его сторонам стоят часовые с автоматами, подвешенными, по новой военной моде, на груди. За их спинами — фронт, закочевевший и неподвижный. 250 гр. сухарей, сытная похлебка, чарка водки, иногда шоколад — за их спинами. Счастливые люди в шинелях показывают часовым пропуска и проходят туда.

Когда-то это был пригородный район, по-пятилеточному нелепо и не по-пятилеточному беспланово, буйно разросшийся в послевоенные годы. Теперь это не пригородный, и даже не прифронтовой район, а фронт.

Вот трижды пукает трижды проклятое близкое немецкое орудие — и неотвратимо нарастает, пожирая пространство и тишину, как трехпалый разбойничий свист, лет снарядов. Кланяйтесь им, русские люди, ино-

земным гостям! Ведь вы всегда всё иноземное считали краше своего.

Но осажденные не кланяются им больше. Они бесстрашны — в высшем, уже неземном смысле.

Баррикады из трамваев, маскировочные сети над шоссе. А вот дом, будто стоящий одной ногой в городе — обнаженной лестницей. К нему можно подойти, посмотреть. Третий этаж его снесен снарядом и лег костями ребристой крыши неподалеку, в песчаный снег. Из дома выходят люди в белых маскировочных халатах. Одни идут в город, другие — «туда». К одному из них, лейтенанту, подбежал, словно вынырнувший из сугроба, мальчик в высоких сапогах и полушубке до пят. Мужичек с ноготок. Лейтенант сунул ему в руки какой-то пакет.

— Приходи через неделю, — сказал он. — Уезжаю на передовую. Привезу тебе шоколадку. Живи, знай, не умирай, — и быстро пошел за шлагбаумом.

— Чудак-человек, — сказал ему вслед мальш, — через неделю я уже наверняка умру. Ты мне подавай свою шоколадку сейчас.

Медленно и широко переставляя ноги, он брел навстречу Дмитрию, опустив голову. Столкнувшись с ним, он хотел отпрыгнуть, но не смог, только отшатнулся в сторону, испуганно пряча сверток под полкой. Из-под шапки-ушанки видны были только его глазёнки-волчонки, но это были незабываемые глазёнки бывшего любимца студенческой публики, сынишки дворника. Правда, теперь от него остались одни веснушки, да и те покрылись блокадным «загаром».

— Товарищ командир, — сказал Дмитрий дрогнувшим голосом, но он овладел собой, продолжал насмешливо. — Как там, у вас, затмение в порядке? Все зажаталки потушены? Власть на местах? Ну, давай лапу, здравствуй. Не бойся, не отниму, что у тебя там.

— Митрич! — узнал Игорек. — Вот это здорово!

— Что здорово?

— Да что встретились. У-у, какой ты...

— Какой?

— Худощий. А знаешь, что у меня в свертке? Сухари. Военные. Хошь, пожую?

— Жуй сам. Расскажи лучше, как живешь-можешь?

Но Игорек сначала достал из свертка сухарь, посмотрел на него с сожалением — что он мал, или что половину его надо дать, обязательно надо дать этому студенту, старому знакомому, иначе... иначе он не будет Игорек.

— Дают-бери, — сказал он снисходительно. Дмитрий взял сухарь и моментально сжевал, думая: «Ничего, я его приглашу на тюрьму».

— Живу я пока ничего. Присядем-ка на этой ступеньке, а то, я вижу, ты уже язык высунул. Это вам не историю цэки взкитэбы читать, как говорил мой папаня, царствие ему небесное, как говорила маманя, царствие ей тоже небесное.

— Умерли? Давно? — спросил Дмитрий, смотря в сторону, в мертвенный снег.

— Не так давно. Сперва папаня, потом маманя, потом и дом разбомбило. Хорошо, что я в это время был у Ванятки. У него и остался. Потом его мамаша куда-то ушла и не вернулась. Сначала мы здорово спекулировали с де-в-у-ш-ка-ми.*) Они же все деревенские, глупые. Уж как мы их с Ваняткой дурили, дурили...

— Заливаешь, Игорек! — сказал Дмитрий, улыбаясь, вспоминая старое общепитие, начало блокады, — даже эти дни казались ему далекими, мирными.

— Что? — не понял Игорек. — И ничего не заливаешь... А потом Ванятка пошел за хлебом и пропал. С карточками. Понимаешь мое дурацкое положение? И вот остался я один-одинешенек и без карточек.

— А этот лейтенант — кто?

— Да никто. Спаситель... Я это однажды огибался тут вокруг да около, а он подозревал меня и спрашивает: есть хочешь? — Глупый вопрос, —

*) Ученики фабрично-заводских училищ

говорю. — Конечно, хочу. А почему не прошу — это еще более глупый вопрос: ленинградцы никогда не просят. — Ну, говорит, вот тебе глупый ответ, — и дал мне целых три сухаря. И сказал, чтобы еще приходил, спрашивал его, Иванова. Я через пару дней прихожу, спрашиваю его. Вышел узбек, смеется: Ивановых, говорит, у нас тут целая батарея, или, иначе говоря, хоть пруд пруди. Наконец, вышел мой, принес сухари: от трех Ивановых, говорит, и двух Гаджибековых. А только сюда, к дому, больше не подходи, потому что запрещено. Вон там, за сугробами вроде любовную свиданию тебе назначаю. Вот я и прячусь теперь в сугробах.

— Ну, пойдём ко мне, — пригласил Дмитрий. — А потом, через пару дней, вместе пойдём к нашим, к Басу и компании. Хочешь?

— Спрашиваешь у больного здоровье. А здесь что, куда мы пойдём?

— Тюря!

— Тю-юря? Толково.

Тамара заставила Игорька умыться и попробовала расчесать его вихры, но из-под гребешка градом посыпались вши, и она, бросив гребешок, с удвечением стала их давить, забыв о клиенте.

— Я же говорил: не надо, — сказал Игорек, довольный.

Первый раз он улыбнулся за тюрей, обнажив желтые зубы и желтые белки недетских глаз. Начал есть, не торопясь, видно, подражая отцу, но потом ложка замелькала. Второй раз улыбнулся, уходя. Не согласился остаться ни на один день:

— Я вижу, вам самим жрать нечего. Лучше я подамся к Басу и компании.

— Ты всех помнишь? — спросил Дмитрий.

— Как же не помнить. И помню, и очень люблю. Только жаль, что все вы какие-то ненормальные. А ребята больно хорошие.

Дмитрий провожал его до Обводного канала. Около ворот завода «Красный треугольник», старого, как и Путиловский, гиганта, к ларьку

пивному или табачному — издали нельзя было разобрать — быстро пристраивалась очередь. В таких случаях надо не спрашивать, что дают, а стремиться как можно скорее занять свое место в очереди, как место в жизни или, во всяком случае, место, от которого зависит жизнь. У всех, особенно у женщин и подростков, давно уже выработался почти безошибочный инстинкт очереди. Это неважно, что ларек закрыт. Кто-то видел, как только что привезли несколько ящиков папирос. Продавец их принял и куда-то ушел. Но он скоро придет! И вот он пришел, милый старичок с трясущейся бородкой. Да что бородка. Он весь трясется. И вся очередь трясется — от холода, от голода, от нетерпенья. От жизни такой, как говорится... Теперь главное — чтобы не было обстрела, а папиросы старичок уже начал совать в окошко, по две пачки каждому. Деньги он берет, не считая, и от него никто не берет сдачи. Скорее, скорее. Лишь бы «он» не начал «психовать». Лишь бы успеть получить заветную пару пачек — этот единственный почему-то ненормированный «продукт». В окошке мелькают скрюченные пальцы, пачки папирос, бородашка продавца, скомканные деньги. Скорее! Скорее!..

Но снаряды уже свистят, как плети, уже шипят по-змеиному. Эти, шипящие, — самые страшные. Их змеиное шипенье, типнотизируя, нарастая и оглушая, вычеркивает из жизни всё, а часто и саму жизнь. Оно наполняет пустой желудок живительным, как кусок хлеба, страхом: есть в эти минуты-вечности не хочется. Конечно, лучше умереть, чем так, беспрерывно, хотеть есть, но все же не так умереть, чтоб — на куски...

У каждого снаряда свой почерк, свой голос-посвист, своя манера разрываться, рвать на части, сносить целиком или только продырявливать.

Снаряды рвались близко, но окошко продавца тоже приближалось. Дмитрий, сжимая плечики стоящего впереди Игорька, шепнул, словно стыдясь, чтобы кто не услышал:

— Может, смоемся, пока не поздно? Кажется, приблизительные уже идут.

— Ты — можешь, а я — никогда, — сказал Игорек и высвободил плечики. — Я не пойду к Басу без папирос.

Рядом, на улице Шкапина, два снаряда-близнеца впились в один дом, как жуки слету в навозную кучу. Разорвались они где-то дальше: очевидно, пробили дом и вылетели на другую улицу. В очередь полетели кирпичи и щебень. Она зашевелилась, завиляла хвостом. Еще один снаряд из серии шипящих — и хвост разбежался. Но голова не дрогнула.

Игорек, наконец, «оторвал» две пачки, за ним Дмитрий — и в очередь снова полетели кирпичи. Вслед за другими счастливыми, закуривающими находку, побежали, вернее пошли с видом бегущих людей, тянущихся глазами вперед, в ближайшую подворотню и упали там, оглушенные, не разрывом, нет, — шипеньем словно выпрвавшегося из котла пара — на этот раз не приблизительного, а накрывающего его снаряда. Стоглавую голову очереди смешало с обломками киоска.

Только немногие стонали. Для голодного почти всякая рана смертельна.

— Я ее знаю, это наша бывшая соседка, — указал Игорек на седую женщину неопределенных лет (апокалиптяне седеют в 25-30 лет), сидящую на снегу так, как безногие на роликах. Она безучастно смотрела на свои оторванные ноги, потом с тихим стоном повалилась навзничь, впиваясь в небо мгновенно заострившимся носом и открытыми льдинками глаз. Льдинки эти выглядят из каждого сутроба...

Старуха-горбуня — выживают же такие! — вся черная (видны только желтки ястребиных глаз), наклоняется над трупами, чуть не касаясь их веждыным носом, как ворон на поле битвы. Кого-то или что-то спокойно ищет.

Старик с разбойничьей мордой блокадного дворника вытаскивает из

скрюченных пальцев убитого кусок хлеба, пропитанный кровью, тут же кладет его в рот и обсасывает, как шоколадку. И рыщет глазами дальше.

Снег, залитый кровью, как солнцем, долго дымится.

Игорек тоже закурил, ловко цикая слюной через зубы.

— Ишь, какую кучу навалило! — сказал он. — Не первый раз вижу, а все-таки страшновато.

Высоко поднимая ноги — перешагивая через трупы, ушли. «Еще один герой погиб, — подумал Дмитрий, — продавец! Те, что погибли в очереди, очередные жертвы. Сотней убитых больше или меньше — не все ли равно: целые провинциальные города ежедневно погибают в одном нашем городе. Очередные — это толпа. А продавец — герой. Он погиб из-за этой толпы. Ведь что ему стоило закрыть свою лавочку и уйти во-время»? Последние слова он сказал вслух, и Игорек засмеялся:

— Ха-ха, товарищ профессор! Папаня всегда говорил, что из этих ребят, кое-из кого, профессора получают, и будут сами с собой разговаривать.

— А из тебя что будет? Кем ты хочешь быть? — спросил Дмитрий.

— Кем быть — тем не миновать, как говорил опять же мой папаня. А хотелось бы заделаться студентом.

— Каким? Чего?

— Таким, как вы, вот чего.

— Ну, и быть тебе вечным студентом, обо всем знать слегка, экзамены сдавать скондачка, пить водку и закусывать хвостом селедки. Хочешь?

— Глупый вопрос. Конечно, хочу.

— На этом анкетные вопросы закончены. Вы свободны, товарищ вечный студент в будущем. Привет всем.

Пройдя несколько шагов, Игорек вернулся.

— Вот, чёрт, — неловко сказал он, — забыл сказать спасибо... вам...

Дмитрий, облокотясь на перила моста без названия (через Обводный канал), какого-то неслыханного моста со свежей от снаряда дырой, думал вслед удаляющемуся почти не видно-

му от земли мужичку-с-ноготку: «Это уже не наше поколение детей Октября, гражданской войны и нэпа. Эти не будут разговаривать сами с собой. Они не так нервны и впечатлительны, они будут тверже стоять на земле. Но — будут ли? После такой войны? Я не имею в виду блокады: дети блокады — будущие безумцы или гении. Но другие миллионы русских детей? А Ванятка из 34-го, или какого другого номера, где, в каком сугробе найдут его, с обожженными руками и почерневшей головенкой? А Игорек... Сколько еще снарядов просвистит над ним, дойдет ли благополучно? Слово тоже: благополучно — какое мирное, удобное...»

На Пионерском переулке не было никаких военных объектов, даже пионеров не было — все вымерли, но снаряды частенько ложились вдоль него, как спать, обычно не причиняя никакого вреда.

Но вот разорвало лошадь с извозчиком, и колеса телеги взлетели вверх вместе с поклажей — кусками дуранды, похожей на прессованную солому. Изю всех подворотен к месту катастрофы бегут и бросаются на еще дрыгающую ногами лошадь люди. Нет, это уже не люди. Ведь даже шакалы оставляют хотя бы обглоданный скелет. Эти ничего не оставили, даже постромок...

Но — не все, не все разрывали еще живую лошадь на куски и вырывали их друг у друга из рук. Многие жмутся у стен домов, с глазами, удивленно вытаращенными или настороженно вобранными в орбиты, иногда дико насмешливыми, чаще тупыми и пустыми. Почему они стоят неподвижно? Какое ненормальное чувство удерживает их? Может, лучше смерть, чем это? Кто знает, что там? Не лучше ли, на всякий случай, войти туда — много ли осталось жить — с руками, не запачканными кровью, хотя бы и лошадиной? ... Две старушки по кускам собирают труп извозчика.

— Это Ивановны мужик, — сообщает одна из них Дмитрию, проходящему мимо. — Вы же должны ее

знать, ваша соседка. Надо бы ее предупредить. Я вот только другую явонную руку никак не найду.

Дмитрий не знает ни старушки, ни Ивановны, но молча кивает головой. Ну, и денек. Впрочем, день обычный. И он еще не кончился. Продолжается и обстрел Нарвского района. Сокрушительный обстрел, но бывали и по сильнее. И еще будет. А пока еще два снаряда рвутся один за другим в бане и — напротив нее — в булочной. В бане обошлось без жертв — сорвало одну крышу, булочная, на время обстрела, была закрыта. Снаряд открыл ее, и голые, выскакивая из окутанной паром бани, с радостными возгласами бросились в булочную.

Навстречу Дмитрию почти по-настоящему бежали два голых, один с дворницкой бородой, другой с усами. Бородач бежал с двумя буханками хлеба в подмышке, а третьей размахивал в руке и она выпала. Пока он оглянулся, пробежав по инерции несколько шагов, Дмитрий подобрал буханку. Голые остановились, глядя на него очумело, затравленными глазами. И он смотрел на них беспокойно. — Брось это дело, — сказал усатый бороде. — Нешто не видишь — он в одежде. А с одетым разве справишься? — И они побежали дальше. Через несколько минут баня, булочная и весь переулок опустели. На снегу остались отпечатанные человеческие ступни. Расходящиеся в разные стороны — они виднелись всюду — следы крупных, хищных и самых несчастных в мире зверей.

Обстрел же не утихал. Снаряды рвались где-то недалеко за спиной Дмитрия, но он шел, как рассказывал потом коммунарам, парадным шагом: буханка грела не хуже буржуйки. И уже около самого дома прошипело над ним и опало, и бросило наземь, и встало в глазах, вырастая до неба, коричневое в основании. Только через несколько минут, когда еще пронесся над ним поток раскаленного воздуха — на этот раз последний, — он встал и, пошатываясь, пошел, словно поплыл в красных кругах.

... Навстречу ему бежала Тамара.

Когда она оставалась дома одна, то убегала во время обстрелов в соседский сарай. Он все-таки был каменный, и все из деревянных домишек укрывались в нем и в подвале под ним. Соседка по дому, высокая женщина средних лет, которую все называли Ивановной, стояла у входа в сарай, как на наблюдательном пункте. Это она увидела, как упал Дмитрий, и крикнула в погреб:

— Эй, Тамарка, тваво, кажись, на улице снарядом накрыло!

Сперва он увидел, в ореоле красных кругов своего беспамятства ее лицо, родное и испуганное, потом круги разошлись, и он увидел ее всю и остановился. Он ни о чем не думал, только смотрел. Пальто ее распахнулось, и он впервые за все время понял, что она уже не девочка. И синяя вязаная кофточка ее съехала как-то набок, обнажив тонкую девичью шейку и грудь. Она налетела на него, как ветер, чуть не сбила с ног.

— Сколько тебе лет? — спросил он.

— Да ты что, с ума сошел? — закричала она. — Идем скорее в сарай, а то как бы еще не трахнуло. Сегодня ужас, что творится. Я насчитала 50 снарядов, которые вблизи разорвавшись, а сколько — вдаль? Шоколадную фабрику разнесло, Холодильник, Мясокомбинат, кино «10 лет Октября», булочную... — Так сказать, все еврейские предприятия... — И, главное, баню... Как жаль баню! Ведь одна на весь город была. Только что открыли, и по радио сказали, и в газете написали. Ну, ты идешь или ползешь? — она дернула его за рукав. — Впрочем, кажется, концерт закончен. На сегодня хватит... А ты нехороший, господин скотинин, или как еще вы себя с Сашей величаете, нервостеник, что ли? Разве можно так собой рисковать? Идет себе, как по Невскому из театра. И еще остановился, как нарочно, когда меня увидел.

— Разве? Впрочем, это бывает со мной, если задумаюсь или увижу что-то интересное впервые.

— О чем можно думать, когда снаряды рвутся? И что ты мог такое

увидеть?

— Тебя.

— Никак смеяться надо мной вздумал? — она легонько толкнула его в спину. — Иди уже, знай. Вот придет Нинка, я ей все расскажу. Как меня одну бросаешь на целый день, и вообще... Не любишь меня, на мой взгляд.

— Взгляд явно ошибочный, — сказал он и в коридоре поцеловал ее дрогнувшие губы и мокрые глаза. — Почему ты плачешь?

Она ничего не ответила и открыла незапертую дверь своим особым способом — одновременным толчком бедра и ноги. У нее это называлось — открыть дверь задней ногой.

Со снятых валенок Дмитрия со звоном падали на пол, как красные стеклышки, пропитанные кровью льдинки. От единственного оконного стекла медленно отлипал и ускользал вверх последний солнечный луч. Еще один пресмыкающийся день уползал в страшную нору вечности.

— Такая ясная погода — чистое наказание для нас, — сказала Тамара. — Немцу все хорошо видно, даже Пионерский переулок.

— Да, — вспомнил Дмитрий, — пойди скажи какой-то Ивановне, нашей соседке, что ее муж, извозчик, убит на этом детском переулке.

Тамара ахнула. Это был старый знакомый, милый «дядя».

— Да как же это... Где же он там!

— Да там... В сборочном цеху, прости меня, Господи...

— Вот, а еще мне сказала: тваво, кажись, накрыло. А получилось, что еённого.

Пока она бегала сообщать и плакать, на что блокадные женщины большие мастерицы, он вздремнул. И не успел ее во сне поцеловать еще раз, как она разбудила его:

— Нельзя спать перед сном, — сказала она, и он согласился, что, на его взгляд, это вполне логично.

— А все-таки, сколько тебе лет? — спросил он.

— В субботу сто лет будет, а что?

— Да так просто. Я как-то и не заметил, что ты уже стала такая... сов-

сем взрослая. Подумать — такая пропасть лет.

— Ты многого не замечаешь. Такие уж вы, наверное, все — поэты-нервостеники. Все витаєте в небесах, а больше всего о себе думаете.

— Да. Тяжелый сегодня день. Вот, и поговори о любви, как принято в нашем обществе, после такого столбоваляния. Новый литературно-исторический термин. Прошу записать. Итак, как это принято в нашем богоспасаемом государстве, начнем анкету. Вопрос первый: любили ль вы?

Тамара не хотела отвечать, но, под утрозой немедленного перехода следователя по любовным делам на конюшенное положение, призналась:

— Был тут один лейтенант.

— И что же?

— А ничего. Война, на мой взгляд, помещала.

— Так, значит, я должен благодарить войну.

— Благодарю лучше Нинку.

— Что это? Ревность?

— Как хочешь назови.

— Благодарю вас. Что же тогда, на ваш взгляд, сама любовь? Предупреждаю: красивейшие писатели мира по этому поводу не сказали ничего путного. Подумайте, потом скажете.

Но Тамара недолго думала:

— На мой взгляд, если он вас так интересуєт, любовь — это какое-то ненормальное чувство, — сказала она, и покраснела.

— Браво! Запишем. Синьорита, мировые классики могут позавидовать вам. Еще непризнанные современности вроде меня, Саши и Баса также не годятся вам в подметки. Вопросы будут? Вы свободны. Свободны любить и жаловать... да, и жаловаться... — язык его заплелся, и он уснул.

А она долго сидела около него.

Пресмыкающийся день, вильнув хвостом последнего солнечного луча, уполз.

Она сидела в темноте. Она не хотела зажигать коптилку и не знала, почему. Нет, она знала, почему. Она прилегла к нему на кровати. Вот — почему. И обняла его, и поцеловала в

губы. Вот — почему. Как хорошо, что он спит и ничего не слышит. Несколько раз она вскакивала, испугавшись какого-нибудь скрита на лестнице, и снова ложилась... Так, мечась от двери к кровати, она не заметила, что он проснулся.

— Еще один вопрос, синьорита, — сказал он, и она, вздрогнув всем телом, чуть не упала с кровати и хотела бежать, но он ее удержал, прижал к себе крепко. — Почему вы не можете лежать спокойно?

— Потому что это... первый раз.

— Как ты это хорошо — просто и доверчиво — сказала, милое ты дитя великого города. Я уже несколько раз начинал понимать, что люблю... да, что не представляю себе жизнь без тебя... но как-то, каждый раз, не до конца. Не так, как сегодня. Я никогда не забуду, как ты бежала по двору, не забуду твое лицо в ореоле... знаешь, в таких красных от головокружения кругах, и твои глаза, рвущиеся навстречу мне.

— Да, я рвалась к тебе. Меня Николаевна удерживала — ведь обстрел еще не кончился, — но я вырвалась. А теперь ты спи. Скоро Нина придет.

Но только он начал засыпать, она спросила:

— А как же эту буханку хлеба, что ты говоришь, на дороге нашел...

— Да, мягко выражаясь, найшол, как говорят украинцы. А что? Ты удивляешься, что мы ее не съели? Я сам этим поражен. Давай похвастаемся перед Ниной.

— Да я ничего. Только чтобы она не подумала, что мы тут, без нее, обжираемся... Она и так что-то дует, что-то подозревает, только молчит. Я ее знаю. Гордая она и злая, если что не по ее. Лучше мы этот хлеб съедем, чтобы она не знала.

— Как хочешь. Только напрасно я тренировался в выдержке: ведь я только и думал то о тебе, то о хлебе. Выдержка на хлеб мне удалась. Не знаю, удастся ли выдержка на тебя. Ну, давай, если хочешь, съедем по кусочку. Иначе теперь я не усну. Привыкай к тому, что я люблю пошутить.

— Я не всегда вас понимаю, господин нервостеник, — сказала Тамара обидчиво, — но я не обижаюсь. — Она мысленно делила буханку хлеба, словно грозила ему пальцем. — И эти самые ариолы — они же от снаряда у тебя в глазах запрыгали, а я люблю, чтоб — от любви.

Когда пришла Нина, он спал. Тамара, как всегда, сообщила ей новости:

— Его чуть не убило на моих глазах.

— Что? Ты серьезно?...

— Да ничего. Не буди... У Ивановны дядю Митю убило. Про баню и булочную, наверно, сама слыхала. Вообще всё сегодня разнесли. И я себя как-то ненормально чувствую.

22.

Голодный рынок

В утреннем тумане белым контуром четко очерчена кривая недостроенных этажей. Кривая — она же ломаная и исковерканная: досталось и этим, еще не начавшим жить, домам. Под снегом их не отличить от соседних — старых, разрушенных домов. Так и людей теперь не отличишь — молодых от старых, живых — от через минуту мертвых.

Сенная площадь... Здесь начинается и идет вдаль 18-тикилометровый Международный проспект — в чужую теперь даль, в тьму внешнюю, к немцам: в конце его, в новом Дворце Советов, самом большом здании страны, немцы свили себе уютные и неприступные гнезда, установили наблюдательные посты и жили, как дома.

Через площадь проходит главная коммерческая улица города — Садовая. Сенная площадь на стыке таких важнейших магистралей издавна славилась, как самое бойкое торговое место города. Но никогда она не была такой оживленной, как в дни блокады. Огромный колхозный рынок, закрытый в начале войны, потом как будто сам собой открылся. Все рынки были закрыты — и открылись.

Дмитрий много слышал о чудесах этого рынка, но пришел первый раз: «Госголрын», как его называли то-

лочные, изголодавшиеся по юмору остряки, не лежал на пути следования в общежитие, который, в свою очередь, Саша называл «Из варят в ворюги» (после воровства спирта и олифы).

От вчерашнего потрясения сегодня, после крепкого и долгого сна, почти ничего не осталось. Почти... Если не считать приятного и досадного вместе чувства «Тамары в ореоле», или «Явление Тамары в промежутке между двумя снарядами», или просто «Явление святой Тамары павшему грешнику». Последнее определение Тамаре понравилось больше других и, уходя за хлебом, она сказала:

— Ну, святая Тамара пошла за просвирками.

Досадовал он на себя за то, что поцеловал ее — «Можно было обойтись без нежностей», — и за то, что согласился скрыть от Нины «факт буханки». Свою долю, отделенную магическими пассажами Тамары, он решил, в наказание за свое малодушие, не есть, а променять на конфеты и принести их сестрам, как «суприз».

День был солнечный, снаряды свистели, шли на Петроградскую сторону. Последнее время немцы почему-то особенно ее невзлюбили. Саша написал о ней стихи:

И страна то как будто недалённая,
Но такая у нас одна.
Сторона ты многострадальная,
Петроградская сторона.

Бывает так: понравятся какие-то простенькие стихи, запомнишь их сердцем и часто бормочешь в душе. Долго бродил Дмитрий по этому невероятнейшему в мире рынку, бормоча, как во сне, пока не столкнулся с другим бормочущим, только вслух, наяву:

Восстань поэт, и виждь, и внемли...

Это был Саша.

— Ну, вот, а я к тебе, — сказал он. — Приняли вчера твоего посла с верительными папиросами, и я понял, что соскучился, только не понял, по ком: по тебе или по сестричкам, особенно по Тамаре. Что? Конфет — на хлеб? Да это проще простого. На

хлеб — все можно. Дай-ка мне. А ты — виждь и внемли.

Крытый Сенной рынок не мог вместить в себя всех торгующих и меняющих, покупающих и просто «желающих», и голодные устроили свой Голодный рынок прямо на площади.

Это была не торговля 20-го века, а примитивный, как на заре человечества, обмен товаров и продуктов. Измученные голодом и болезнями, оглушенные бомбардировками люди приспособились к своей отупевшей психике все человеческие взаимоотношения и прежде всего — торговлю, в ее допустимой — советской властью и не допустимой в блокаду — мере.

И многие вдруг поняли, что торговля — не только источник наживы и легкого обогащения (для государства или капиталистов), но что она имеет в себе и гуманное начало. Неизвестно, к чему приведут цивилизация и наука. Может быть, когда-нибудь прыщавый и худосочный студент с физико-математического факультета найдет архимедову точку опоры (это не атомный взрыв, а похуже), — и рухнет всё, созданное людьми за тысячелетия. Но пока большинству средних людей приятней и легче жить в цивилизованном мире, чем, например, в дебрях Африки или в рожденных дебрями марксизма Соловках и Колыме. Теперь даже никто из русских ортодоксальных коммунистов не станет отрицать, что и торговля, и религия, особенно православие на Руси, способствовали просвещению и цивилизации.

На голодный рынок темные силы мародерства и спекуляции доставляли хоть понемногу, любые, за исключением жиров и овощей, продукты и этим, сами того не зная, делали благое дело, непосильное государству, дрогнувшему под ударами неудачной войны.

Люди несли на рынок золото, меха и драгоценности — и получали за это кусок хлеба, как кусок жизни.

Когда хочешь есть и умираешь оттого, что есть нечего, — поймешь, что один час хотя бы и обманчивой сытости и один лишний прожитый день,

хотя бы и последний — дороже всякого золота. Кто этого не понял, тот давно умер, а ценности из его квартиры или карманов забрал дворник или милиционер.

Маленькие или незаметные в мирное время люди и людишки — дворники, милиционеры, ухаживающие домами, извозчики, официантки — вдруг выросли на глазах прочих обыкновенных граждан в крупные и чрезвычайно важные фигуры. Многие из них не только выживали, но и наживались. В этом была огромная, равнодушная сила государственной «власти на местах», которая не станет переставлять пешки и садить на хлебное место дворника или извозчика — профессора, хотя он тоже с бородой. И пусть профессор умрет, а дворник будет жить. Демократизм голода.

Все апокалиптыне ходят подпоясанные ремнями, кушаками и веревками — так теплее. На рынке это придает им смешной купеческий вид. Все — и продавцы и покупатели, вернее менялы — худы и бледны. Редко пройдет, словно проплывет в туманном сознании сытая и потому отвратительная, но тоже бледная, лунообразная физиономия словно свалившегося с луны ловкача или негодяя. Или... людоеда.

Сразу же, с первых дней голода, установились твердые цены на продукты и вещи и держались тверже и постоянной государственных цен мирного времени.

Выше всего ценится хлеб: от 2000 до 3000 рублей, но деньгам предпочитают золото, обычно — золотые часы любой фирмы. Вслед за хлебом на иерархической лестнице астрономических цен — спиртные напитки и табак.

По этим продуктам котирувалось все и сама жизнь.

Дорого стоит также сахар, дешевле «бадаевский сорт» — так называется сахар, смешанный с землей и сгоревший во время пожара на Бадаевских складах. На их пепелище весь город ездит с саночками и возит оттуда мерзлую, сладкую родную

землю. Ее оттаивают в кипятке и пьют, как кофе.

В большой цене теплая одежда, шубы, полушубки, валенки. Иногда, как яркие заплатки на грязно-снежном рубище рынка, мелькают ткани с кровавыми отпечатками пальцев. Это «Фрунзенский сорт» — из расстрелянного Фрунзенского универмага.

Голодный рынок почти по-восточному живописен и пестр. Голодные нарядили его во все самое драгоценное, что имели. От паперти смоленского собора с вознесшимся в небо ребристым куполом вдоль и поперек всей площади рядами стоят продавцы (многие сидят), и у ног их, на разостланных на снегу одеялах, сверкают бриллианты, золото, часы всех времен и стран, серебряные и никелированные самовары, граммофоны, церковные реликвии. Здесь же можно видеть картины великих русских художников, десятки лет безуспешно разыскиваемые Русским музеем и Третьяковской галлереей, театральную бутафорию и бухарские ковры. Как будто здесь все, что осталось от блеска и величия прежнего, еще не умершего, но на этот раз, кажется, окончательно умирающего, имперского Петербурга...

Все эти вещи продаются открыто. Остальное, и самое главное — продукты, — только из-под полы.

И все это — до первого «шипящего». И не всегда успевают разбежаться. Ковры, картины и иные драгоценные творения человеческих рук не раз забрызгивались человеческой кровью, но люди снова и снова, следуя установленному на кровавом опыте календарю (если обстрел был вчера утром, сегодня будет вечером), приходят сюда, как на поле битвы, битвы за жизнь. Вчера здесь лилась кровь, сегодня — спокойно.

Артист и режиссер, придите на Голодный рынок. Посмотрите: здесь та невероятная действительность, о которой может только мечтать любая сцена. Посмотрите...

Около булочной трое, размахивая руками и вращая несверкающими глазами, спорят, весит ли заверну-

тый в тряпочку кусок хлеба положенные 250 грамм. Они поочередно, с глубокомысленным видом, взвешивают его на ладонях, потом, чтобы решить спор, подходят к весам. Весы — частное предприятие. Весы — символ преждевременного, но весьма ловко и нахально возрождающегося капитализма. Их на рынке несколько, все они взяты, «извлечены», как объяснял один из «хозяев», из развалин магазинов к услугам «сумлевающихся». Взвешивают, главным образом, хлеб — что же еще? Конфеты идут поштучно, сладкая русская земля — стаканами, древесный спирт и олифа — в бутылках, табак-самосад — стаканами тоже. Что же еще? Пожалуй, это и весь преискурант Голодного рынка. Бывают, правда, иногда «военные» кусочки сала и сухари. Но это уж почти ископаемое — из недр воспоминания. Всё взвешивается «за щипок». Так называется гоно-рар весовщиков — с того времени, когда техника этого дела была еще не на высоте: кусочек хлеба просто отщипывался. Откровенно говоря, первое время весовщиков бивали — когда «просто так», тогда еще поздоровей были, а когда и за дело: весы, после пребывания под камнями, пошаливали. Потом, возможно, сами собой, весы отрегулировались, а «щипок» заменялся «уголком»: кусочек хлеба наискось отрезался ножом — настоящим, какие в булочных. Вместе с этим пришло и всеобладающее признание, и весовщиков перестали бить: их миссионерское терпение победило.

Посреди площади высокий мужчина в меховом пальто предлагает за деньги — это и привлекло к нему толпу голодных зевак, особый блокадный тип людей с вечно открытым бесслюнным ртом — зубной порошок, подробно объясняя способ приготовления из него киселя или пудинга.

— На литр горячей воды надо бросить две-три ложки моего порошка, прибавить ложку крахмала или картофельной муки, да всыпать побольше сахара. А можно проще: вместо этих редкостных продуктов использо-

вать столярный клей и бадаевскую землю. Эффект получается тот же самый. Навались — сто рублей пакет!

Но столярный клей тоже не дешев. Его дают на предприятиях рабочим, как премию, по две-три плитки, и так и называют: блокадный шоколад.

У этого продавца, не лишнего юмора, есть и порошки против блох, клопов и вшей, но он их не рекламирует, а «всучивает» потихоньку. От паразитов, особенно вшей, все равно, спасенья нет. Это самые верные и проклятые спутники голода — не то, что крысы и птица.

Рядом дама неопределенных лет (теперь все неопределенных лет) отдает золотые часы за килограмм хлеба. Вернее, она их не отдает, а держит на ладони, заклиная:

— Кило хлеба, кило хлеба...

Огромная фигура неопределенного пола, до глаз укутанная в лохмотья, ни слова не говоря, показывает из-под полы кусок хлеба, пожалуй, не меньше килограмма. Тут нужен глаз. Такие куски нельзя взвешивать. У весовщиков нет даже таких гирь. Почему же? Милиционеры? Нет, их не особенно боятся. Наоборот, неожиданно выясняется, что многие из них — тоже люди. Они так же голодают, как все. Демократизм голода. Что же тогда? Весы не выдерживают? Нет. Не выдерживает голодное терпение зевак. Они бросаются на хлеб, и — бей их, не бей — пока кусок хлеба не откусят своими зубами — не выпустят из рук.

Рыночный зевака при виде порядочного куска не зевает. Но он не претендует на весь кусок — так, чтоб схватить и бежать, на это у него не хватит сил: хотя бы немного откусить, а там уж была не была! пара тумачков не в счет!

Еще меньше зевают профессиональные воришки и грабители средь бела дня: эти берут у вас хлеб под угрозой финки в бок — так, что со стороны кажется, будто вы сами отдаете, хотя и с плачем, но кто уж при этом радуется? Хлеб отдавать,

хотя бы и на золото, «каждому жалко».

Есть грабители и покрупнее. В «Ленинградской правде» сообщалось о поимке и расстреле нескольких банд, грабивших пекарни. Но это — не так часто. Весь «преступный возраст» — на фронте, да и охрана хлебных мест поручена фронтовикам, а не милиции и даже не НКВД. Эти не ведут следствия. Убивают на месте. И, наконец, «резваки» совершенно исключительная и редкостная порода воров: они прямо, без проволоки, хватают хлеб из рук и умеют не только бегать, но и заглатывать хлеб на ходу. Такого и поймаешь, так от куска все равно не остается ни крошки. Да теперешний хлеб и не крошится: почти белый от замешанной в муку древесины, он плохо пропечен, увесист и рыхл.

Вот истошный вопль заставляет всех обернуться в сторону собора, фигура, рассматривающая часы, вежливо возвращает их даме:

— Погодите, я чичас, — и устремляется к месту происшествия, вся трепеща лохмотьями, как крыльями.

— Дяржи-итя ято! — голосит баба вслед мальчишке лет пятнадцати. А он стремится через площадь в толпу зевак, думая, что несется во весь дух. На самом же деле одна его нога будто и бежит, но другая только идет. Но у бабы дело еще хуже: одна ее нога будто идет, а другая стоит на месте. За нею увязываются неизбежные в таких случаях любители. Все «бегут» так, как в кино иногда показывают бег лошадей или спортсменов — замедленным, плавным аллюром... «Резвак» по-заячьи косо врывается в толпу и падает.

— Дурак-резвак! — говорит кто-то из толпы сочувственно. — Кто же ищет спасение в толпе?

— А некоторые, — отвечают ему. Толпа относится к вору явно сочувственно. И даже больше: сочувственно — у вора уже не было хлеба, когда его настигла погоня.

— Да няужто всю буханку сожрал? Ах, подлец ты, подлец, — запричитала баба.

— А это мы сейчас проверим, — сказал мужчина в лохмотьях и, наклонясь, одним рывком вытащил изо рта «резвака» кусок мякиша. Он подал его тетке:

— К моему сожалению, это все, мадам.

Потом деловито двинул «бесчувственное тело» сапогом в бок.

— Ну, ты, лохматичная верзила, полепше! — крикнули ему из толпы. — У нас не принято ногами стучать. У нас больше так. . . — В чьих-то руках узко блеснул нож. Фигура, трепеща лохмотьями, удалилась.

Баба растерянно взглянула на «остатний» кусок хлеба — и выронила его из рук: в окровавленном мякише торчало два зуба (дистрофические зубы, вонзаясь в хлеб, отстают от десен и при менее драматических обстоятельствах, сами собой). Хлеб налету подхватил какой-то зевака и тут же съел, выплюнув зубы, как семечки.

Баба ушла, причитая: «Хлеб-т ыть был ня мой». Резвака подняли и увели, очевидно, его приятели, которым он передал хлеб, падая под их защиту, а фигура опоздала к часам: дама уже целовала золотую крышку с монограммой и просила женщину в меховой шубе:

— Я надеюсь, вы мне вернете их после войны, если, даст Бог, живы будем, — за любую цену. Это память моего мужа. Вы не забудете мой адрес?

Базарный день в разгаре. Тонкий и взволнованный голос скрипки послышался откуда-то сверху, будто с неба. Почти так и есть: в окне третьего этажа полуразрушенного дома играет скрипач. Он стоит в окне, как в раме, лицом к площади — как лицом к жизни. За его спиной — тьма развалин, засоренный трупами лед Обводного канала, обгоревший каркас Фрунзенского универмага, смерть. А на площади — тьма полуживых полулюдей, пришедших сюда, чтобы жить. Для них он играет, как для жизни.

Проходящие мимо, задрав кверху сухие кадыки, смотрят. Некоторые останавливаются. Это не просто зеваки. Они стоят, как в церкви, молит-

венно сложив руки, с сухо закрытыми ртами и по-куриному смежающимися веками. Три старушки изредка кивают мумийными головами. Они без слов понимают друг друга. Как они уцелели? Чем они живы? Музыкой? . . .

Мужчины никогда не умеют понимать друг друга без слов. Они перешептываются, как в концертном зале:

— Концерт Венявского. Терпеть не могу.

— А это что? Стравинский?

— Не будьте идиотом. Как можно не отличить Стравинского от Шенберна?

— Ну, а это, с вашего позволения, Хиндемит?

— Не позволяю. Это как раз Стравинский.

— Кто их к черту разберет, они все на один манер, эти модернисты.

— Вы бы тогда лучше ушли отсюда.

— Ах, вот, вот, наконец, концерт Бетховена. . . Боже, эта музыка сведет меня с ума.

— Ха! Разве вы еще не сошли с ума?

— Я пока нет, но вы, кажется, да.

— И я, и вы, и эта первая скрипка оркестра филармонии — я его сразу узнал — и все, кто здесь стоит, разинув уши, — все блаженные.

Постепенно собралась толпа. Подошли и Дмитрий с Сашей.

А скрипач все пилит и пилит смычком, как по обнаженным нервам. . . После нескольких, взывающих к небу, тактов скрипичного концерта, будто сам сошедший от них с ума, он бросал в окно, как мартовских котов за шиворот, дикие диссонансы. Устав, ронял голову с бурей черных волос на грудь — кланялся. Стоял, картинно подбоченясь, со скрипкой в откинутой левой руке, — отдыхал. Потом снова мрачный Бетховен, тревожно радостный Чайковский, отрывочные пассажи, дикий галоп двойных терций. И снова Чайковский. . . Нет, не Бетховен, а Чайковский сводит всех с ума. Нервные токи проходят по толпе. Даже старушки начинают шептать и бормотать.

— Уйдем, уйдем отсюда, — стонал Саша, — от безумия этого подальше, как от греха.

Широкий и мощный мотив оборвался на тонкой взлетной ноте... И вдруг скрипач взмахнул руками, как птица, и выбросился в окно... Он вероятно умер налету, как умирают птицы: упал в высокий супроб рыхлого снега — не мог разбиться, но когда к нему подбежали старушки, сердце его уже не билось и глаза закрылись. Видно, всем музыкантам подобает умирать с закрытыми глазами, чтобы лучше слышать последние звуки...

Скрипка упала возле него, как-то после него, словно сама выбросилась из окна. Смычок был зажат у него в правой руке.

Скрипач был даже по-блокадному молод и красив — утонченной, удрученной и одухотворенной голодной красотой. На его высокий, чистый лоб падали первые звездные снежинки начинающегося снегопада. Старушки окружили его галочьей стайкой. Они не оставят его на снегу. Многие в толпе плачут, и это удивительнее всего.

Заплаканная женщина вытолкнула из толпы упирающегося мальчика лет тринадцати:

— Иди, иди не бойся его. Возьми скрипочку-то, и смычок прихвати. Ты ведь сам скрипач. Да, он два года учился до войны, — сказала она старушкам, тревожно повернувшись к ней черные носы. Мальчик чистенький, застенчивый, — даже румянец озарил его бледные щеки, — удивительно хорошо, для своих лет, сохранившийся: такие блокадные дети обычно похожи на старичков-карликов. Все на него смотрят, как зачарованные: бывают же такие дети... Да, бывают. Это баловни не только умирающих родственников, но и бесмертной судьбы, словно она хранит для чего-то. Она знает, для чего.

Он храбро взял скрипку.

— Гваренго! — восхищенно ахнул кто-то.

Но взять смычок из руки мертвеца мальчик не посмел и беспомощно

озирался вокруг, ища глазами мать, но не видел ее, хотя она стояла рядом. Он не видел ее потому, что не она, профан в музыке, могла ему помочь в эту минуту. Старушка в белом шерстяном платье, тихо-музыкально-голодно помещанная, как и почти все в этой толпе, подошла к нему с просветлевшим темным лицом, взяла за руку и заставила стать на колени возле трупа. Спросила:

— Креститься-то хоть умеешь? Нет? Ну, вот так, смотри...

Перекрестившись сама, взяла его руку в свою и осторожно высвободила смычок из тонких и цепких пальцев мертвеца.

— Главное, что ты прикоснулся к нему, — бормотала она, — пока это самое от него не отлетело. А ну-ка, сыграй, благословясь, что умеешь. Пусть он послушает. Не бойся. В этом надо смелым быть. Трусы не украшают жизни.

— Валяй, валяй! — крикнули из толпы.

Мальчик просветлел глазами, ловко прихватил скрипку подбородком и слабым, но верным взмахом смычка коснулся струн...

Никто не понимал, что он играет, и меньше всех понимал он сам. Такт за тактом ширился и рос какой-то неведомый, яркий и теплый, как язык пламени, мотив. Взбираясь все выше и выше, он оборвался на тончайшей волосной ноте — на той самой, на какой вдохновенный скрипач с бурей волос на голове оборвал свою игру и жизнь!

Трусы не украшают жизни. Искусство жизнь украшает и куда-то, к чему-то зовет, кто его знает, к чему. И в этом надо смелым быть, потому что украшать жизнь — это значит бороться против подлости и мракобесия. Трусы не украшают жизни. Даже такой...

На углу Садовой и Международного проспекта двое задрались из-за горбушки хлеба, они вцепились в нее и стараются вырвать друг у друга. Но это не удается ни тому, ни другому: оба они бессильны, их костлявые пальцы словно спаяны этой горбуш-

кой. Но вот один из них делает вялый взмах рукой, как благословляющий священник, и так же вяло и даже нехотя опускает ее на голову противника. Тот тоже хотел было сделать такой же грозный жест, но из толпы вынырнул «оголец»-мальчишка лет двенадцати — и вырвал у них эту горбушку. От неожиданности или оттого, что сцепляющее их звено исчезло, оба падают — спинами в разные стороны под удивительно тихий, с оскалом кровоточащих цынготных зубов, смех голодных — и веселый, ни добродушный, просто — смех.

А там баба что-то не поделила с мужиком. За неимением у него длинных волос, она впилась ему в бороду. Отсюда вывод, что если бы у женщин росли бороды, они таскали бы друг друга за них. Сражение это тоже изобилует статическими позами, под аккомпанимент того же беззвучного доисторического смеха. Вдруг у бабы в руке оказалась чуть не вся выдернутая борода. На этот раз голодные шире открывают рты, выпуская придыхательно-гусиное «га-га» — хохочут.

Впрочем, трагедия небольшая: бороды у голодных легко отпадают, как выпадают зубы, почти сами собой. Бородачи жалуются, что бороды почему-то выпадают обычно во время сна. Проснешься, а бороды-то и нет. Да и Бог с ней! Борода — символ все-русской глупости. Имеются в виду не отдельные любители и носители бород, а уклад жизни, который эти бороды выращивает.

Хороший полушубок и за килограмм хлеба не купишь. Какой-нибудь замусоленный еще можно. Вот женщина неумело надевает такой с ржавыми утечками. Продавец услужливо ей помогает. Что он не голодного образца, а настоящий, довоенный — видно уже по тому, как он ходит, бочком, вокруг, расхваливая свой товар.

— Первеший сорт имени Микояна, — говорит он тонким прилабочным голосом, причмокивает и закры-

вает один глаз пергаментными веками, другим восторженно смотрит в небо. Но, несмотря на это, покупательнице не нравится микояновский сорт.

— Сроду такого дерьма не нашивала. Да и маловат он на меня, — почти шепчет она, тяжело дыша: влезть в полушубок стоило ей больших усилий, а еще больших — снять его.

— Ну и дура, — незлобиво ворчит продавец. — Понадевала на себя сто одежек и думает, что купчиха. Раздеть бы тебя да посмотреть. Впрочем, я извиняюсь, и посмотреть, наверно, не на что.

Нет, ему, видно, не суждено сегодня получить килограмм хлеба. Многие влезают в его микояна и вылезают, с медлительностью черепахи, снимающей панцырь. И вот уже никто к нему не подходит, и он стоит один, с обиженно отвисшей синей губой. И совсем он не похож ни на какого продавца. Он просто голодный, как и все.

Хлеб — единственная валюта. Государство не дает больше ничего, кроме хлеба. Курильщики и алкоголики несут на рынок свой кусок хлеба как кусок привычки-страстишки. За пайку хлеба (250 гр) можно получить пачку папирос, пол-литра древесного спирта или четвертинку водки.

Несут свой кусок хлеба раздетые и разутые, матери и любящие, все жаждающие и страждущие, и безумцы.

Какая в нем глыба страстей и страстишек, боли и муки, преступления и подлости, и любви, любви — в куске хлеба.

Всё можно получить за хлеб. И все есть на голодном рынке. Только нет овощей и жиров. А так — все есть. Даже — белковые дрожжи, альбумин (из него делают суп), целлюлоза, мездра. И даже — тонка. Так называемая деталь текстильной машины, из свиной кожи. Есть и приводные ремни от станков, и старые подошвы. Но они, к сожалению, мало съедобны. Да, почти несъедобны.

Все есть на Голодном рынке. Толь-

ко нет нищих — самых неизбежных и живописных ходячих заплат всех рынков России — бывшей и теперешней. Здесь даже сумасшедшие не протягивают рук, знают, что никто не подаст. Здесь нет нищих, потому что все нищие. И тот, кто сегодня, преступно или счастливо, имеет лишний кусок хлеба и обменивает его на золото — тоже нищий, потому что не знает, будет ли он завтра со своим золотом жив. Он не только нищий, но и безумный: не знает, что хлеб дороже золота, как сама жизнь.

Все есть на Голодном рынке. Только нет румянца на лицах, и не увидишь улыбку за целый день, и не услышишь настоящего веселого смеха.

Всё есть на Голодном рынке. Только, если бы его оцепили милиционеры и отобрали у этих голодных «нэлманов» все, что они принесли, — выросла бы гора всяких вещей и — небольшая кучка продуктов.

Но милиционеры не имели теперь и сотой доли прежней власти. Почти с первых дней блокады советская власть, отдала город во власть Голода, а Голод прибрал к своим рукам и милиционеров.

Но если милиционеры не окружали Голодный рынок — сама смерть окружила его сотнями трупов. Это трупы тех, кто не успел донести до него свою голодную тоску и петербургские драгоценности, или тех, кто, уходя с него ни с чем, не мог больше вынести этого игольчатого холода в желудке — голода.

Многие апокалиптичные приходят на рынок «просто так». Какой бы ни был этот рынок голодный и бедный, в нем было еще много от того, что унесла с собой мирная жизнь: над ним витает животворящий дух человеческой деятельности и забот — той самой частной инициативы, о которой так много рассуждают политики. На нем пахнет хлебом — это самое главное. Недаром русские говорят с благоговением: «хлеб наш насущный», «хлебушко». Недаром ученый Тимирязев считал хорошо выпеченный хлеб высшим достижением науки, и до войны в России было до двух де-

сятков сортов хлеба, а до революции — вдвое больше.

Впоследствии, когда в кольцо блокады была пробита брешь, когда по льду Ладожского озера пришли первые эшелоны с продовольствием, — упало в цене все, но попрежнему хлеб был дороже всего. Он так и не сошел с престола диктатора рынка, воздвигнутого ему Голодом.

Все есть на Голодном рынке. Есть и юродивые. Как же можно без них? Это ничего, что века плывут над Россией темной тучей, — душа русская, — чтоб ей было пусто — темнее туч и ярче молний — остается.

Вот один из нескольких юродивых — бывший милиционер.

Он сидит на паперти собора, грязен, оборван, бос и весьма безумен взглядом, — как полагается порядочному юродивому. В эту касту он вступил босыми ногами, после того как у него выгнали из кармана продовольственную карточку. Он ничего такого не предсказывает, больше вспоминает про свою карточку и, не будь дурак, призывает проклятья на голову немцев. Главную выгоду своей новой профессии он видит в том, что всегда находится какая-нибудь сердобольная старушка, которая ведет его к себе и потчует бадаевским кофе. Он никогда не читал ни Библии, ни Евангелия, но что-то плетет о Боге и «опять же» о немцах, что они антихристы. И чаще всего он бормочет, крестясь: «Хлебушка бы, хлебушка бы, хлебушка бы»...

Это слово, как заклинание, бормочут все — если не вслух, то про себя. Тысячи людей бродят из конца в конец огромной, старинной площади, и только сотни из них еще нормальны, крепки духом, и только десятки — хоть немного сыты. «Хлебушка бы, хлебушка бы, хлебушка бы» — крестясь и не крестясь, бормочут на всех перекрестках.

Христос, приди сюда! Накорми, напой и утешь алчущих и страждущих. Только Ты мог так — пятью и семью хлебами и двумя рыбами — накормить всех... Приди. На Тебя одного надежда. А то вот, видишь: два сна-

ряда-близнеца прошипели над площадью и разорвались где-то близко, за домами-калеками. Кто-то уже не дождался Твоего прихода...

Первым «смывается» юродивый. Еще в бытность свою милиционером он побаивался всякого огня с неба. Голодный рынок быстро пустеет. Он сыт по самую колокольную — если не хлебом, так зрелищами. Поразительно, что в каких-нибудь пять минут на площади почти никого не остается. Секрет такой быстроты в том, что все сначала спешат укрыться в подворотнях окружающих площадь домов, потом по пещерным проходам в развалинах расходятся, кто куда. Многие — на тот свет.

Страшные люди исчезли, как призраки. Призраки прошлого или будущего? Кто знает? В прошлом, кажется, такого еще не было. Одно только можно сказать, что завтра, если не будет обстрела, эти люди-призраки придут снова на свой Голодный рынок.

23.

Мертвые кормят живых

Погорели все домишки вокруг сестрино дома, и куда девались люди из них — неизвестно. Кто умер, кто сгорел, а кто собрал свои пожитки и ушел: нищему пожар не страшен, а тем более голодному, с вечным огнем в желудке. Стоит один дом среди пепелищ и развалин, но и в нем осталось немного людей. Умрет сосед со второго этажа или с первого — вынесут его, завернутого в одеяло или простыню, на Митрофаниевское шоссе и оставят там. Теперь все так делают. Знаменитое Митрофаниевское кладбище (кто из русских не знает песню о том, «как на кладбище, Митрофаниевском, отец дочку зарезал свою»?) — недалеко, но зачем гуда отвозить, если раз в неделю приезжают грузовики, и добровольцы, тлечающиеся от покойников только, возможно, несколькими днями жизни, погрузят, отвезут на кладбище и охоронят — в огромных траншеях. Мерзлую землю ничто не берет, са-

перы взрывают ее динамитом. Мертвецов сваливают в эти траншеи как попало и не зарывают. Многие стоят во весь свой смертельный рост — как солдаты стоят насмерть.

Шоссе обнажилось (сгорели дома, закрывавшие его раньше), словно придвинулось к Нарвской заставе. За неделю вырастают высокие штабеля трупов, как дров. Кто-то складывает их, ранжирует — находятся любители. Кто-то вырезает у покойников мягкие части тела. Находятся и такие любители. Они подкрадываются сюда по ночам, и их тени зловеще мечутся в зареве пожаров — мертвые кормят живых...

У соседки — Ивановны стали умирать дети. Видно, по-настоящему голодать начали они только после смерти отца-кормильца и сразу же не выдержали. Было их четверо, и умирали они по старшинству. Первый умер спокойно. «Как домой пошел» — так же спокойно сказала о нем мать. Второй долго мучился. Через досчатую стену отчетливо слышались его стоны и плач женщины. Но третий, умирая, никому в доме не дал покоя.

— Мама, дай хлеба! Хоть кусочек хлеба! — кричал он.

Принес ему Дмитрий хлеба, кусок плиточный, но он и есть его не стал. Губы надул, булькнул ими как-то пренебрежительно-обиженно, словно хотел сказать: где же, мол, вы раньше были. И отвернулся к стенке. И снова заныл: «Мама, хлеба, мама, хлеба...» — Ему уже не хлеб был нужен, а мысль о хлебе как жизни. «Мама, хлеба» — повторял он до последнего вдоха. Осталась у Ивановны девочка двух лет.

Пришел Малиновский, хотел отобрать карточки умерших. Ивановна выгнала его:

— Нет у меня никаких карточек. — сказала она. — И свои-то потеряла. Убирайся вон, кровопивец! — и взяла в руку скалку. Малиновский ушел, бормоча что-то о законах, которые не он выдумал, а девочка, приподнявшись на локотках в кровати, пискнула ему вслед:

— Посел вон, дядя-кровопивец!

Выпроводив Малиновского, Иванов-на повеселела.

— Может быть, хоть ихними карточками спасу мою девочку, — говорила она всем. — Пусть она, живая, их, умерших, хлеб ест.

И так мертвые кормили живых. — Приказ Военного совета о немедленной сдаче продкарточек умерших не имел действительной силы, т. к. жители почему-то не были прикреплены к магазинам, как это было в первую голодную пятилетку, при общей карточной системе. Если кое-кому из властей имущих удавалось прибирать такие карточки к своим грязным рукам, то лишь в силу психоза власти и порядка, от которого еще не все отрешились, как отрешилась убитая горем Ивановна.

На улицах встречаются тихо-голодно-помешанные, с довольным видом сообщающие друг другу о смерти родственников и даже детей. У Ивановны появилась откуда-то приблудившаяся женщина (теперь это в порядке вещей: люди из разрушенных домов заходят куда-нибудь на огонек, ночуют — и остаются жить) подруга по несчастью. У нее тоже умерли дети, но давно, еще в начале блокады, и она не любит о них вспоминать. Зато с удовольствием рассказывает о смерти своих бабушки и дедушки:

— Были бабушка и дедушка, а теперь их нет, а карточки ихние есть... Были дедушка и бабушка, — часто повторяет она, и в безумных глазах ее дрожат огоньки звериной радости быть сытой. Но карточки умерших — это еще не верное спасение. Хорошо, если умирают в начале месяца, а если в конце? Тогда вылитрываются только несколько дней жизни. На новый месяц на мертвые души не могут получить карточек: живые получают собственноручно, больным и детям привозят на дом. Тут и Чичиков ничего не придумал бы. Впрочем, по сравнению с некоторыми советскими гражданами, он «мелко плавал»...

Но все равно, умирают бедные родственники или соседи-одиночки в начале месяца, в середине или в конце

— тысячи живых благодарны им, мертвым душам, за каждую лишнюю карточку и каждый день.

Голод — пятый месяц! — вступил уже в такую стадию, что ничто из того, что спасало раньше, теперь не спасет: ни железное здоровье, ни стальной характер, ни алмазная душа, ни вера в Бога или победу.

Голодные бродят по городу, не зная чем утолить голод. Ходят, сгорбленные: будто прислушиваются к далекому зову предков и идут на этот зов. И приходят к штабелям трупов... Это — пассивные людоеды. Такое людоедство не преследуется законом. Ведь штабеля трупов никем не охраняются. Ешьте, кто хочет... И едят. Но — не все, не все. Мало кто... А те, кто попробовал раз, — втягиваются, как в куренье, пьянство и всякий грех. Людоеды как-то узнают друг друга, собираются на свои «пиршества». Продлись голод еще полгода, — глядишь, организовалась бы партия людоедов, которая ни в чем бы не уступила правительственной, и взяла бы власть над голодным городом. Пока эти людоеды — шакалы, трусливые, жалкие, отвратительные. Странно, что их не убивает трупный яд, но и трупное мясо не спасает от голодной смерти. Впрочем ничего странного: на голодный желудок не действует ни сивушная отравка, ни блошинные порошки, — чем же хуже трупный яд? Почему же, все-таки, умирают? Видно, потому, что не одним — да еще таким — мясом жив человек. Теперь может спасти только полная перемена блокадного климата — эвакуация... Но до этого еще далеко, это кажется невероятным. Еще немного — и появились людоеды-убийцы. Эти брезгают «падалью». Им подавай «свежатинку». Эти все могут. Могут и партию сварганить. И научный базис под нее подвести. И в самом деле: чем человеческое мясо хуже животного? Заразиться можно и от мяса овцы или курицы. Строение человеческой ткани такое же, как и у любого млекопитающего. Разные только клетки, поры, да иная кровь. Но это сущие пустяки.

Предрассудки! Сколько людей умирает ежедневно! Сколько пропадает кожи, мяса, жира!

У всякого по-своему складывается голодная судьба, надламывается дух, разрушается психика и слабеет или исчезает совсем чувство человека. И кто знает: может быть, те, кто ужаснулись первому слуху о людоедстве, сами потом приходили к штабелям трупов с топором или пилой в руках, или попали в «Кресты», где расстреливали людоедов-свежатников.

Они не организовали своей партии: не успели, но уже заметно отличались ото всех — один на тысячи — подозрительной красномордостью. С одним из них Дмитрий познакомился так, что «едва унес ноги», как рассказывал потом много раз в своей жизни. . .

Это случилось через неделю после Голодного рынка, рассказы о котором лишили Тамару сна. Она все дни к чему-то готовилась, втайне, казалось, не только ото всех, но и самой себя, и потому смотрела на себя как-будто со стороны: с почтением и строго. Тюрю с каждым днем становилась оттого все жиже и солоней. «Что это она таит?» — думал Дмитрий, но молчал, зная, что никакая тайна у Тамары не удержится долго. И он был прав: утром, как только Нина ушла на работу, Тамара положила на стол несколько кусков хлеба — чуть не целый килограмм, завернула их в тряпицу и завязала узлом, крест-накрест.

— Ну, вот, теперь и я пойду посмотрю, что за так называемый Голодный рынок, — сказала она. — На мой взгляд, там есть кое-что достойное моего внимания. Надеюсь, вы мне составите компанию, мистер?

— Кто же может отказаться от такого высокопарного предложения, — ответил он, одеваясь.

— Вот именно, на мой взгляд, от парного предложения.

— А откуда же хлеб взялся, и что ты за него хочешь?

— Хлеб я сэкономила на тюре, извиняюсь. А выменять на него хочу,

во-первых, валенки для Нинки. Я ее не очень почему-то люблю, и она меня почему-то не очень, но ей не очень приятно целый день мерзнуть на ногах в своих туфельках-сорокоходах. Во-вторых, папирос для тебя, в-третьих. . . Я запомнила, что именно в-третьих. . . Да, я хотела бы для себя колечко. Такое, какое-нибудь, знаешь. . .

— Какое же, скажи толком.

— Да на палец, вот какое.

— На какой палец?

— Да на обручальный, вот на какой. Неужели не понятно? Вопросы будут?

— Теперь всё понятно. Вопросов не будет. Пойдем.

И они пошли, поддерживая друг друга, обходя воронки и трупы, оскользаясь на обледенелом снежном настиле улицы, сбегавшей к Обводному каналу.

Тамара ходила по рынку с широко открытыми глазами, Дмитрий — с опущенными: больно было смотреть на торгашеское унижение апокалиптян, таких величественных и безмолвных за чертой рынка; пройдя множество одеял с петербургскими драгоценностями и старушками, она так и не нашла кольца, а он не мог найти подходящих валенок: попадались только мужские — «милиционерские» или «кондукторские». Папирос не надо было искать, они теперь у каждого весовщика, но Дмитрию хотелось сперва приобрести валенки, а потом уж, на остаток хлеба (проблематичный) — папиросы.

По рядам расхаживал мужчина огромного роста, по-блокадному роскошно одетый: в высоких серых валенках. Русский тулуп беден внешне, но внутренне богат теплом, а этот и на вид был красив, с меховой окантовкой и стоячим воротом, а над ним, будто сидя прямо на нем, а не на голове великана, — высокая старинная шапка бурого меха. Но главное было под шапкой — обширная физиономия, вся как сургучевая печать, багровая и рельефная, вороватые глаза, шныряющие настолько быстро, что невозможно было установить, какого они

цвета, нос картошкой, вывороченные губы и, конечно, борода, двумя рукавами впадающая в середину полушубка.

Этот блокадный боярин держал в руке почему-то только один валенок.

— А другого нет? — спросил Дмитрий.

— Был, да украли, — ответил боярин неожиданно тонким голосом. — А что?

— Как — что? Вот как раз подошли бы мне.

— Это ведь женские. Но если вам дистивитильна надоть, так у меня есть про запас другие. Я как раз иду домой. Хотите, пойдемте вместе, тут недалеко. Мне нужен хлеб. Кило хлеба.

— Ну, кило я вам не могу дать. Граммов 600, если хотите.

— Покажите. — Он взвесил на ладони узелок с хлебом, и самого Дмитрия оглядел с ног до головы. — Ну, ладно, идет. Пошли, неча время-то терять, как бы обстрел не начался.

— Но это не весь хлеб мой. Тамара! — позвал Дмитрий, — поди-ка сюда.

Она подошла с маленькой старушкой. — Вот, нашла, наконец, колечко. Прямо на пальце. Покажите, бабуся. — Старушка, от которой ничего не осталось для описания, протянула сухонький, как камышинка, палец, с широким русским обручальным кольцом. Палец, дрожа, быстро опускался книзу. Дмитрий не мог на него смотреть. «Вот это — перст судьбы, — думал он. — Надо спешить, пока он не опустился совсем...» Глаза боярина бегали, минуя старушку, и остановились — бесцветные, водянистые — на Тамаре.

— Вот, видите, какое дело, — сказал ему Дмитрий. — Один кусок хлеба — ее. Уж как хотите, я отдам. Вот, бери, Тамара. — Боярин промывчал что-то утвердительное. — И иди домой со своим кольцом. Поспеш, чтоб под обстрел не попасть. А я скоро вернусь.

Но не успел он отойти от нее несколько шагов, как услышал знакомое только ему одному на свете тамарино пискливое «ах» — особый звук,

ни на что не похожий, как сама она признавалась.

— Это я нарочно, — сказала она, когда он подошел, чтобы помочь ей встать. — Будь осторожней с этой цветущей шапкой. Посмотри, какая у него харя. Для меня пусть лучше Нинка будет без валенок, чем ты без головы, или еще без чего.

— Ну тут уж мне быть без всего, если не повезет, даже без потрохов. А ты не бойся. Валяй, знай, домой. Примем к сведению, — он, смеясь, легонько обнял ее и поцеловал в губы. Она пошла, но долго оглядывалась и крестилась под полой. Как только они повернули за угол, она пошла вслед за ними, но их уже не было на улице. И тут первый снаряд прошелестел над рынком. Шелестящий — это средний между свистящим и шипящим, но ближе, пожалуй, к шипящему, ближе к земле. После шелестящего не надейся, что следующий будет свистящий, а жди шипящего. Тамаре ничего не оставалось, как итти домой готовить тюрю...

В это время Дмитрий вслед за боярином поднимался на верхний этаж, казалось, необитаемого дома в глухом, забытом даже немецкой артиллерией, переулке. Ветер сквозил на лестнице и жутко завывал где-то вверху, под крышей или в самом небе. Возгласы ветра, запутавшегося в лестничных переплетах, отрывистые и протяжные, как человечьи, пугали Дмитрия, хотя он не боялся никакой чертовщины, потому что был с ней знаком только по Гоголю.

Боярин пыхтел, казалось, только для приличия: он легко перешагивал через две ступеньки и, дойдя до последнего этажа, остановился, поджидая Дмитрия, весь в воющем ветре, в промозглой полумгле. Дмитрий случайно перехватил взгляд его расширенных глаз. Они не бегали больше. Они остановились. Остановились на нем. И остановившееся их выражение остановило Дмитрия на предпоследней ступеньке... «Бежать, бежать отсюда!» — Мгновенно вспомнились «фантастические» рассказы о том, как людоеды заманива-

ют свои жертвы. «Бежать, пока не поздно»... Но упрямое и нелепое противоречие интуиции, тому, что надо, что необходимо принять, не размышляя ни секунды, — это надчувство, идущее больше от ума и погубившее многих, — удержало его: «Посмотрю, что будет. Главное — быть начеку, — решил он, — в этом чеку мне, кажется, нельзя отказать, как и в трусости».

— Подождите меня здесь, — сказал ему боярин и постучался в дверь комнаты, в двух шагах от лестницы.

— Хтой-то? — спросили из-за двери.

— Я. С живым...

«Что это? — подумал Дмитрий. — Пароль или мой смертный приговор? Если речь идет обо мне, то он не ошибается. Я живой и настолько бодрый, что готов унести отсюда ноги. Ну, пора бежать»... Но ноги не слушались его, как в драматическом сне с ведьмами и всякими чудовищами. Он стоял, как пригипнотизированный, глядя на дверь, которая почему-то долго не отворялась. Вот она со скрипом чуть приоткрылась, показалась волосатая красная рука и такая же морда. Из комнаты пахнуло теплом и каким-то странным, тяжелым и приторным запахом. Вдруг сильным порывом ветра дверь открылась настежь, и в колеблющемся свете свечи Дмитрий увидел тоже колеблющиеся, висящие на веревке, как белье, огромные куски белого мяса. От одного куска свисала, словно привязанная, человеческая рука с растопыренными пальцами и четко вырисовывающимися венами... Оба людоеда бросились к Дмитрию. Он видел только протянувшиеся к нему длинные руки и вылезающие из орбит глаза на больших красных харях. Прыгая через несколько ступеней, он уже бежал вниз, оглушенный топотом тяжелых ног и руганью.

— Не уйдешь, паршивец! — прошипело почти над его ухом, и рука преследователя схватила его за воротник пальто. Дмитрий остановился и, резко выбросив обе руки назад, наугад схватил кисть людоеда и рва-

нул, что было сил через плечо. Пригнуться не нужно было — людоед был выше на несколько ступенек. Он растянулся на лестничной площадке. Перепрыгнуть через него было делом одной секунды, и съехать по перилам, как в школьные годы, ложась плашмя на поворотах, — другой. На последнем пролете не в силах был удержаться, соскользнул, упал на пол, но сразу же вскочил и, шатаясь, вышел на улицу. Если бы за ним погнался другой, то уже не хватило бы сил уйти. Но опасность миновала. По переулку громыхал на ухабах легкий военный грузовик.

— Людоеды! — закричал Дмитрий почти в беспамятстве, показывая рукой на зловеющий дом. Грузовичок остановился, как вкопанный, вскинув задними колесами и бортиком. Из кабины один боец вылез, другой выскочил, да еще подпрыгнул на снегу.

— Людоеды? Вот здорово! — воскликнул он восхищенно.

— Мы их чичас... — деловито сказал другой.

Высокие и худые, один веселый, другой злой, вошли они в дом и через несколько минут Дмитрий услышал два выстрела. Потом, видимо, для верности, еще один, и веселый вышел еще веселей, а злой — злей. Он нес полушубок, сердито бормоча:

— С паршивой овцы хоть шерсти клок.

— Хороший клок! — смеялся другой. — А я кусок хлеба нашел. Хочешь? — он протянул Дмитрию его узелок с хлебом.

— Спасибо, — поблагодарил Дмитрий. — Это мой хлеб. Я и забыл о нем.

— Твой-не твой, — бери, знай, колы дают. А хошь — сфотографируемся на фоне людоедов? И этих... окороков. Там бывших человек пять висит.

— Чичас, так я тебе и разрешил. Не знаешь, запрещено? — буркнул злой, снимая с себя шинель (на петлицах френча блеснули кубики младшего лейтенанта) и влезая в полушубок.

— Откуда вы? — спросил Дмитрий.

— Да с трассы мы, — нехотя ответил веселый и помрачнел. — Вот, все

дразнят нас: невоюющая армия. А будто мы виноватым? Наш генерал — орел. Это мы спасаем весь Ленинград через нашу Ладожскую трассу.

— Как он там поживает?

— Ктой-то? — не понял веселый.

— Да ваш генерал.

— А ничаво, как подабаает. С дочкой вместе воеует. Такая девка — весь фронт ее знает. Скромница такая, и работающая, фельдшерица. А ты что это так близко к сердцу принимаешь? Даже вроде покраснел.

— Привет им передайте. От Мити, скажите. Они знают.

— Хорошо. Ну, прощай.

Грузовичок дал ближайшему сугробу «задки» и помчался к Садовой. Дмитрий нашел на дороге палку и, с узелком в руке, побрел домой, как старичок, с опущенной головой и дрожащими ногами.

Из газет и радио он давно знал, где генерал, но что Тоня с ним — это было для него неожиданностью. Он упрекал себя в недогадливости. Ведь это вполне нормально: разве может генерал оставить свою военную обязанную любимицу? Давно бы написал ему, спросил бы о Тоне. Как раз на этот фронт письма все время идут. Надо немедленно написать. Неужели она так близко? Близок локоть, да не съешь, — если переделывать поговорки, не только на голодный лад, а прямо на людоедский... Эти белые, круглые локти, целованные им — жаль, что так редко! У кого еще были такие локти? У хозяйки Обломова? Не потому ли он на ней женился? Или просто так — сошелся? Что-то память стала сдавать. Еще бы. Выраженьице тоже — «сошелся». Да, сошелся — и всё, кому какое дело. А потом взял, и разошелся...

Около нового Обуховского моста навстречу шел мужчина в шубе и с таким же сургучевым лицом, как у ставшего только что бывшим блокадного боярина. В мирное время такие лица называли просто вывесками, не разбираясь, что на них написано. Теперь им не было названья и не должно быть места под блокадным небом. Это нахальство — иметь такое мурло.

«Людоед, определенно людоед!» — подумал Дмитрий и невольно отшатнулся в сторону. Еще дрожали руки и колени от сражения на лестнице, от сверхчеловеческого напряжения всех мускулов в минуту отчаянной борьбы за жизнь. И, как никогда, хотелось есть.

А шуба шла прямо на него, и сургучевая печать глядела снисходительно, со смутно знакомой наглазливой улыбкой. Вот она осклабилась, небрежно выплюнув папиросу на снег:

— Алкеев, неужели не узнаете? Я секретарь райкома комсомола Петров.

К Дмитрию вернулось спокойствие. Но это было обманчивое спокойствие человека, только что пережившего смертельный страх, когда он и сам не знает, спокоен он или наоборот — до безумия зол и не знает, что скажет и что сделает через минуту или секунду. Он тихо сказал:

— Теперь узнаю.

— Что же вы, испугались меня, что ли?

— Да. Я думал, что вы — людоед.

— Что вы...

— А я виноват, что вы так похожи на людоеда? А может быть, людоед вы и есть. Мне хочется плюнуть в вашу сытую физиономию.

— Алкеев!

— Что, товарищ людоед Петров?

— Не забывайте. Вы — комсомолец.

— Пошел к черту, сволочь! Людоед!

— Да вы с ума сошли!

— Может быть. Исключите меня из комсомола, как сумасшедшего. Жалеть не буду. Обойдусь.

Секретарь пренебрежительно махнул рукой и быстро пошел к центру города. Дмитрий плюнул ему вслед. Подумал: «Это я в сердцах, — и улыбнулся, вспомнив Тамару, и по-настоящему, а не отстраненно от самого себя, как только что, успокоился. Но вот, что значит — нельзя за себя ругаться. Голод зол. Холодную пустоту желудка он наполняет тяжелыми раскаленными камнями злобы и ненависти... Ну и денек...»

А тут еще Саша пришел с какими-то котлетами. Не успел Дмитрий обогреться и вздремнуть около буржуйки, как он разбудил его своими обычными возгласами, начиная от «Эврика!» и кончая «Вот так я!»

Котлеты были белые. Саша уверял, что они очень вкусны, «и даже какие-то сладковатые».

— Вот потому-то я их и не буду есть, — сказала Тамара. — На мой взгляд, надо быть идиотом, чтобы упасть на такие котлеты. Это же обыкновенное человеческое мясо. Настоящее. Без подделки. Кушайте на здоровье. А я лично воздержусь.

Саша выменял четыре котлеты на пузырек масла (имеется в виду олифа) — свою долю от последнего литра, нацуженного из второй и последней бочки в подвале Дома техники. Поэтому он никак не мог примириться с такой неудачей. Неуверенными шажками ходил он по кухне, хватал себя руками за голову и просил Тамару, чтобы она его чем-нибудь ударила. Она спросила, сколько котлет он съел. Одну. Все равно, она теперь не может его даже ударить, не то, чтобы сесть рядом с ним. Хорошо, тогда он знает, что делать. Он снова пойдет на Сенную площадь и променяет эти котлеты на папиросы. Он не даст им себя надуть. Он им всем покажет!

И только когда он вернулся с пачкой папирос, и Нина пришла с работы, Дмитрий рассказал о том, что с ним произошло. В отличие от Саши, он не любил ни врать, ни привирать, но изредка фантазировал, что для всякого студента не грех. Поэтому он боролся с двумя людоедами, один его укусил за локоть, другого он перекинул через себя, дернув его за две бороды. Он же их, конечно, и убил — из пистолета, любезно предложенного одним из патрульных матросов. Матросы были с крейсера «Киров».

— Ну и выдержка у человека! — обиженно-восхищенно сказал Саша, выслушав.

Во всей этой истории его больше всего удивило то, что Дмитрий рассказал о ней не сразу. Нина сказала,

что если еще раз, то... «Что» — она сама не знала, так была поражена. Тамара всхлипывала, но не выдавала себя:

— Какая я, дуреха, стала нервная. Чуть что — плачу. А захочу — могу и разрыдаться. Я такая, вы меня не знаете.

— Да, тебя знать трудно, — согласилась Нина.

Утром, когда Нина ушла на работу, Дмитрий проснулся оттого, что кто-то укрывал его одеялом. Он протянул руки во тьму и обнял худенькие податливо дрогнувшие плечи.

— Тамара, ты?

— Да. Подвинься-ка. Я же вам не нанималась всю зиму одной спать в холоде. Нет заботы о людях, как писали в газетах до войны.

— Только потише, чтобы Саша не услышал.

— Ну, и пусть. Я ж просто так. Ты же меня не тронешь, потому что любишь. На мой взгляд, это настоящая чистая любовь, как пишут в романах. Главное, что я хотела сказать: ты прости меня, это я во всем виновата. И это колечко я выброшу. Нет, лучше отдам Машиновскому за что-нибудь. Хорошо?

— Хорошо.

— Ах, милый, если б ты знал, как я рада, что они тебя не съели!

24.

Шоколадный медвежонок

Саша, как на грех, проснулся и встал первым. Увидев, что Тамара спит вместе с Дмитрием, в великом смущении потоптался около их кровати, потом по кухне и хотел уже уйти совсем, но Дмитрий проснулся. Тамара тоже открыла глаза и, увидев Сашу, закрылась с ними, и с головой, одеялом.

— Ты куда это собрался таким воровским манером? — спросил Дмитрий.

— Никуда. Какое тебе дело? — Саша наклонил голову, словно хотел его боднуть, что у него всегда означало высшую степень «невсебояемости».

— Меня поражает, с каким наглым спокойствием ты смеешь смотреть мне в глаза, как будто ничего не случилось.

— Да ничего и не случилось, не думай.

— Тут нечего думать. Я пойду к нашим коммунарам. Мы теперь все, для самообразования, читаем Библию. Начали с «Бытия». Оказывается, Вася Чубук большой спец в этой туманной, проясняющейся только в години бед, области. Он чуть не наизусть весь Ветхий заповедник. Полезно бы и тебе подзаняться этим предметом.

— Да я уж начал было, только с Нового Завета.

— И плохо сделал. Поэтому ты не знаешь, как, например, Сара и ее служанка Агарь перебрасывались между собой Авраамом.

— Я и знать этого не хочу. Кажется мне, что можно читать, изучать и даже знать наизусть всю Библию — и быть богохульником.

— На словах — да, но не на деле, как некоторые.

— Не бросайте камень в мой огород, из него все равно ни черта не вырастет.

— Прощайте. Я с вами больше не гуляю, как говорят дети на юге.

— Ну, и пойди, прогуляйся.

— Да-а, дела. Я понимаю, говорят — сам я не испытал — будто голод обостряет все чувства и всякие инстинкты. Но это только на первых порах. А теперь пора бы уже, кажется, всему этому притупиться.

Саше не хотелось уходить, но, видя, что его не удерживают, ушел, хлопнув дверью. И не успели отшаркать его шаги в коридоре, как Тамара сползла с кровати, каким-то особым поворотом ног. Видно, дорого ей досталась выдержка под одеялом.

— Я слыхала весь ваш литературно-художественный разговор, — сказала она. — Мне очень стыдно, хотя Саша и не совсем прав. Впрочем, все равно — война.

Дмитрий быстро оделся и вышел на улицу, но Саша уже и след простыл. Не только простыл, а покрылся ледя-

ной коркой: мороз ударил сашин плечок налету. Вот, если бы он так снаряды налету хватал, замораживал бы, не давал разрываться. А то ведь почти беспрерывно свистят, шелестят, шипят, трахают. Пожалуй, это слово «трах» лучше всего определяет разрыв снаряда в городе. Да и в снежном поле звук какой-то трахтящий получается.

Несколько дней подряд начал он обстреливать, вернее, теперь уже просто расстреливать город поздним вечером, перед сном. Перед своим сном, потому что осажденные ложатся спать рано.

Снова заговорило радио, но только на время обстрела. Диктор с равнодушной хрипотой объявляет, что такой-то район под обстрелом, и в черном дупле репродуктора дятел-метроном долбит тишину, пока его и ее не оглушит приблизительный снаряд, не говоря уже о накрывающем.

Оставаясь один, Дмитрий читал какую-то книгу, вернее — старался читать: вначале механически, потом, когда где-то разрывались первые снаряды, начинал вникать в смысл. Это он называл: дрессировка чтением. Но не всегда она удавалась: под одеялом не раз прошибало холодным и липким потом страха.

Нина обижалась, что он упорно отказывался «спасать жизнь», а Тамара...

— На мой взгляд, Митя не любит нас, если не хочет спасаться или умирать вместе с нами, — сказала она, и это были как раз те слова, что ему были нужны. Он стал «спасаться» вместе с ними. Это было куда приятней — слушать «бабские сплетни» Ивановны и двух старушек. Охи и вздохи, чем быть один на один с метрономом в свистящей тишине, змеей вползающей в уши. Нина крестилась и бормотала одну и ту же молитву — другой не знала: «Отче наш». Тамара, дрожжа, прижималась к Дмитрию и подставляла губы для поцелуя. Ей казалось, что так она меньше боится.

В подвал приходили еще мать с дочерью, обе по-блокадному неопределенных лет. Где они жили и откуда

приходили, никто не знал, но не спрашивали, раз сами не говорят. Дочь блистала яркой — даже в темноте светилось ее лицо — голодной красотой, от матери же ничего не осталось для описания. Они ни с кем не разговаривали, но между собой вели бесконечный враждебный разговор, который обычно начинался шопотом, потом переходил на «глас осмытый», как говорила Ивановна. Дочь повышала голос:

— И когда ты сдохнешь, старая дура! — восклицала она и хрустела пальцами.

— На мать-то, не стыдно? — упрекала ее Ивановна.

— А почему она опять сожрала мои конфеты? В прошлом месяце потеряла свою карточку. Глядишь, и в этом потеряет, а я потом делюсь с ней. Больше — чёрта с два! Потеряешь — подыхай. А мое не тронь...

— Няужто вы ня видитя, барышня, что ваша мамаша не в сабе?

— А вы — «в сабе»? — передразнивала «барышня». — Все мы «не в сабе». И не суйтесь не в свое дело.

Тамара однажды не выдержала и начала было:

— На мой взгляд... — но Дмитрий шепнул: «молчи!»

— Ты прав, — сказала она утром. — Я всю ночь не спала, думала. Чья бы корова мычала, а моя бы молчала. Ведь сколько Нинка мне помогала еще до войны. А я — будто так и надо. Ни благодарности, ни уважения к ней. А сейчас — сколько она нам хлеба передавала, если посчитать хотя бы грамм по двести лишних в день? И я ее не люблю. За гордость. За себе на уме. За какую-то ненормальную, на мой взгляд, фальшивую скромность. А скорее всего — сама не знаю, за что. И эта стерва с изломанным голосом и тонкими пальчиками... ты видел ее пальцы?...

— Да, голодные пальцы...

— Так вот, я спрашиваю, чем я лучше ее? К тому же она, на мой взгляд, ненормальная. А может быть, она права, что все мы ненормальные.

— Да, это великий распад семьи, — сказал Дмитрий, будто самому себе,

— что, кажется, страшнее людоедства. И то, и другое — кульминация голода и блокады. Сколько еще так может продолжаться?

— Да, ты прав. Как ты сказал? расп... распад семьи идет полным ходом. Как бы и мы не разладились. Нинка дуется на меня. Ну и пусть. Мне так хорошо с тобой лежать в постели... А тебе со мной?

Он смотрел в ее глаза, целовал их. Она просила:

— Сколько раз тебе говорить: крестом целуй, понимаешь: правый глаз — левый глаз, лоб и губы. И так далее...

— Твои глаза, — шептал он. И тут же — противоречивые мысли, которые он называл оппозиционными: «правые» стыдили: — что делаешь? зачем это нужно? знай границы! «Левая оппозиция» на все смотрела сквозь пальцы — не все ли равно? ей это нравится, тебе тоже, она тебя любит, ты ее, кажется, тоже, да и как ее можно не любить?.. — Твои глаза, — говорил он, отмахнувшись от «правых», — они еще не раскрылись. Когда ты выйдешь замуж за какого-нибудь лейтенанта, станешь женщиной, красивой и пышной, — ты увидишь, какие они у тебя неотразимые, твои глаза.

— А ты? Разве ты не увидишь?

— Что?

— Да мои глаза. И я не хочу никаких лейтенантов. Лучше я пойду за хлебом. Кажется, моя очередь сегодня?

— Да, иди. Я буду тебя ждать: вот ты придешь — не с одним куском хлеба, а и с кусочком своего сердца. Оно у тебя тоже еще, как глаза, не раскрылось — сердце твое. — Тамара слушала, и ей не хотелось вставать.

— Когда ты так говоришь, мне даже не хочется есть, — шептала она.

Однажды она увидела на улице Малиновского, пригласила:

— Зайдите на колечко.

— Какой пробы? — Управдом вздрогнул, шаркнул валенками, приблизился. — Ежели, например, пятьдесят восьмой...

— А я почему знаю...

Малиновский зашел, выторговал колечко за полплитки шоколада. И снова зачастил с визитами — «по инерции, да и потому, что в подведомственных кварталах не осталось в живых ни одного порядочного или интересного человека.»

Он имел управдомовскую привычку входить без стука и, когда застал «влюбленную парочку» в постели, был очень доволен. «Так, так», — сказал он. И больше ничего не сказал. Ушел.

Час был ранний, «парочка» еще спала и не знала, какая неприятность ей грозит: Малиновский, не долго думая — мелкая подлость не требует размышлений, как и небольшое добро — пошаркал дрожащими ногами в булочную к Нине. Он выстоял на морозе больше часа, чтобы только сказать ей с невинным видом:

— А я был только сейчас у ваших. Спят себе в обнимку, детки. А чего им делать? Теперича молодых только сон и спасает. А мне вот, например, не спится, не знаю, почему.

— И что еще? — У всех продавщиц профессионально опущенные глаза, все они бледны и нервны, но Нина в упор взглянула на управдома и глаза ее блеснули, как нож в руке. Она спокойно отрезала и взвешивала куски хлеба очередным. — Что еще скажете?

— Да ничего. Я только так — поза-видовал, как они дружно спят.

— Ну и пусть. Вдвоем теплее.

— Оно конечно. А хлеба не отпустите мне без карточки? Я ее забыл дома. Потом занесу.

— Нет. Сами знаете, запрещено.

— Это не по-соседски вы поступаете.

— Вы тоже.

Малиновский ушел ни с чем, а ей хотелось все бросить и побежать за ним, спросить, не врет ли, а потом... Что потом? Нет, она никогда не сделает этого. Она не придет неожиданно, чтобы застать их в постели. Лучше не видеть... Она уже давно дотдывалась, чувствовала — чуть не с самого Октябрьского праздника. Но

подозрения были односторонни — падали только на Тамару. «Что ж, девчонка в таком возрасте — дело понятное.» Потом она стала замечать всё, и даже больше, чем было, — как всегда бывает в таких случаях. Но стыдила себя: в такое ль время ревновать. И молчала. Пусть он знает, какая она гордая. А сестра — до нее она когда-нибудь доберется.

Великая сила в молчании. Она промолчала и тогда, когда чутким ухом, в подвале, уловила их прерывистые, под снарядный свист, поцелуи. Пусть, пусть... Дмитрий был ее первой любовью. Конечно, были Вани и Миши, военные — вечная слабость русских простушек. Но с тех пор, как она познакомилась со студентами, лейтенанты перестали ее интересоваться, хотя среди них встречались красивые и неглупые молодцы — «надежда родины». Впрочем, кажется, во всем мире есть девушки, чьи первые любви проходят обязательный «военный» период. У некоторых он продолжается всю жизнь.

Два чувства боролись в ней: мести и безнадежности, и второе, по природе своей, пассивное уступало первому. Но потом оба они уступали третьему, когда она, с порезанными, как никогда, пальцами, подходя к дому, вдруг с ужасом подумала о том, как же она будет смотреть им в глаза, что им скажет, с чего начнет? И она решила: пусть. Она снова промолчит. Она спасает им жизнь. И будет спасать до конца. А потом она им обоим покажет. Покажет на дверь. «Я знаю, что я злая и некорошая. Надо бы им совсем простить. В любви никто не волен. Но они обманули меня. Они поступили подло. Я спасала им жизнь, а они, выходит, смеялись надо мной? Хорошо. Не вечно быть блокаде. Пусть потом идут на все четыре стороны.»

Это третье чувство — прощения их до поры до времени, решение спасать их до конца — хоть горько и холодно, но успокоило ее. «Я — гордая. Я благородная, — сказала она себе, — а они — свиньи,» и вошла в дом, и сказала «Добрый вечер», и пила с ни-

ми чай со сладкой русской землей бадаевского сорта, и играла в карты. «Дурак» — умная игра, и если вдвоем — каждый отвечает за себя, и малейшее жульничество или неверный ход обычно вызывает бурные споры. Тамара всегда была большая мастерица «мухлевать». Дмитрий, шутя, помогал ей — и Нина неизменно оставалась в «дураках». Но на этот раз, уличив сестру в фальши, она вдруг бросила карты ей в лицо:

— Довольно вам надо мной смеяться! — сказала она. — Уж не считаете ли вы меня и в самом деле за дуру? — и, рассыпав колоду, ушла на кухню. Тамара открыла рот, но свой взгляд не успела высказать: засвистел снаряд.

В подвале все старушки были на местах, но «приблудных» матери с дочерью не было. Ивановна, как всегда, держала на руках дочурку, которую теперь кормили ее мертвые братья, баюкала:

— Спи, спи, моя доченька единственная. Когда они свистят, — лучше всего спать. Немец свистит, а Катя себе спит... Баю, баю, немцев забодая...

Катюшу знали, любили и баловали во всех, теперь сторевших, соседних деревянных домах. Звонкий ее голос слышался от Холодильника до Балтийского вокзала. На этом для нее огромном, светлом и шумном куске земного шара она была — у себя.

Она никогда не сидела на месте: порывистые ручки, стремительные ножки. Но быстрее всего в ней были глаза — в них так и прыгали солнечные зайчики. Не отставал от них и язычок. С блокадой сузился мир для всех, а она знала только кровать да теплые руки матери. Сузился мир, сужалась и жизнь. В Катеньке теперь все было медлительно или совсем неподвижно: она уже не могла ходить, едва говорила и нехотя водила по сторонам помутневшими глазами. И сама смерть, казалось, медлила. Мертвые братья кормили сестру. Но не слишком ли поздно?

— Что-то этих рутательниц нет, — прошамкала одна старушка.

— Да уж, что и говорить, срамницы! — отозвалась другая. — Я свою Лидушку вспоминаю — уж какая была для меня обязательная. Сперва, бывалча, мне кусок хлеба отрежет, потом себе. А отца своего уж как спасала! И колечко свое на базар снесла, и шубку. И вот обоих их теперь нет. Осталась я одна. И зачем, спрашивается... А вчерась таскалась я на Петроградскую сторону, провести мужниных родственников. Сидят, как на вулкане: молодая должна вот-вот разродиться. Нашла время. И кого же она родит? Разве этот человек будет?

— Человек-то, может, и будет, — сказала Ивановна, — это не нам знать, — но зачем ему рождаться? Разве он выживет в блокаду? А если и выживет — опять вопрос: для чего? Ведь если жизнь после блокады и войны будет такая же, как и до — тогда, прямо скажу, рождаться этому человеку было незачем.

«Да, недаром все считают Ивановну рассудительной, — подумал Дмитрий, — только это не может быть, чтобы жизнь после войны не улучшилась. А может быть, мы все пойдем по жизни, как вдоль деревни, от избы до избы — от войны до войны?»

Снаряды свистели и шелестели долго, но ни один не прошипел, не разорвался. Нина с детства привыкла всё считать. Она насчитала десять разрывов близких и около двадцати дальних. Четыре поцелуя у нее над самым ухом.

С этого дня сестры почему-то стали обращаться друг к другу на «вы» и язви́ть пуще прежнего. Старшая называла младшую не иначе, как «дура неумная», или, в новой редакции, «дура ненормальная»; Тамара не отставала в долгу:

— На мой взгляд, если вас интересует, вы еще до войны были мало-хольные.

Днем под Новый год зашел, как всегда на минутку, Малиновский.

— С праздничком вас заранее, — поздравил он. А получилось — и со скандалом. Сестры готовились к празднику. На столе были печенье, полученное по «объявленному» талону,

бутылка коньяку и кусок хлеба, под столом — полведра пива. Нина пришла с работы раньше обычного, после обеда.

Дмитрий начал с пива. Пил понемногу. Ждал — не придет ли Саша. Обо всем хотелось поговорить с ним, как с другом: о сестрах, о генерале и Тоне, о том, что же делать дальше. Не податься ли, нелегально, на фронт к генералу?.. Ждал Сашу и пил. Тамара колдовала над тюрем, будто по счету бросая в нее кристаллики соли. Брызгала воду на пол, по купидонски надувая щеки, подметала. Напевала:

Мы так близки, что слов не нужно,
Чтоб повторять друг другу вновь,
Что наша нежность и наша дружба —
Сильнее страсти, больше, чем любовь.

Повторяла, вызываясь глядя на Нину: «Да, больше, чем всякая разная любовь». Нина не обращала на нее внимания — гадала на картах. Тамара собрала сор и бросила его в буржуйку, чтоб «не выносить из избы».

Но он уже был вынесен — Малиновским. Недаром обе старушки и даже неактивная сплетница Ивановна заходили на буржуйкин огонек, справиться, как идут дела. У Ивановны плоские, как нарисованные, богородичные глаза. Их взгляда не выдерживал Малиновский. Тамара тоже.

— Дела, как сажка бела, — отрезала она, сразу поняв, в чем дело, и прибавила в рифму, — будем пить, была-не была.

Такой ответ всех удовлетворил. Старушки ушли, довольные, покачивая головами, черными, как головешки. Ивановна посидела еще немного, посветилась своим добрым лошадиным лицом и тоже ушла. Потом вернулась из коридора, чтобы сказать тихо, глядя почему-то на одного Дмитрия:

— А вы бы в церковь пошли. Слышно, будто открыта одна, работает — на Театральной площади. Я забыла, прошло Рождество или будет? А сегодня, как будто, новогодняя всенощная будет служить, по новому стилю. И Катюшу повезу в саночках.

— Может быть, почему нет, — машинально сказал Дмитрий, не в силах оторваться от ее пристального взгляда. Он все пил и пил пиво, потому что Саша все не шел. Со стены смотрел Ленин со лбом Сократа и прищуром Чингиз-Хана. Что было в нем русского? Даже борода — троцкистская. Сердце? Да, над сердцем, кажется, и он не был властен. Может быть, оно было — русское. Сердце его никто не разгадал. И стоило ли разгадывать? Да, стоило. Поживи он дольше — может быть, не было бы ни Колымы, ни Соловков. Ни Ленинграда, ни блокады?

Саша так и не пришел, поэтому Дмитрий ополовинил полведра пива. Вспомнил Есенина:

«На стенках календарный Ленин...
Здесь жизнь сестер, сестер, а не моя!»

— И, кажется, не моя, — сказал вслух.

— Кто — не твоя, — спросила Тамара, — я?

Он смотрел на нее молча. Не будь она такой лукаво-черноглазой — как похожа была бы на Тоню. И это неотразимое сочетание внешней плавности и медлительности с внутренней порывистостью.

— Некоторые уже, кажется, начали не только пить, но и наливаться, хотя до Нового Года еще целая вечность. Тамара, подавай! — велела Нина и села за стол, печальная. Она имела ввиду тюрьму — подавать было больше нечего, — Тамара не заставила себя ждать.

От тюрьмы шел головокружительный пар, пиво дышилось в стаканах и кровь еще пламенела в жилах: молодость...

Тамара выпила полстакана водки, покашляла и притихла над тюрем. Дмитрий выпил пива, водки и коньяку. Нина, к его удивлению, не отставала. И быстро опьянела. «Надо быть благородной, — сказала она, — иначе эту влюбленную парочку можно и с голоду уморить. Ах, извините. Я думала — про себя. Ведь про себя все можно, все тактично и все прилично»... Дмитрий недослышал, Тамара, хитрая, сделала вид, что не слышала.

Из черной лейки репродуктора вдруг полилась музыка и ударил такой бравурный марш, что Тамара испугалась: — Как бы этот репродуктор не сорвался со стенки, да не начал маршировать по наших головах, — сказала она. А Нина заплакала.

— Странное явление, на мой взгляд, — заметила Тамара. — Пятый раз в жизни вижу ее пьяной, и пятый раз она плачет.

Нина подняла голову и посмотрела на нее, поджав губы:

— А ты бы выпила, чем надсмехаться. Тоже мне — фокстрот «Всеми любимая».

Тамара отказалась пить:

— Всем известно, что я непьющая.

— Знаем мы таких. Непьющая, негулящая, — Нина еще больше поджала губы и сузила глаза, — помнишь, как в фильме «Иудушка Головлева», что мы вместе с тобой видели, когда ты была еще моей сестрой: пей, подлая, пей!..

Тамара встала, воинственно подбоченилась, но сказала только:

— Я знаю, это Малиновский. А ты — верь. Ненормальная, малохолдная и так далее... — Ушла в свою комнату и закрыла дверь. Дмитрий тоже встал.

— Если так, я ухожу от вас, — сказал он тихо, сам не веря себе.

Долго обувался, еще дольше надевал пальто — ждал, что она скажет. Бесконечно искал шапку — ждал, не станет ли удерживать. И дверь открывал медленно, и она скрипела, но уж закрыл ее одним махом. И ушел, не думая, не зная, что — навсегда. Бормотал удивленно:

— Вот тебе и Иудушка Головлева... «Недотерпеть — пропасть, перетерпеть — пропасть»... И «Претерпевшие до конца спасутся». А это откуда? Из Евангелия. Пойду-ка я к своим, на конюшенное положение. Послушаю Библию в интерпретации Васи Чубука. Претерпевшие... До какого конца? Конца чего?.. И какие бываю люди свиньи: до последнего вздоха готовы они сплетничать и пакостить друг другу...

Долго стоял на крыльце, глядя на

небо. Жидкий свет просачивался сквозь тучи, блокирующие луну на восточном крае неба. За Митрофаньевским кладбищем слышались четко отпечатанные в морозном воздухе пулеметные строки, знаки препинания отдельных выстрелов и *assent* *in grave* орудийных вздохов, и зажигались звезды — будто кто-то с прохотом высеивал их, как медяки и бриллианты, во всей видимой и невидимой путанице, на небесное дно.

«Люди-свиньи. Небо, зачем ты мечешь перед ними этот бисер звезд, бриллиады звезд? Но разве все люди свиньи? Есть и порядочные. Порядочные свиньи. Нет, правда, всюду есть злые и добрые, или нет ни злых, ни добрых, а есть счастливые и несчастные, великие и малые и есть — поэты. Вот кому нужны звезды. Все поэты живут на медяки звезд. Да, к сожалению, чаще на медяки, чем на бриллианты... И что я стою? Чего обижаюсь? Чтоб вернули? Нет, это моя первая в жизни семейная кибитка тоже, кажется, потеряла колесо». Но забубнили правые оппортунисты, не давая сойти с покатої обледеневшей ступеньки — сделать решительный шаг: «Вернись. Здесь хоть какой-то уют и тепло, и любовь, и лишний кусок хлеба». И он подошел к двери. Прислушался:

— Нина, прости меня, — говорила Тамара, — ведь ничего такого не было. Разве я виновата, что его люблю... просто так. И он нас обоих вместе любит.

Нина молчала, всхлипывала. «Все хорошо, и мне здесь нечего больше делать, — решил он, — а они помрут. Если не сегодня, так завтра будут искать друг у друга в головах, и вшивый поиск примирит их окончательно. «Левые» ликовали: «Вперед, может быть — на фронт, в новую жизнь, только не оставаться здесь!»

Но ни правые, ни левые не знали, что впереди Дмитрия медленно шла и везла саночка с Катюшей Ивановна. И была она — как Истина.

— А мы все же решили в церковь пойти. Хотите с нами? — предложила она.

— Да, конечно, — обрадованно согласился Дмитрий. — Только с одним условием: я повезу Катюшу.

— Хорошо, будем поочередно.

К саночкам был приделан верх от детской коляски. Девочке было покойно в них, но Дмитрий боялся, что она замерзнет. А Ивановна не боялась этого: Бог не допустит. Ведь она в церковь везет свою Катюшу, а не в какой-нибудь райком или исполком. Теперь только Бог может ее спасти: сегодня карточки братьев кончились. Может, с завтрашнего дня прибавят хлебushка-то?

По дороге часто отдыхали. Дмитрий беспокоился — поспеть бы хоть к концу службы. Но Ивановна от чего-то слыхала, что в церкви служба идет всю ночь: «Священники и дьячки меняются, а служба себе идет. Массу покойников отпевают. Прямо пачками: по сто Иванов или Марий сразу».

На Офицерской улице остановились отдохнуть последний раз. Церковь была близко. Дмитрий вспомнил, что еще до войны она «работала» и даже стояла в «лесах»: ремонтировалась на средства прихожан. По Ленинграду ходили слухи, что в ней — кто тайком, кто открыто — поют в хоре артисты академических театров, консерватории и филармонии. Ивановна закрестилась: послышался колеблющийся между землей и небом колокольный звон. Дмитрий чиркнул спичкой, закурил. Со светом теперь меньше береглись — налетов авиации давно не было. Вдруг Катюша слабо вскрикнула, подняла свою укутанную в черный платок головку с выбивающимися светящимися локонами и снова уронила ее в кузовок.

— Мама, там, посмотри, — она указывала рукой куда-то вглубь выбитого окна. — Когда окончится война, ты мне купишь такого шоколадного медвежонка?

Дмитрий снова зажжет спичку и, обернувшись, почти с ужасом увидел рядом с собой добродушно оскалившегося бархатного медвежонка.

— Куплю, конечно, куплю, — пообещала Ивановна, а Дмитрий, чуть

не плача, прибавил от себя:

— И не только медвежонка, но и много других красивых вещей: платьиц, лент и всяких игрушек. Только подожди немного — когда окончится война! — Он говорил громко и уж не мог удержаться слез, эти слова ему хотелось бы сказать всем детям Ленинграда, и хотелось бы, чтобы они их услышали: — Только подождите немного, когда окончится война, когда каменная грудь Северной Пальмиры освободится от тисков блокады и вздохнет свободно, когда залечит свои раны, когда зажгутся веселье, яркие огни на Неве... Огни на Неве... Кто их видел — не забудет никогда!

Из двери этого дома, где так чудесно жил и уцелевал в занесенном снегом окне, как в берлоге, шоколадный медвежонок, вышла высокая девушка в шинели. Она блеснула глазами из-под белого платка, прошла мимо. «Интересно, куда она пойдет, — подумал Дмитрий, — и потянул саночки вслед за нею. Она шла прямо к церкви, и мяткий силуэт ее, сотканный из снежинок, путеводно маячил.

— Вот и военные таперча в церковь ходят, — сказала Ивановна. — А нам и Бог велел.

Луна пробилась сквозь блокаду туч, полоснула голубыми мечами по городу, застыла в изумлении над колокольней: слушала строгий и скорбный звон, то взмывающий к небу, то падающий на землю, смотрела вниз. За свою бесконечную жизнь она, кажется, еще не видела таких мертвецов, таких полумертвых и полуживых людей, такой человеческой веры, рожденной и возрожденной в нечеловеческих муках.

Длинной вереницей в несколько рядов лежат, завернутые в одеяла и простыни, сотни и сотни трупов — и на саях, и на полтовых досках, и прямо на снегу. Есть и покойники «лыжники», привезенные на лыжах.

Мертвые тоже встречают Новый год!.. Принесет ли он им новую жизнь?

А что ждет живых? Их ждет смерть. Они же, упрямые, ждут прибавки хлеба, как прибавки жизни.

И холод такой, что даже свет луны, кажется, согревает.

А в церкви тепло от горячего бормотанья молитв, от того, что даже райскому яблоку упасть негде, от горячих колтилок и плоек. Свечей нет — давно все в городе съедены.

Тихо поет хор. Потом — «Святого Евангелия чтение» и «Слава», кажется, «глас осымый». Дмитрий невольно улыбается Ивановне: ее конек. Священник долго говорит о терпении и покорности. Изможденные лица обращены к алтарю с таким напряжением, что на тонких шеях вздуваются веревочные жилы. Старушки тычутся головами в спины друг другу — бьют поклоны. Многие плачут. Несколько шинелей стоят неподвижно. И вдруг среди незнакомых церковнославянских речений Дмитрий слышит тихое скороговорочное бормотание Ивановны:

— Пошли нам, Господи, чтобы на Новый год прибавили хлебушка, да чтобы объявил Попков понемногу крупичицы или еще чего-нибудь...

Невольно и он прошептал: «Пошли, Господи. Услышь эту молитву всего Ленинграда.»

Кто-то с легким вздохом тяжело оседает всем телом. Яблоку упасть негде, а человеку всегда есть, где упасть. Поднимают. Выносят:

— Дорогу, граждане. Не видите — человеку дурно сделалось.

Острота дурного вкуса над мгновением покойником, да еще в церкви. Голодное остроумие редко опошляется так. Чаше оно горькое и печальное, но и тонкое, достойное первых горожан России. Завтра, например, поняв тщетность надежд на прибавку хлеба, будут поздравлять друг друга:

— С Новым годом, с новым Голодом.

Ивановна в левой руке держит дочь, правой мелко и часто крестится.

— ... чтоб объявил товарищ Попков, — твердит она молитвенно.

«Попков, пожалуй, приплетен к молитве неканонически», — думает, улыбаясь, Дмитрий и хочет ей ска-

зать об этом, но она строго отмахивается:

— Не дышите на меня водкой.

Попков, председатель городского Совета, стал председателем и нового Продовольственного комитета при Военном совете. Сообщения от этого комитета — их было пока только два — передавались по радио в последнюю очередь — и с каким нетерпением их все ждали! Первое сообщение, от 25 декабря, подписанное Попковым, было о прибавке хлеба, — второе — о выдаче сухого картофеля, по 200 гр. Теперь только и слышно — не сказали ли чего нового Попков? Потому и в церкви имя этого самого популярного сановника шепчут многие, не одна Ивановна...

Хор зазвучал напряженной, взбываясь все выше, будто стремясь к самому престолу Всевышнего.

«Надо верить, — говорил себе Дмитрий, — верить во все Вышнее: в Бога, луну и солнце современно языческая Троица.»

А хор мощно взмывал и звал, словно черпал все новые силы в самой, переполнившей храм, народной вере или в двух вблизи стоящих на площади, храмах искусства — Консерватории и Мариинском театре. Два-три тенора всероссийской красоты взвились под купол, затрепетали там, как голуби. Вот, кажется, они пробили брешь в куполе... Дмитрий всегда смеялся над экзальтированными дамами в партере, падающими в обморок от какой-нибудь классической кантаты. Но это было что-то другое. Это было выше его сил. Он заплакал.

За стенами храма тихо. Ни грома орудий, ни пулеметного клекота — с обеих сторон фронта, будто и русские и немцы боятся подстрелить эту незнакомую птицу — Новый год. Вот-вот слетит она из глубины вселенной на застывший в короткой дреме фронтовой лес, сожженные пригороды, исколеченные парки, развалины города, купола соборов и шпиль дворцов.

Вот если бы эта птица принесла в клюве зеленую веточку мира. И если бы эту веточку люди берегли и никогда не выпускали из рук!..

К полночи многие уходят. Некоторых выносят. Старушки, получив вожделенный простор, как жизненное пространство, истово бьют поклоны, бормочут на свободе — служба наконец закончилась. Падет такая, вся черная, на колени, а потом подняться не может.

Ивановна тоже — передала спящую Катюшу на руки Дмитрию, — вступила в колеблющийся строй согбенных спин.

Чаще всего слышится «Царица нябесная». Перед большой Ее иконой трещит лучина. Еще есть русские люди, умеющие расщеплять дерево на лучины. И покуда они будут — Лучина России не догорит.

А вот Катина маленькая жизнь догорела на руках у Дмитрия. Он позвал Ивановну, передал ей вдруг отяжелевшее тельце-труп:

— Я устал. А она... Она, мне кажется, почему-то холодная.

— Катя-Катюша моя, и ты, и ты, — запричитала Ивановна. — Ну, что я теперь буду одна делать? Какая ты умница — у Бога умерла. И я хочу с тобой. Мы никуда не уйдем из церкви. Никогда...

Чьи-то выхваченные лучиной из тьмы руки взяли Ивановну за плечи, отвели в угол.

— Здесь, — сказали ей. — Когда придет священник...

Дмитрий шел по Театральной площади, без конца повторяя: «Какая ты умница — у Бога умерла», — словно скорбь этой женщины-матери хотел выгнать наизусть, взять и нести в себе, как свою. «Эх, Катенька... Была ты вся быстренькая, потом — помедлили даже твои глазки, а теперь вся ты неподвижная. Не видать тебе Шоколадного медвежонка и огней на Неве...»

И он снова подошел к Шоколадному медвежонку, зажег спичку — и увидел его оскал, но теперь он показался ему хищным и насмешливым.

— Вон ты какой, — сказал он злобно, — ну, погоди, ты меня не знаешь. — Он полез по сутробу к окну, два раза соскользнул вниз, но на третий — схватил Медвежонка за фанерно-бархатную ногу и рванул вниз. Медвежонок упал на мостовую вместе с прочей бутафорией витрины, баночками и коробками.

— Ха, ха! Вот ты какой ладный-шоколадный. Но я тебе Микоян. Вот получай: р-р-раз, два...

Медвежонок был разорван на части и втоптан в снег. — Столько людей разорвано на клочки! Будь же и ты растерзан — фальшивосладкое воспоминание об ушедшем мире. Когда окончится война, пусть люди соберут по кускам и тебя, и свои разбитые — маленькие и большие — и такие страшные жизни!

Высокая военная девушка в белом платке, испуганно взглянув на него, быстро вошла в дом.

Флагманская луна в окружении дозорных звезд и бесчисленных млечных караванов плыла по океану вечности — над Адмиралтейством, Петропавловской крепостью, Исаакием, Театральной площадью. Над тысячами городов и сел плыла она в этот новогодний час, когда где-то кто-то улыбался и пил вино, и дарил детям игрушки.

Только не здесь, не в А п о к а л и п с к е.

Но все равно, свет и тепло человеческого счастья, в какой бы части света и как бы далеко оно ни жило — волнами сочувствия и сострадания доплескивало и сюда, поддерживало слабое горение жизни.

А ведь когда-нибудь может настать такое, что ни на одном клочке земли не останется ни капли счастья — как капли вина, не расцветет ни одной улыбки, и девочка Катя или Катрин не будет даже знать, что такое Шоколадный медвежонок.

Впрочем, такое может и не настать.

(Продолжение следует)

ИЗ РУССКОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ПОЭЗИИ

Александра Васильковская

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Уложила волосы в прическу,
Заколола трепнем золотым —
У серебряной полоски,
Узкой, вьющейся, как дым.

Палыцы взяли нить жемчужин.
По привычке это ... Зря ...
Станет многое ненужным
С первым снегом января.

Григорий Забежинский

ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА

Ты — бархатный сентябрь: и зрело все, и дорого.
Я, весь оснеженный, шагаю к январю.
Ты озаряешь льды, пурге даешь приют,
Заминдевелую расчесываешь бороду.
На миг я — снова март и, как весной, пою.

С тобою вместе мы становимся лампадою.
Ты — вечный огонек в лампаде изо льда,
Что пляшет и влечет небесною отрадою.
Он — прёза в зимнем сне. Когда на землю падаю,
Как прежде, в небе он — полярная звезда.

А. Неймирок

Дождь лил неделю, не переставая,
И горный лес, в седицах от тумана,
Казалось, плача, жаловался небу,
И ёжилсЯ от ветра городок.

Пять по полудни. Август. Воскресенье.
В такой бы день с утра по ежевику!
А тут — секут по стеклам злые капли,
По мостовым журчат, бурлят ручьи.

За стойкою хозяин толстогубый
Нацеживал спросонья в кружки пиво.
Приказчики, бушуга под студентов,
«Крамбамбули» горланили вразлад.

А мне об олеандрах лепетала
Лыняноволосая больная итальянка —
— Чудесное виденье Ботичелли
В немецком затрапезном кабачке.

ПОЛДЕНЬ

Гонг ли, колокол? . . Вялым контральто
Отозвался далекий завод.
Над тягучею жижей асфальта
Сероватая дымка плывет.

Блеск и дрема. Тоска неживая.
Тротуара прямая черта.
Смогло всё. Ни души. Ни трамвая.
Духота. Тишина. Пустота.

ИЗ ЛОНДОНСКОГО ЦИКЛА

1

Какое имя году подберем?
Здесь нынешний ли век, или вчерашний?
Вот светится огромным янтарем
Совиный глаз часов с вестминистерской башни.

Но не к чему за временем следить:
Оно запуталось средь хроник и преданий.
По улицам седым пойдем бродить;
Заблудимся и мы в гороховом тумане.

И в слякоти, и на сыром ветру,
Вздохнем о синеве над головою.
О гомоне гугуток по утру
И о друзьях вдали.

2

Забывать ли взгляд его? В нем боль была.
И эта боль, всех крестных слов горячей,
Казалось, дружбе руку подала.

С него сексоты не сводили глаз,
Вились, как мошकारа, досадной тучей,
И жалили украдкою подчас.

Не удался мне долгий разговор
И честное, навек, рукопожатье.
Но помню я, как он взглянул в упор,

И искра пробежала. Понял он
Все, что в тот миг хотел ему сказать я,
Ему, что обескрылен и лишен
Достойной славы...

Сергей Орлов

* * *

Родина приснилась мне...
Я скакал на удалом коне
Родине навстречу.
Степь, как море. По ее волнам
Плыл с туманом к рощам и домам
Светлосиний вечер...

Я коня остановил. Она,
Как степи душистая волна,
Вышла из калитки.
Улыбнулась, слова не сказав...
Но горели в голубых глазах
Золотые слитки.

Я потуже затянул седло, —
Утонуло сонное село
За бутринным боком.
Просекли мы ночь наперерез,
Домом был нам — корабельный лес
В зареве востока!

* * *

Я песни ветра знаю наизусть,
Они меня от злой печали лечат.
Я вспоминаю Вас, когда приходит грусть,
Когда приходит темный, длинный вечер.

Я вспоминаю Вас, когда густая ночь
Зальет Помпею лавою горячей
И спит — пока востока кровотоць
Над острями крыш не замаячит...

Екатерина Таубер

Кончался день, ненастный и дождливый.
Как прежние — уйдет в небытие.
А были вместе мы под кровлею счастливой,
Не зная слов: «твое», «мое».

Всё было будничным: будильник мирно тикал,
По стеклам капли крупные текли,
И сад чернел загадочно и дико,
И влагой пахло от земли.

За каждодневным, незаметным делом
Текли часы без взглядов и без слов,
Лишь нежностью насыщенные зрелой,
Как рыбака негаданный улов.

Борис Филиппов

* * *

Жестянкой ржавой зачерпнул воды
И пыльным рукавом он вытер губы
И трочь пошел, раздумчивый и трубый,
Для новых бед, на новые труды.

Он воздвигал домов тупые кубы,
Снимал с полей плоть солнечной руды
И пожинал трудов своих плоды,
Ссыпая золотые зерна в срубы.

И снова в путь. За теплые моря,
Где жизни загорается заря,
Куда влекут торжественные трубы...

Но сломаны седые якоря,
И вновь бредет, страдая и творя,
И нечем омочить сухие губы...

* * *

Скрипнула лестница. Ангел вошел
В дверь, открытую почтальону.
Благословил убогий обеденный стол,
Улыбнулся детскому медальону.

И стало тихо,
Забылась война,
Тысячелапое лихо
Проглотила пуховая тишина.

А на столе письмо:
— Жди. Выезжаю.

Игорь Чиннов

Легко на эту нежную руку
Сели снежинки.
Быть может, эти снежинки — души
Пчёл нерожденных.

Я помню, как ты однажды в церкви
Свечу держала,
Под острым листком огня сочились
Капельки воска.

Я знаю, мед янтарем не станет,
Он ненадолго.
Я знаю, эти стихи растают,
Будто снежинки.

Из цикла „РОДИНА ВЕТЛОВАЯ“

ОТЦЫ И ПРАОТЦЫ

1.

Родословной своей я почти не знаю. В юных летах интересовался мало — утех в жизни без того хватало, а когда вырос — ужасно захотелось знать тайну прародичей своих далеких, да поздно было; от сельских мест родных оторвался, колесил по дорогам родины необъятной. Пытался много раз расспрашивать дядьев и теток, встречавшихся в городе, но мало чего путного от них выведал. Последние нисколько не разделяли моего интереса к подноготной рода и сводили разговор к тому, что деды-то умели жить, а как нам — посоветуй! — прожить?

Глубокомысленный из всех, на слова скупой, дядя Василий Егорович, брат отца, бобыль, говаривал:

— Это баловство в Россию немцы занесли чванливые. В себе не тверды, потому и ищут опору в дереве том трухлявом...

Мой род искони русский, хлебопашеский. С тех пор, как стоит при рязанском большаке древнее рязанское село Кость Мерная, там жили Землевы, однодворцы. Землевы никогда крепостными не были. Но и крепостниками не были. Однодворцы, пахари

«Родина ветловая» А. Землева с главами: «Возвращение», «Песнь рязанской земле», «Кость мерная», «Улица в ветлах», «Заречье», «Сторонушка полевая», «Маль-яши», «Чуркин», «Однодворцы», «Лагутины ребята», «Касатики», «Философия сельской жизни», «Плач матери» — была напечатана в пятом номере «Г р а н е й» (1949 г.).

вольные... Кость Мерная вся была однодворческой; жители ее хранили память своих предков — «мелких служб служилых людей» Государей Московских. Однодворцы утратили себя, как отдельное сословие, я полагаю, с великой реформы 1861 года. Мой отец писался уже просто крестьянином.

Моего прапрадеда звали Иваном — только и знаю о нем. Прадед Филипп был глухонемой. Жил в маленькой бревенчатой избушке на курьих ножках, на северном порядке села, над Вёрдой-рекой. Дед Егор плотничал на селе; его я не застал в живых. По рассказам, Егор Филиппович был болезненный, тихий и светлый человек. Дед поставил рядом с избушкой на курьих ножках большую кирпичную горницу и жил с семьей — у него было три сына и две дочери — в двух избах. Богачом не был, держал пару лошадей, корову. Наемным трудом не пользовался, жил с надела и с плотничьего ремесла — сам нанимался...

Род Землевых неплодовитый и — выговорить страшно — вымирающий. Двоюродных и троюродных у моего отца в живых не было никого. Неужели же Егор Землев был единственным сыном у Филиппа Землева, а Филипп — единственным у Ивана Землева?

Может быть, были и другие, но потомства не дали — вымирающий, увы, род. Мало вероятно, что Землевы растеклись по белу свету, уехали за тридевять земель, — как-никак, знали бы о них.

Впрочем, вспоминая, что в голодные годы революции в Кость Мерную приезжала нищезнаменитая откуда Землева по фамилии, кривая на один глаз Алена, с сыном лет четырнадцати, болезненным мальчиком, раскосым, кажется. Над ней Землевы почему-то очень смеялись, но какие-то крохи подали ей. Прожив некоторое время в селе, Алена исчезла бесследно вместе с сыном своим убогим.

В Кости Мерной были еще два двора Землевых, жили напротив нас, но было ли с ними родство и в каком колене — этого ни они, ни мы не знали. Да и... страшно было допытываться до родства, так как оно подтвердило бы только, что над Землевыми тяготеет рок страшный. Один двор принадлежал Петру Аверьяновичу Землеву — первый сын его, Иван, был подслепый, а второй, Дмитрий, прославленный на всю округу гармонист — слепой от рождения. И у Ивана, и у Дмитрия, впрочем, были зрячие дети и здоровые будто... На втором дворе жил Землев Иван Савельевич, приземистый, домовитый мужичок, с рыжими таракаными усами. Иван Савельевич уже много лет был женат на красивой, дебелой женщине по имени Анастасья. Иван Савельевич и супруга его, кажется, несколько не были обеспокоены тем, что у них детей нет и не предвидится, и жили вдвоем в двух больших сумрачных избах с глухими занавесками на окнах...

Моя бабушка по отцу, Татьяна Васильевна, была взята из деревни Волково. Ее девичья фамилия, должно быть, Волкова, потому что, как я слышал, в деревне этой не-Волковых не было.

Одна из сестер бабушки была замужем в селе Молва, за Герасимом Чубаровым. Внук Герасима, Александр Петрович Чубаров, по общественному положению был самым знаменитым среди родни нашей, дальней и близкой: дошел до чинов высоких. В советской уже России, в годы нэпа, Александр Петрович, бывший частный поверенный и эсер, обернувшийся в коммуниста, занимал пост

начальника главного управления угольной промышленности и члена президиума Высшего Совета Народного Хозяйства, председателем которого был Л. Троцкий. Шутка ли! Министр почитай!

Бабушка Татьяна Васильевна была жива еще в мои отроческие годы, и я её помню, так как она часто гонялась за мной с палкой. Маленькая, черная, — почему и прозвище от сельских получила Белая Таня, Татьяна Васильевна была женщиной замкнутой, мрачной, нелюдимой. Никогда никто не видел улыбки на ее лице или хотя бы простого луча света. Вечно она на что-нибудь ворчала и всегда со злостью, а чаще с ненавистью. В редкие часы молчания — вздыхала, и не по-сердобольному, а от ума как-то. В церковь не ходила, но дома молилась истово, с земными поклонами.

Татьяна Васильевна была в состоянии целыми ночами напролет щунять *) кого-нибудь из своих великовозрастных детей или всех вместе. Кто заснет, того разбудит и заставит слушать или отвечать. Пощады не знали ни замужние дочери, приезжавшие к матери и братьям в гости, ни мой отец, навещавшийся изредка домой из города.

Ей всё казалось, что младшего сына её, хромоногую Митюшку, по внешности — вылитого сынка маменькина, женатого уже человека, обижают, и она постоянно попрекала этим своих старших детей. Свою жалость к Митюшке Татьяна Васильевна перенесла и на его детей, суших дьяволят, Володьку и Тольку. Уму непостижимо, что Татьяна Васильевна, будучи в неладах со всем миром, уживалась с женой Митюшки, вбалмошной и прямо-таки бешеной женщиной, Татьяной Игнатьевной.

Что так Татьяну Васильевну возманило против людей, сделало столь желчной и сварливой, — одной ей ведомо было, да и то сомнительно. Может быть, ранняя смерть мужа, может — хромота Митюшки. А может — разочарование в детях, надежды

*) Укорять, упрекать.

обманувших. Старший, Фома, не захотел крестьянствовать, ушел в город, женился на гордячке с кровью дворянской, запил запоем страшным от жизни городской, неверной. Младший, Митя, за братом потянулся, в писари вышел, взял за себя пиголицу бездомную, барыньку из просвистевшихся... Старшая дочь, Домна, тоже в город очумело кинулась, искать счастье в Москву-столицу поехала, а нашла такое, о чем во век в снах самых страшных не снилось, — мужа из-за угла убили политические, из тюрьмы бежавшие... Эх, город, соблазн дьявольский! Погубитель веры Христовой, жизни крестьянской праведной!..

Оставалась одна надежда, — на среднего, Василия, ан и тот по-своему умом тронулся: вернувшись из солдатчины, с японской, жениться на отрез отказался, бобылем ловчится прожить — жизнь обмануть хочет...

Так вот и пошло всё пропадом. Земля, что Егор и отец Егоров сто лет пахали, по чужим рукам туляет — в аренду сдается. На дворе — ни лошади, ни коровы, ни куренка даже — срамота головушке. Изба вторая, дедовская, пустует: сноха Марья, гордячка дворянская, блажит, по обыкательским квартирам с детьми кочует, с свекровью вместе — новая мода — жить не хочет...

Много тем для размышления давала Татьяна Васильевна жизнь, дном перевернувшаяся... И от чего это с детьми такое сделалось? Почему случилось это именно с ними, а не с сыновьями... ну, соседа хотя бы, Максима Титова? Те тоже города повидали, на военной службе побывали, а вернулись, как ни в чем не бывало: поженились, поделились, пахнут землю, достаток наращивают... А эти... нет! против природы своей пошли. Выродки, что ли они? Да нет же опять! Неоткуда вырождаками-то быть. Род правильный, что по отцу, что по матери. Сколько предков ни запомнилось, — все жили люди, как люди, ничем от общества не отличные. Крестьяне, одним словом. Ну, в норове может быть разница, не в жизни

же?.. А у этих... откуда ум такой беспокойный взялся, что с ума посходили? Ищут чего-то другого и находят уже: Фома пьяный белых мух ловит... Вернуться опять к тому же: почему Фома малолеткой еще к дьячку укладкой побежал грамоте учиться, рожь отцовскую транжирить? А ровесник же его, и сосед, и дружок, Павел, Максимов сын, не побежал... почему? А что если бы Егор во-время заметил, да не пустил бы больше Фому к дьячку — был бы он теперь такой же звездочет?.. Ох, не такой, так другой, а был бы — по всему нему видно... Но откуда же он такой взялся, из роду выплеснутый?.. То-то и оно, что непонятно... голова крутом идет... земля постылой кажется...

Еще меньше знаю прародичей со стороны матери. Собственно, знаю только деда, Семена Павловича Севастьянова, да бабушку Марью Абрамовну, — обоих в живых застал и, так сказать, знаком был лично, а от деда и страхов натерпелся немало.

Дед мой Семен Севастьянов был дворянин — факт, который неизменно задавал мне задачу при заполнении советских анкет. Семен Павлович имел землю и дом в деревне Казначеевке, что в 18 верстах от Кости Мерной, родины моего отца.

Отец деда, Павел Севастьянов, кающийся дворянин, надел на себя крестьянскую одежду и вел жизнь простолюдина нарочно: этим жестом, как тогда завелось у части дворян, Павел Севастьянов искуплял вину класса крепостников перед мужиком. Его сын, Семен Павлович, носил смазные, воняющие дегтем; сапоги и нагольный полушубок уже всамделишно: в то время (эпоха царствования императора Александра II), когда дворянство, переживавшее глубокий — экономический и сословный — кризис, было поставлено перед необходимостью искания новых путей для себя, о чем вещал славянофил И. Аксаков*); когда

*) «Дворянам необходимо определить себе самим, что они такое и чем могут быть, пристроить себя, отыскать себе почву и фундамент общественный».

в дворянском обществе реяли всевозможные рецепты перерождения дворян в «кого-нибудь», — молодой Семен Севастьянов решил, что дворянам следует со сью раствориться в крестьянском сословии. Впоследствии Семен Павлович говаривал своему любимому собеседнику и любимому зятю, Фоме Егоровичу, умственному:

— Нам, дворянам, подаваться, если не в мужика, то некуда. Что бы там ни было, а дворяне — сословие земельное, и родни у нас, кроме мужика, нету. Из земли-то только двое сотворены: крестьянин да дворянин. . .

Изба Севастьяновых под соломенной крышей стояла на деревенском порядке, то-есть в ряду крестьянских изб. Это был огромный дом, разделенный надвое, на белую и черную половины, с полками вдоль стен, с полатями под потолком, с неизменной логанью у печи. К избе примыкал скотный двор, соединяющийся с сенцами. Дальше — сад. Дальше — риги, огороды. . . Севастьяновы сами пахали землю, ходили за скотом. Держали одного работника, на правах члена семьи. В страдную пору неуправки нанимали косцов, молотильщиков. . .

Никто из Севастьяновых — Семен Павлович имел сына и шесть дочерей — не был отдан в ученье в город.

— Нечего финтить! — говорил Семен Павлович, — Переиначивать себя человеку один раз дозволено. В другой раз — блудом назовется. . .

Принадлежностью своей к «голубой крови» Севастьяновы, тем не менее, дорожили, и из крестьян выделялись природным умением держаться с достоинством, горделиво. Но спесивыми не были. Языки — бритвы имели. Но сарказм их был слишком тонок, чтобы окружающие могли почувствовать себя задетыми. Севастьяновы охотно рождались с умственным сословием: первую дочь Семен Павлович выдал в Скопин, за железнодорожного фельдшера Василия Павлова; вторую — за сельского учителя Василия Веселкина; третью — за нотариуса, так Севастьяновы называли моего отца, Фому Егоровича кроткого. . .

Дед Семен был колоритнейший

представитель ныне ушедшей старой кондовой мужицкой Руси: богатырь, орел, туз. Невысокий, косой сажени в плечах, прямой, как ствол столетнего дуба, Семен Павлович и впрямь вызывал представление о царе дубрав могучем, перед грозами усмешливом, перед бурями непреклонном. Энергичная рыжевато-зеленая борода лопатой загораживала его грудь, как щит. Лицо Семена Павловича, под прямым пробором в пепельных волосах, дышало огненным румянцем, а умные голубые глаза, пронизательные, отблескивали заботой — земной, не небесной. . . Семен Павлович не знал старости, и на втором полвеке своей жизни, в 60 лет, бешено скакал на жеребце яроном, скаженном. . .

Семен Павлович не верил ни в Бога, ни в чорта, но верил безгранично в самого себя. Никогда ни перед кем не гнул спины, не склонился бы, думаю, и перед царем. Любил людей с ухваткой, с характером ясным, со сметкой практической, на слове своем твердых, и терпеть не мог вертопрахов, краснобаев, прачей бездомных — то-есть любил в людях самого себя. Семью свою держал в строгости, но самодуром не был — дочерям предоставлял свободный выбор замужества. Скопидомство презирал, хлебосольство ценил, в вине толк находил — душа была русская. . . Чувства обиды, злобы, мести, меланхолии не были ему знакомы. Когда он не был в гневе, он был ровен и весел, и с детьми своими упражнялся в острословии. Не терпел фальши в людях, но признавал хитрецу. Не любил нищих, но приказывал подать.

Словом, это был цельный характер, неподатливый, какие теперь уже не водятся. Он и умер таким, каким жил, корнем земляным, крепким, не приняв нового порядка, революцией продиктованного: в роковую зиму тридцатого в страшном гневе наехал на кобыле Богомолке на скопинского комиссара, приехавшего раскулачивать, по инерции — а может решившись — налетел на столб крыльца и свалился мертвый с искрометного коня своего. . .

Мать моей матери, Марья Абрамовна Севастьянова, происходила из рода рязанских дворян Полотебновых. Была в Скопинском уезде деревня Полотебново и было рядом с деревней этой именье Полотебновых, помещиков мелкопоместных. Вот бабушка оттуда.

Черный кашемировый полушалок, черная кофта и лицо белое как полдень июльский, мягкое, как пух цветка-одуванчика... Подумал о бабушке, а вспомнился Достоевский: есть среди русских такие, которые сами светятся и другим дорогу освещают.

Некрасов назвал эти солнца: русские женщины.

О бабушке — всё.

Нет, не всё. Было у бабушки 37 внуков и внучек: Севастьяновы, Павловы, Землевы, Веселкины, Шараповы, Шатровы. Лакомила бабушка внучат отборной малиной, яблоком-анисом, янтарными драконами. Вязала для пострелов варежки потеплее. Прижимала к груди головки детские, ласкала. Отблагодарили внуки бабушку: в лихолетье тридцатых годов столетняя, ослепшая Марья Абрамовна, лишившись Семена Павловича и родного гнезда, ходила под окнами у внуков, искала приюта. Приходила, сказывали, и в Кость Мерную, к Землевым-внукам.

— Улетели пращи. А избушка на курьих ножках спорела. А мотила дочери вашей возлюбленной Марии да зятя Фомы Егоровича умственного на старом погосте с землей сравнилась, — негромко сказал ей ветер.

Постояла, сказывали, на пепелище, подвигала губами, потеряла глаза. Взяла с земли горсточку золы и пошла в заречье — в Крутое, может, пошла, к Шараповым-внукам... Прости, бабушка!

Среди бабушкиной родни звездой сияла знаменитость немалая — медик, петербургский профессор, пионер русской дерматологии Алексей Герасимович Полотебнов. Ему посвящена обстоятельная статья в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона.

Младшая сестра бабушки, тетка мо-

ей матери, Пелагея Абрамовна, была замужем в селе Молва, за глиноотпоровцем Никифором Соловкиным. По соседству с Соловкиными жили Чубаровы — родственники моего отца по его матери. Это-то обстоятельство женило моего отца на моей матери, а меня произвело на свет, о чем рассказано здесь будет в скорости...

Итак, родство Землевых — Волковых — Севастьяновых — Полотебновых произвело на свет меня такого, какой я есть. Окажись в этой цепи одно звено другим, например, не Волковым, а Лисицыным каким-нибудь, — был бы я не совсем такой или совсем не такой: лучше или хуже — не знаю.

Но это-то и ужасно. Ведь это был бы не я, а другой, а меня не было бы на этой, пусть злополучной, а все же прекрасной планете.

Я благодарю Создателя, что дед мой Егор повстречал Татьяну Волкову и женился на ней.

Я рад, что Семен Севастьянов заметил красоту и добродетели Марьи Полотебновой и женился на ней.

В моей крови нет раба крепостного; по крайней мере, ближайшие мои родичи были пахари вольные.

Не аристократ я, не избранный — тоже. Удержи нас, Боже, подалыше от избранных!

Не аристократ, но себе господин и князь.

И за это благодарю я Бога.

2.

Отец мой, Фома Егорович Землев, был первенец у родителей. Родился он спустя девять лет после отмены крепостного права в России, там же, где до него два века все Землевы рождались, — в Кости Мерной богохранимой.

Школы ни в селе, ни в ближайшей округе не было, и подросший Фома, тайком от родителей, упросил сельского дьячка — банальная, увы, история! Академия наук российская должна была бы монумент поставить учителю Руси, дьячку безвестному, — упросил дьячка научить его читать-писать. Расплачивался ученик с

учителем западно исчезавшими у матери из куриных гнезд яйцами и зерном из отцовских закромов.

Жениться не торопился, хотя от невест отбоя не было — голова не тем была занята. От кулачек *) отказался, ослабив центр мернской «стенки» — вторая причуда. Зеленого **) в рот не брал — дурачество третье.

Только двадцатилетним Фома попал в город большой, в Москву.

В то время уже заметно шло расшатывание устоев деревенской жизни, казалось, недвижимой. Из однодворческих сел, раньше чем из крепостных, народ повадился в отхожий промысел ходить. Оно и понятно: однодворцы-то в общем гольтепа были, а претензии имели, что у лягушки бока, — раздутые. Однодворцы с испокон веков одевались в городское платье, забавлялись чаями-сахарами, лампы керосиновые позаводили.

Вместе с другими отходниками, направлявшимися в Москву за деньгой веселящей, за ситчиками цветными, нарядными, приехал в столицу первопрестольную и молодой плотник, выученик отцовский, Фома Землев.

Провозившись месяцев несколько с артелью плотницкой, Фома завел в трактире знакомство одно любопытное.

Рядом с Фомой за столиком, в углу, перед полуштофом и рубцом, в яйцах зажаренным, сидели двое — поддевка мужицкая — из богатых — и пиджачок кургузый. Поддевка говорила — пиджачок слушал, изредка пометки в бумажке у себя делал.

Речь шла о меже. Савва Семенович, так звали поддевку, семь лет вел

*) Кулачные бои. Рождественские кулачные бои между однодворцами и их соседями были знамениты по всей округе. Смотреть побоище приезжали гости даже из других уездов. Однодворцам это было на руку, так как гости не только глазели на кулачные бои, но и присматривали невест, и нередко бывало в наступающем после Рождества мясоеде на деревне играли полдюжины, а то и целую дюжину свадеб.

**) Вино.

тяжбу с соседом — сосед не давал между на свою землю переставлять.

Когда-то Савва Семенович и сосед вместе купили землю. Потом — поделили. Савве Семеновичу достался загончик с изъянцем.

— А я-то виноват разве, что землю червь преисподний тръзет? — говорил Савва Семенович. — Что ни весна, то в овражке обвал новый. Сажени три верных овражек тот от земли моей сожрал. Куда же мне подаваться прикажете?

Дело несколько раз было в судах и пересудах, но, как вообще в судах российских, решалось так и иначе, в разных смыслах. Судьи-то ведь тоже были люди русские, с совестью беспокойной — метущиеся, одним словом.

Случалось так, что по весне Савва Семенович заседал полторы сажени по земле соседа, а к уборке — новое определение поступало: приоставить исполнение приговора суда до... и так далее. На ничейной земле поигрушки происходили: соседи враждующие норовили друг дружку косой вострой, отбитой, брусочком отточенной, подрезать половчее.

Тяжба зашла чорт знает в какой закоулок, когда сосед, предвкушая злорадство, а может и по нужде — кто его знает — взял да и продал загончик свой купцу Волнорезову. Сделка состоялась в момент, когда камень, между означающий, по бумажке плотной, гербовой, приставом на старое место вернут был.

— Пусть полежит маленько тут, а то ему скучно на одном месте червей выводить, — сказал пристав.

Купец сейчас же заявил, что он знать ничего не знает о споре соседском.

— Мне-то что? — сказал купец Савве Семеновичу. — У меня с тобой спора, мил-человек, нету никакого, живи, сделай милость. А только землю-то я купил за свои кровные, за каждую былинку польнную, за букашку — коровку Божью уплатил сполна. Всё мое!.. Разве камень только межевой исполу приходится? Ну, да я тебе уступлю его... по цене

сходной. Не живодееры мы какие-нибудь!

— Да ведь овражек тот... — пробормотал Савва Семенович.

— Что ж, что овражек, — последовало возражение, — при мне овражек твой не осыпался, я и не ответчик. Подай, коли хочешь, в суд на природу, что она тебя не любит. А овражек от беды заплети все-таки хворостом... Вот и порешили миром, голова ты садовая!

Савва Семенович, однако, не сдавался и всё искал защиты... от кого уж теперь? он и сам путно не знал.

Адвокат трактирный, подпольный, Владимир Владимирович — пиджачок так назывался — руками развел:

— Дело твое прогоревшее, Савва... как по батюшке?... Семенович! Хотел бы порадовать, да не могу. Не выйдет у тебя ничего!..

— Может и выйти! — неожиданно вмешался в разговор Фома.

— А ты откуда знаешь? — поразился адвокат. При этом он даже очки сдвинул на лоб от изумления.

— Все зависимо от того, — отвечал Фома, — в каких выражениях-колесиках сцепительных суть процедуры той недоразумительной изложить на бумаге постыдится... Главное, как я думаю, в вашем деле хлопотливом, писучем — сцепить одно с другим, одно из другого вывести непреложно. Вроде как пряжу выпрясть — из концов льна одну нитку убедительную сделать. Тогда можно доказать всё и даже то, что бутылка, которая перед вами стоит и которую — я сам видел — вы купили у трактирщика, — краденая суть. Смотря по тому, от какой мысли итти начнешь...

Савва Семенович от такого неожиданного оборота речи парня незнакомого крякнул испуганно, а адвокат загнал в складках губ понимающую усмешку.

— Если заняться прядением мысли, — продолжал Фома, — то можно путем известного к разгадке неизвестного притти. Я вот, когда вы рубец докушивать изволили молча, в рассуждении умозрительном пребывал,

ниточку ту, мыслительную, тянул и вытянул, что должно непременно такое установление в законах государственных быть, чтобы обвалы овражков, так сказать превратности стихии капризной, в расчет были взяты...

— Посиди-ка ты, парень, помолчи! — с сердцем сказал адвокат, снова сдвинув очки на переносицу.

Опустив клиента, адвокат движением головы позвал к своему столику Фому.

— Эка ты какой... досужий — примирительно сказал Владимир Владимирович. — А все-таки... как это по пословице говорится?... не в свое дело нос не суй. Так ведь?

Фома молчал.

— Откуда ты такой взялся? — спросил адвокат нестрого.

— С плотниками дом на Плющихе строю. Знаете инженера Быстрянского? Ему.

— Эх-ма! Тебе не в плотниках — министром быть!

Фома осмотрел свою косоворотку, сапоги гармоникой и усмехнулся иронически.

— Подходяще!

— Верно говорю. Маховик у тебя тот, мыслительный, прилажен хорошо. — Адвокат вспомнил непрощенное вмешательство Фомы в разговор и громко расхохотался. — И ведь каков, каналья! «Непрененно установление в законах государственных быть должно...» Угадал ведь! Никакого чорта не было в законах про овражки те, сучьи, а месяца еще нет, — распубликовано определение новое, сужения земли от бедствий стихийных касаемое... Дело-то этого Саввы толстого-дого вернее верного. От соседа не отрежут, так от свободных земель прирежут...

— А зачем же вы ему про то не сказали?

— Ну и теленок наивный! Беру свой высочайший указ о производстве тебя в министры обратно... Я ему и после-то не сказал, голова ты девичья! Обнадежил только легонько. Пусть раскошеляется пощеднее, мужик с деньгою — он на овражке-то этом, поросычем, просудил столько,

что именье купить бы мог, в придачу с барынькой нестарой... Так уж пусть не будет в последний раз идиотом — отсыпает золотишко...

Владимир Владимирович расспросил Фому, откуда он, женат ли, и, узнав, что артель плотницкая торопится закончить работу до снегов, чтобы на праздники Покрова беспрерывно дома быть, сказал:

— Эх-ма! Жалко мне тебя, человек. Не вру, от души говорю. Чего делать-то будешь в Свинушках своих... или как там деревня твоя называется? Какое применение прядению своему мыслительному найдешь? Мужикам будешь, что ли, рассказывать, отчего мерина гнедого некраденым и краденым посчитать можно?.. Не послушают ведь все равно да и прибьют за облыжку...

Владимир Владимирович поманил полового и велел принести сотку. Разлил в два стакана и вопросительно посмотрел на Фому.

— Непьющий, — в смущении проговорил Фома.

Адвокат усмехнулся и залпом опрокинул в рот содержимое стакана. Вынул из кармана пестрый платок, но к губам не поднес, а смахнул им крошки со стола.

— Вот я и говорю, — сказал он после минутной паузы, будто от сна очнувшись, — что делать-то будешь в тишине той девственной, первозданной, в Свинушках богоспасаемых? Захлещешь ведь, а то и... на стенку полезешь от мыслей своих одиноких. Ниток мыслительных на рубашку себе смирительную нарядишь... Уму сосущему нужно, чтобы прохот посторонний перебивал его, иначе — скиснет. Наблюдал, небось, природу перед прозой — вялая, бедумная, больная. А гроза прорежет — всё встрепенется, засияет, зазеленеет... ну, да это банально. А вот то примечательно, что каждая березка с удивлением в горизонт всматривается — никогда еще не видела такого глубокого, малящего...

Адвокат взял стакан и, не переспрашивая Фому, осушил его уже не

столь решительно, как первый, в два глотка.

— А не пряхть захочешь, — продолжал он слегка заплетающимся языком, — все равно не сможешь, — природу свою не осилишь. Не думай, что это чудачество Создателя какое-то, что слепил он тебя такого, а не другого. Во всем, брат, — рука разума Мирового. Ум пылкий — поэтам, практический — мужику, нелогический — женщине, изворотливый — купцу, ленивый — баловню земли южной, воинственный — сарацину, демонический — революционеру, проникновенный — ученому... Всяк живет со своего ума. Деньги — мишура, условность. Фунт колбасы в лавочке покупает кто на свою изобретательность, кто на хитрость житейскую, кто на фантазию быстрокрылую; астрономы — на звезды, еще не сосчитанные, географы — на Памяти неисследованные, врачи — на микробы таинственные... А на что же женщины покупают? — спросишь. Да на ум же свой... нелогический, порхающий. Это, брат, статья доходнее всякой другой даже. Попробуй-ка за тебя просватать чулок синий, умницу какую-нибудь очкастую, сухаря ученого, — небось нос отвернешь. А за бабочку луговую, нарядную, глупенькую, что сама в огонь летит, за наивность девичью святую, за милый бесвязный лепет губок очаровательных... признайся, руками ухватишься — не оторвешь... Нашему брату, адвокату, тем Разумом Космическим на сцеплении ума стоять приказано, веревочку вить мыслительную — на проценты с логики жить. А для того, чтобы мы могли свой фунт колбасы покупать, у судей своеволие отнял, совесть нетвердую дал — всё нороят за правдоподобие суждения чужого схвататься, от себя грех отвести — так-то оно спокойнее колбасу судейскую есть...

Адвокат замолчал и торопливо стал шарить в карманах, будто вспомнив о чем-то очень важном. Достал табак, трубку и стал набивать дрожжащими руками.

— А как тебя звать-то? — спросил, распалив трубку.

— Фомой.

— Ого!... По батюшке?

— Егорыч.

— Чорт!... Хорошо. Клиентуре сермяжной имя любезное. Ко мне каналья один сельский привязался, Христом Богом молил прощеньице мировому составить, а как узнал, что я — Владимир Владимирович, а не Феррапонт Прохоров,* — разговаривать отказался. «Ты, говорит, отпрыск из барских, видно, — нужду мужицкую не скумекаешь...»

— Вот что, Фома... Егорович, — заворочился на стуле адвокат. — Иди-ка ты ко мне... помощником, будем вместе по трактирам таскаться, деньгу на спорах людских зашибать... Писать умеешь?

— Учены немного. По-своему только...

— По-форменному научимся — дело не великое... А чтобы тебе вид на жительство в столице иметь, — попробую-ка я пристроить тебя к заведению одному благоприличному. Слышал, вытурили там одного намердника — вакансия, думаю, не скоро закроется... ищут, где Москве бегают, такого, какого нам нужно... рослого, молодого, сероглазого обязательно, чтобы заведению больничному подстать был. Поражаюсь, как это они тебя на твоей Плющихе до сих пор не сдавали... Ну, что язык-то залтер? Согласен, чай, будешь?

Фома согласился.

На следующее утро Владимир Владимирович с Фомой стояли в вестибюле особняка богатого, на Девичьем поле. В особняке было тихо, пахло иодом и камфорой. По лестнице неслышно, по коврам мягким, порхали женщины в белом.

К посетителям странным, спустя час, сошел с этажа доктор в очках золотых, с бородкой ворсистой. Расспросил о цели посещения, оглядел Фому с головы до ног, за плечо зачем-то потрогал — удостовериться захотел, что ли, — не подделка ли?

Перед доктором стоял шатен, пигант с широченными плечами. От-

крытое светлое лицо доверие внушало. Высокий выпуклый лоб о смекалке недюжинной заставлял подумать. Ласковые глаза тихо светились. Мягкие шелковистые волосы прядями живыми ниспадали, губу верхнюю пушок золотил.

Доктор довольно улыбнулся.

— Ну что ж... как вас величать прикажете?.. Оставайтесь у нас, Фома Егорович. Галуны, фуражку форменную бесплатно получите. На обзаведение одеждой, должности приличествующей, денег дадим в счет жалования будущего... Эй, Григорий! Примите коллегу нового. В часы приемные стоять будет...

Так стал Фома Егорович привратником в роскошной клинике Остроухова.

3.

Отписав домой, что такая, значит, планета на роду ему написана — гускать корень в мостовую города каменную, и попросив выслать отпускную от общества, Фома поступил в услужение господ хворых.

Дверь отворял с поклоном чопорным, раздевал-одевал бережно старичков сановитых, подагрических, барышек с мигренями докучливых, мамзелей бледных, стеснительных...

Одно посещение клиники имело последствие для молодого привратника.

Однажды, порой летней, утром поздним Фома вышел из вестибюля в покои — лекарство, по просьбе няни, понес больному.

Возвращаясь, видит — старик седой, с бородой раскидистой, в рубашке белой, без пиджака, от вешалки к лестнице направляется, палкой пристукивает. Взглянул Фома по направлению швейцарской и поморщился: через стекло видно ему — швейцары Григорий и Евдоким тайком от врача в щелчки играют — не вышли, значит, к посетителю — сам раздевался.

Зашел в швейцарскую, попрекать начал коллег своих в лености, неисполнении долга предписанного.

— Да это ошибочный какой-то при-

плелся, жизнь врачу сдавать, — ответил, зевнув, Григорий. — Посетитель не из наших, будь спокоен: в рубашке крестьянской-некрестьянской, не поймешь... плащико заносенный, шляпа соломенная... чорт знает что!... Простолудин, одним словом!

Фома с беспокойным сердцем наверх пошел. Навстречу — сиделка Ксюша, кипятком будто ошпаренная летит.

— Фомушка, знаете, кто у нас?

— Боюсь думать, невдомек.

— Граф Толстой к Антону Павловичу проводить пожаловали...

— Ах! Григорий, лентяй проклятуший!

Антон Павлович — это Чехов. Фома chest имел лично знакомым с ним быть.

Подавая лекарство, на здравие пить просил.

Антон Павлович улыбнулся глазами усталыми.

— Вы из каких же мест будете? — спросил, не зная, чем другим обласкать почтительного служащего.

— Скопинский... Слышали, может быть? Уезд такой под Рязанью...

— Как же... Да ведь вы, свистушники, *) все Рыкову **) сродни доводите... Знаем мы вас! — шутливо пригрозил Антон Павлович.

Фома счастливо просиял...

И вот теперь у Чехова — Толстой, которого проглядели остопопы швейцары.

На цыпочках подкрался Фома к палате, где больной Чехов лежал, узрился в замочную скважину, не ды-

*) Скопин издавна славился собственным производством гончарных игрушек. Скопинцы дули в глиняные собачки, коровки, петушки, почему и прозывались свистушниками.

**) Дело обанкротившегося скопинского банка Рыкова в 1884 году прошумело на всю российскую прессу, проникло и за границу. А. П. Чехов присутствовал на процессе в качестве репортера «Петербургской Газеты» и давал яркие, остроумные отчеты о нем. На этой любопытной странице истории русского характера мы еще остановимся в свое время.

шит. Посреди комнаты, на кровати, высоко на подушки туловище подняв, полусидит-полулежит бледный Чехов, через пенсне смотрит прямо в скважину, мимо Толстого. Не по себе Фоме стало, а... посмотреть — охота нестерпимая. Лев Николаевич с боку кровати на стуле сидит, палку между ног держит, руку, невзначай будто, уронил на руку Чехова, пальцами поигрывает осторожно.

Силится Фома уловить разговор писателей знаменитых... хоть слово одно зацепить бы ухом. Нет! Ничего не слышно... а как бы хотелось узнать, про какие вещи чудные, душе-ласкательные они промеж себя говорят!...

Фома был уверен, что писатели ни для чего другого, как для добра только, говорить могут. Сколько ни читал он книг — с дычком еще вместе, — заключение одно вывел: писатели все, от апостолов начиная, в подкрепление добра на землю посланы. И всегда сравнивал голос писателя со звоном колокола сельского в ночь мятежную, выюжную. Во сне жарком, на печи раскаленной, испугает иной раз тот звон, страшно покажется от набата тревожного. А ведь... кто-то в поле закружившемся, темном, встрепенулся, просветлел, перекрестился в эту минуту, у кого-то силы взялись, кто-то бодро шагает на этот набат, с бурей спорящий, слезу искупления, замерзшую, на щеке несет... И так хорошо дремлет под раздумье сладкое, что не одна ведь церковь и не один колокол на земле, в ночи тревожной перекликаются набатно вешки звуковые, Добром по земле расставленные, и нет через то воли выюге беснующейся, позёмке остервенелой, темени ревущей...

Прогуливается Фома по коридору светлomu, по ковру шершавому, ждет выхода гостя высокого, размышляет, о чем бы спросить Толстого... о чем же?

Вот уже слышно — отодвинутый стул в чеховской палате прошумел... дверь растворяется... Толстой острожно по паркету башмаками мягкими ступает, ковра не замечает.

О чем бы спросить Толстого? Фома уже лицо к лицу с писателем имениным, у выхода на лестницу, а вопроса своего еще не знает.

— Чайку, может, изволите откупать? Уморились, чай? — нетвердо проговорил Фома и тут же в мыслях дураком себя обругал: где бы, спросить себя, чаю я взял?

Толстой посмотрел глубоко запряганными глазами, брови не вскинул.

— Благодарю вас. Не хочу, — и протянул палку на первую ступеньку, ощупывает, словно лед перед ним предательский.

— Дозвольте помочь сойти, лестница у нас крутенькая, — в отчаянии говорит Фома и прилаживается под локоть Толстого.

Толстой чуть-чуть голову повернул, наклоненную:

— Я сам.

Растерянный Фома на первой ступеньке встал шкопанный, смотрит, как Толстой лед палкой пробует, спускается помаленечку... Вот и пол. Повыше поднял глаза Фома и обмер от картины: Григорий с Евдокимом у вешалки стынют, как статуэтки фарфоровые, глаза остеклянив. У одного в руках — перед собой держит — шляпа толстовская, у другого — плащ полинялый.

— Так что, ваше сиятельство, звините, ради Бога, дураков нас глупых. Ненарочно это вышло, как перед Богом. Отлучиться пришлось по звонку, — выпалил Григорий затверженную фразу.

Толстой остановился, бороду вниз, глаза — прямо, пук морщин на лбу не распустил.

— Не раздели вашего сиятельства давеча... по звонку спешному отлучились... оказия какая пренеприятная... — пояснил Евдоким, сделал лицо молящее.

Толстой молча руку протянул в рукав, а, вдев вторую, за шляпой потянувшись, сказал:

— Ничего.

С тем и ушел.

После ухода Толстого Фому видели в клинике таким, как всегда: посе-

тителей встречал ласково, с достоинством, однако; с сиделками на скамейке белой сидел — балагурил; больным улыбался весело, неприятно. А только внутри чувствовал себя... не того... по особенному как-то, как никогда не бывало... ново... неприятно. Что-то такое сжалось внутри комом, затвердело, мешает. Что-то поскребывает вблизи сердца... словно мышшь кошку дразнит.

Дался в голову Толстой этот... а может и не он? Не раздели — нехорошо и одели — нехорошо опять же. Григорий с Евдокимом — черти полосатые... И это его: «Благодарю... не хочу... я сам... ничего...» И откуда оно взялось, слово это ничего?... Пустота!

Спать не хочется — какое спанье: жар полуденный, а уснуть... не мешало бы. Надо бы уснуть...

Едва дождавшись конца часов приемных, вышел спокойно в двери зеркальные; не подавая виду, украдкой свое изображение осмотрел. Слава Богу, ничего, без перемен будто.

В трактир направился — некуда больше.

Непрерменно-присутствующий, за всегудатой трактирный, Владимир Владимирович увидел Фому еще в дверях.

— Гей, Егорыч!

Фома к столу подошел весело, руку адвоката тряхнул бодро — руку старого волка обмануть думал, ан не обманул.

— Эге, братец, да ты фокусничаешь! Что стряслось, говори!

— Ничего... нездоровится... Нанюхался воздуху лекарственного... голова болит...

— Кобыле серой поди расскажи — на дворе стоит...

Владимир Владимирович взял его стола штопор, острием наставил в бок, на сердце... покрутил.

— Это?... Женщина или что?... Ну да это все равно... Начинается! — произнес он почти нараспев.

Фома от этих слов одиноким себя почувствовал — никого ведь у него по всей Москве нет, кроме пьяницы этого трактирного. а в общем душев-

ного человека, кто бы послушать мог его просто... от нечего делать хотя бы...

— Вот, послушай-ка, Владимир Владимирович!..

И повел рассказ про историю дня сегодняшнего, про разочарование, как оно не было, а, не досказав еще всего, узрился на стакан, словно впервые увидел такую диковину, побледнел мертвенно...

— Ну... — только и сказал, неумело расплескав жидкость огненную на зубы свои красивые.

— Поторопился, Егорыч! — сожалительно сказал адвокат. — Может быть, прошло бы еще... А только вряд ли!

Владимир Владимирович молча ждал, когда Фома рассказ свой досказывать начнет, но Фома тоже молчал, с любопытством поводя глазами по комнате, будто во дворце сказочном, а не в трактире прязном оказался.

Прошло минут десять, пока Фома не признал, уставившись глазами на кошку, что игрушкой на стойке винной сидела:

— Экая шельма смиренная! От тигра ведь род свой ведет, а поди ж ты, сжилась с человеком, будто так и надо...

— Да ты что же не досказываешь про Толстого-то. Интересно, чай, брату нашему, простому смертному, послушать! — притворно рассердился адвокат.

— Да чего же досказывать, Владимир Владимирович? Разве я не говорил?.. Пришел хороший, обыкновенный, пешочком, в одежде простой, какая ему удобна... Умом да званием своим графским не кичится — сам разделся, к Антону Павловичу тихо прошел, — хоть и сиятельный, а понимает, что заведение больничное, покой людям нужен... И ушел таким же, экипажей не подвезжало... Слов мудреных не говорил... кто поймет их? Разговаривает обыкновенно, как люди. Ничего, говорит... приятно так, по-простонародному... Григорий с Евдокимом, шельмецы, маху дали, в картишки

заигрались. Ну, а потом поправились... почтение человеку великому, какое положено, оказали... Ребята славные!

Адвокат махнул рукой обрадованно и показал полтовому палец большой — штоф цельный нести к столу.

— Вот ты какой! — удивленно проговорил адвокат, когда выпили. — Жить будешь!.. Ты, брат, еще в рубашке родился счастливой, благодари Создателя. Такие, как ты, среди посвященных, — ангелы небесные. Ты разочарованию в людях упрямишься, средство спасительное ищешь от безверия и... нашел уже! Ишь, просветленный какой сидишь, словно в раю побывал! Вашей категории посвященных только балансик для равновесия требуется. Положил в себя камушек и зло-то — лырск! из тебя. Выскочило! Опять ходишь, как ни в чем не бывало, каждой морде собачьей улыбаешься, в подлеце самом последнем святость на лице прочитывать норовишь. Вам бы всем в священники итти — чего туда попов пускаете?.. А есть такие... водку специально для закваски скепсиса пьют — не рассосался как бы, не разжижел... Те страшные!..

— Егорыч! — внезапно переменял тему разговора адвокат. — Завтра купчишко тот придет... лабазник подольский. Бумаги его рассмотреть надо. Меня не будет — я этого сутягу неуёмного, мельника дроздовского — помнишь? — в местечко одно поведу... Ты бы взялся купчишку доканать — потрясти у него есть что!..

— Я это дело знаю. Не хочу.

— Что? Опять дел добрых искать будешь?

— Ну да.

— А это чем не доброе? Человек же ведь он, хоть и купец. Ближний твой, следовательно. Нужду до тебя имеет. Ну и помогай.

— По вашему рассуждению жить, Владимир Владимирович, так и разбойнику нужно нож подать: он нужду человека зарезать имеет...

Адвокат залился хохотом.

— Ну, черти с тобой! Поищем дел добрых. Только... найти-то их где

нонче? Всякий ведь ищет управу на неправду, а пороешься у него в карманах, нож приготовлен — правду беззащитную зарезать...

4.

После этого случая Фома не больше десяти недель оставался в Москве — городе калашном.

Дважды за это время у него появлялась потребность вином горьким, едучим рассосать неприятность душевную, растопить во влаге пожарный комочек нутряной, затвердевший.

А отчего она бралась неприятность эта, смутяника в черном, он и сам хорошенько не знал, хоть и думал над этим много — вил веревочку мыслительную... Отчего?..

Мало ли отчего взгрустнуться может на земле, где бескрайня ширь и бездонны горизонты.

Во второй раз, утром ясным, дорогу перепутал: надо бы в клинику, к ливрее золотоголунной, на пост дверной, у зеркал серебряных, а он туда же, где вечером у стойки с мужиком каширским стоял — в трактир: не рассосало еще... Очнулся в саду Нескучном, на берегу Москва-реки. Поглядел вверх — небо почему-то так близко, звезды рожками газовыми на маковках деревьев висят. Поёжился: зябко, прохлада ночная, сентябрьская, в теле ломотой отдается. Тишина кругом, поздно, должно быть, — нигде ни души, только деревья сгрудились, свет застыл — стёжку не видеть... Где же стёжка?... Эх!... оказия какая пренеприятная... Кто это сказал? Постой, кто же? А!.. Евдоким. Толстого провожая...

Вспомнил: на службе день не был, а может два? Оказия...

Спустился к воде — поглядеть: в каком месте Москвы находится. Недалеко. До Садового рукой подать. У воды сырость еще больше в тело вливается. Рыба на середине реки плеснула. Щука? Нет, окунь, должно быть, — волна не острая. Любопытно,

в какую сторону пошла? К берегу — загадаю... Где их носит, рыб этих? Говорят, ученые доказывают, что рыбы в час своей святой — икру метать — на старое место приходят. Занятно... Новый всплеск — у самого берега почитай, даже лицо обдало пылью водяной холодной! Бррр!.. На печке бы теперь согреться, попросить мать малинки заварить. С сынишкой на печи под тулуп забраться... С каким сынишкой?... Что это — боленя? Не тиф ли?... Все равно, забраться бы под тулуп отцовский... А что с отцом, интересно? Плох был, топор из рук валялся... Как это я раньше не подумал? Проведать бы пора своих, не виделся... сколько уж?... — четвертый год от Николы вешнего! Эх ты, беда!.. Поеду уж, пожалуй... Чего тут, право?... Поеду, да... Эге, заря занимается! Вот и стёжка потерянная нашлась. Поеду!

Почистившись на постоялом дворе — на квартиру не решился пойти — и попив чаю с ситником свежим, Фома направился в клинику яснее солнышка ясного. Григорий, обрадовавшись, встретил восклицанием, приветливым:

— Где тебя черти носят? Связался, что ль, с кралей какой?

— Домой еду, Гриша!

— Эх ты! Врет как важно! Чего это ты дома не видел? Коров, что ли, бурой масти? Сходи на Сенную — погляди...

— Отец занедужил сильно. Требуется беспрерывно приезда неотложного...

Солгал и тут же внутренне расспросил себя: «И чего это люди не могут друг дружке правду сказать?» — «Нельзя, значит. Правда, видно, она только под вуалью хороша бывает...»

— Фомушка домой уезжает? — подлетела сиделка Ксюша. — Доктор как узнает — в обморок упадет: они ведь вас любят вон как!

— А кто и побольше доктора тоску

нагонять начнет! — проворчал Григорий.

Ксюша вспыхнула. Фома уже почти сожалел, что объявил о решении отъездным скоропалительно. Хорошие всё люди. Добра сколько в них, неподдельности... Ну да уж ехать придется!

В трактир зашел попрощаться. Навстречу, от окна — поджидал, видно — мужичонко в пиджаке длинном, в шапке — куличе, бороденка землянистая, ключьями.

— Фомой Егорычем величаться будете?

— Да, это я. Если с делом — не могу. Уезжаю.

— Эх-ма, досада какая. А ведь я вас с полдня вчерашнего ловлю, заночевать пришлось в будке в Нескучном — знакомых нету в городе.

— Тут писцы другие бывают. Дождитесь вечера...

— Нет! — мужичонко махнул рукой обиженно. — Про вас все говорят больно хорошо — нужду крестьянскую, как свою, к сердцу берете...

Жалко стало мужичонку.

Подошел к стойке, за руку с трактирщиком поздоровался, осведомился, не наказывал ли чего Владимирович.

— Они вечером вчера были, поджидали вас допоздна, беспокоились. Просили, как появитесь, непременно дожидаться их в часы послеприсутственные...

— Пойдемте! — сказал мужичонку и повел в комнату темную. — Садитесь... Рассказывайте!

Мужичонко в карман слазил, тряпицу развязал, синенькую достал.

— После... Рассказывайте, что у вас там.

Мужичонко, высморкавшись, докладывал про злодейство Прова старого, что на осьмом порядке бахчи держит. Ходы колесные, подержанные — врать нечего, еще на Сретенье взял, вернуть обещал, как навоз вывезет, с двумя четвериками ржи — процентик чепуховый за износ ходов дубовых, а... не отдаст и сейчас, оглоблей шутанул, когда Бога ему напомнил.

— Злодей суший! Обманщик! — мрачно говорил мужичонко.

— А вы с Провом тем сделку договором каким-нибудь скрепляли? У старосты или со свидетелями, по крайности...

— Да какой же может быть договор между своими, Фома Егорыч? Ежели между своими на каждый чох марку гербовую наклеивать, — жить бы не нужно было.

— Кем же он вам доводится?

— Отец же!... Родной!

Уж много кляуз людских выслушивал Фома, а все же от этой... на свет захотелось выйти.

— Пойдемте-ка в залу общую, там теперь никого нет...

Уселись за столики, возле стены, у горшка с геранью.

— Да как же это вы с отцом родным и... — запнулся Фома.

— Ходы мои! — твердил мужичонко. — Хоть перед иконой ставьте — мои!... А что говорит он, будто я при отделе хомут не тот взял, он видел, какой хомут я брал — на руке держал его, когда на молитве прощальной стояли...

Фома в боку незаметно пощупал. Эх, нехорошо как комочек стынет... Ходы колесные... дорога... непременно поехать надо. Сегодня же! По лавочкам бы только успеть — гостинцев домой повезти... Поле чистое, дрожки дубовые, небо бездонное, журавли перелетные... хорошо сейчас в поле!

— Так как же, Фома Егорыч? Какое суждение иметь будете по делу нашему стыдному?

Ах, да!... Суждение надо иметь... У кого правда из них? Бог знает. Как это Владимир Владимирович говорил? Копни каждого — нож в кармане приготовлен — на правду беззащитную... Но должна же быть правда? Должна! Не может быть двух правд — какое может быть сомнение? Одна правда! Откуда только у меня мысль такая могла взяться про правды две? Конечно, одна! Ну и... у сына она, очевидно, а не у отца. Разумеется, у сына. О стыде вон заговорил... Ходы его, хомут

спорный, по крайности. Да и тут спора нет...

— Когда поделились?

— Когда же, дай Бог?.. О ту осень, видно. Ну да. Перед Введением в аккурат.

Не заявлял, следовательно, два года почти. А теперь выдумал — хомут его. Да, все равно, и за давностью его доводы без последствий должны быть оставлены... Экий сын несчастный — дал ему Бог отца такого... редкого.

Фома решительно за перо взялся.

— Ну, что ж... как вас по имени-отчеству?.. А, тезка будете! — Фома окончательно повеселел. — Напишем вам прощеньице, Фома Прович, правда на стороне вашей, без сомнения, и... закон, следовательно. Я-то уеду — другой последит за делом вашим, не оставит без внимания...

Фома дописывал прошение — до точки довести осталось, в двери, очки протирая, Владимир Владимирович вошел.

— О! За занятием дельным! — закричал он, подходя к столу. — А мне вчера говорят — не поверил! — будто тебя на мосту Крымском видели — шел, решетку задевал. С какой стати, думаю, решетки казенные ему ломать, сам, чай, на страже права стоит...

Фома довел строчку, на приятеля глаза поднял.

— Вот тут, Владимир Владимирович, дельце одно... неказистое. Попрошу довести его до окончания положительного, я обещаю...

— Чего это ты голосом панихидным заговорил? На Ваганьково собрался? У друга прежде совета надо спросить — какой гроб выбрать...

— Вот вам, Фома Прович, бумага, — отвлекся Фома, — несите в суд. А в случае чего — прямо сюда приходите... к очкастому этому.

— Где носило? — насмешливо спросил адвокат, когда вдвоем остались.

— Засиделся у земляка допоздна, давно не виделись, ночевать пришлось остаться.

— А на службе чего не был? На этот раз у Ксюши...

— Да что вы, право, Владимир Владимирович! — зардевшись перебил Фома. — Я домой еду — только и всего. Приуготовления надо было сделать...

— Домой? В Свинушки богохранимые? — адвокат вдруг разразился неистовым хохотом. — Ха-ха-ха! К мамке под юбку бежишь? На печку к тараканам? Бирюк столичный испугал?

— Отец плох, отписал, чтобы приехал беспрерывно. Может, перед смертью старик. Попрощаться надо... — держался ровно Фома.

— Рассказывай!.. Так ведь и знал... Ночевал где-нибудь на улице? Рыб в луже ловил? Не отпирайся!

— Чего бы я отпираться стал? По лавочкам до темна бегал — и всё тут...

— Одиночества устранился? — гремел Владимир Владимирович. — Пристань семейную найти занеужилось? Этакая... дева в белом, заступница, померещилась с глаз пьяных?

— Шутки у вас какие... нехорошие, Владимир Владимирович, — скик Фома.

— Ну-ну... Не будь нюней! И в самом деле, ведь я только... шучу. Раздосадовал ты меня, старика, не скрою этого. Порадовал, что называется! За сутки — радость вторая, не много ли? Вчера жена — мальчонку ждал — дочь принесла. Нонче — ты!

«У него и жена, оказывается, есть. Вот он какой!» — почти обрадованно подумал Фома и впервые пристально осмотрел своего коллегу. Лицо обрюзглое, бритое, вместо усов — локоть. Глаза... и не злые, и не добрые... настороженные какие-то, купеческие почти. На жидких волосенках, щеткой с помадой приглаженных, — полоска белая, пробор чересчур обозначенный. На мизинце — перстенёчек... легкомысленный — нелегкомысленный, а веселенький, с камушком голубеньким...

— А жениться надо, тут и шуток никаких быть не может, — все еще успокоительным тоном продолжал Владимир Владимирович. — Жениться таким, как ты, — дело необходимости первой. Вы ведь вон потребность имеете... выключаться из жизни корыстной, сны наяву видеть. А что человек, в миражах пребывающий? Беззащитнее спящего даже. Спящий хоть под запором находится, а этого... руками голыми бери на улице. Только... зачем тебе так далеко жениться ехать? В Москве невесты, что ли, перевелись?

— Нет, я решил... Поеду!

— Ну езжай, коли так. Дело такое... Давай тризну поминальную справим. Федя, волоки-ка, милый, графин большой!

— Увольте, Владимир Владимирович! Итти надо — спеху много перед отъездом...

— Эхх... ты! В каком настроении брильянтовым Свинухи свои лицезреть ожидаешь. Чем бы раздражить тебя? У-у, забулдыга ночной!

Фома улыбнулся, поднялся; к стойке пошел, попрощался с трактирщиком, Федю, полового, за волосы потрепал, к приятелю возвратился.

— Так что... благодарствую премного, Владимир Владимирович! Учение мне дали юридическое, отцом-наставником человеку чужому были...

— Ну, ну... Целовать все равно не буду — не проси. Пошел вон, сын... неблагодарный!

Владимир Владимирович нарочито небрежно за плечо Фомы взялся, довел до дверей, хлопнул легонько по спине:

— Марш!

Сам к полу нагнулся поискать — потерял что-то...

Уехал Фома на второй день, по утру золотому, погожему. Сидел на лавке вагонной, в окно глядел с любопытством, Каширу — первую станцию большую — поджидал. Калач жевал московский, о Москве думал, вспоминал... Доктор-то, в очках золотых, с бородкой ворсистой, и в самом деле чуть слезу не пустил, рас-

чет выдавая. Что я ему — родной, что ли? Просто, видно, господин мягкосердечный... Ксюша — затаённая, непонятная, а — все равно — за большими ухаживает, как мать за дитём любимым. Желчь, может, в ней есть, ну да не на сердце она ей падает — в щеки ударяет, наружу вон просится... Григорий с Евдокимом — лоботрясы, а что они кому плохого сделали? Дурачатся, так себе. От избытка крови... Толстой... Чехов... человеколюбцы великие, добра недосягаемого... Трактирщик лишнего не берет, торгует по-порядочному. Приют адвокатам тайным в заведении своем дает — входит в положение: кормиться всем нужно... Федя — прелесть просто, услужливый, обходительный... Владимир Владимирович людей по полочкам раскладывает, а... какой же он сам? Никогда ведь вот я об этом не подумал — сомнения, значит, не было... А все же интересно: на какую полочку его определить можно?..

Михайлов — мелькнула надпись на стене маленького красного здания.

— Эх, Каширу проспал! Скопин скоро!

5.

О ту же зиму, с первым снегом которой Фома из Москвы домой препожаловал, стала мать допекать его всё несноснее:

— И чего это ты, Фома, всё дома да дома, вышивку морозную на стеклах оконных рассматриваешь. Съездил бы проветриться, хоть куда ни на есть, хоть в поле чистое — там узоров этих не счесть.

— Куда же, матушка?

Мать руками всплеснула:

— Вот ведь... и поехать некуда ему! Что же, родни нам занимать, что ли? Да первое дело — поезжай к волковским, как наказывали, чтобы приехал беспрерывно, коли из Москвы возвращение будет. У соседей их, Боярышниковых, девки на выданы... подурачишься, хандрищу свою разгонишь...

— Да я и не хандрю вовсе, матуш-

ка. В созерцании душевном пребываю. Что мне с девками теми?..

Мать горестно губы поджала.

— Ну к Чубаровым поезжай в Молву. Они совета твоего просить хотели — в какие Александра, внука, определять. Заодно на святки позовешь — давно у нас не были.

— К Чубаровым... пожалуй. Можно поехать.

В Николин день, утром синим, Фома заложил кобылу гнедую в сани разлетные, вязанку сена бросил под сиденье, белым веретем застелил; оделся по-городскому — в пальто тяжелое, с воротником барашковым, серебристым, в шляпу коричневую, побывавшую уже на языках всей округи, — поехал...

Не доезжая версты до Молвы, видит — лошадь, в санки запряженная, навстречу бежит: черная — крыло воронье, ловкая, сильная, ногами перебирает чаще челнока ткацкого, из глаз искры мечет, серебро снежное презрительно раскидывает — пыль белая позади клубится.

Санки с санями на перекрестке дороги поравнялись. В санках, с мужиком бородастым рядом, — женщина молодая, голова в шаль мягкую укутана, громадный воротник тулупа богатого на плечах. Лицо немного видно — бледное, печальное. Глаза вскинула — синие, тоскующие, глянула в глаза серые. Одно мгновение глаза виделись — конь горячий, вожжами завернутый, вправо ногами-челноками перебрал, побежал — серебро презренное копытом бьет.

— Минуточку! — прокричал Фома.

Санки полукругом развернулись. Искрометная лошадь вкопанной стала. Женщина под локоть кучера толкнула: нишкни, сама разговаривать буду.

Фома на саях подкатил, стал во весь свой великаний рост, шляпу правой тронул.

— Простите... не имею чести знать. Та ли дорога до села названия странного Молва?

Женщина голову назад до отказа почти повернула — сережка ушная под шалью блеснула.

— Вот это село.

Фома бровь одну поднял — чего бы еще спросить?

— Не изволите ли вы жителей знать? Крестьян то-есть...

— А вам кого?

— Чубаровы... родственниками доводятся.

Женщина усмехнулась — кончиками ресниц только.

— Кажется, есть... Да там ведь вам каждый покажет!

— Простите!

Разъехались.

На перекрестке дороги разошлись — глаза серые с глазами синими встретились...

В избе чубаровской, созревая за щами полыхающими, Фома разговор с теткой Дарьей вел.

— Ну что, Фома, в Москву вернуться будешь?

— Не поеду.

— Крендели сладкие горькими показались?

— В Скопине, может, дело подыщется.

— А ты по какой же части науку московскую прошел?

— По юридической.

— Ах ты грех! Сашка наш тоже на этом полозу поехал — учиться отвезли. Поревенным, говорит... аль как?

— Поверенным.

— Да. Поведренным, говорит, хочу быть. Жисть мужицкую защищать...

— Это волковская закваска в них, — отозвался с печи Герасим.

— Чего это тебе волковские почудились? — насмешливо спросила тетка.

— Ты вон и сама всем бабам судья-адвокат... Фома — племянник... А теперь — и Сашка внук. Целая палата судебная...

— Ну и чего тут? Какую закваску нашел? Волковские-то испокон веков одно дело знают: землю ковырять.

— А чего ты знаешь про волковских? — отвечивал Герасим. — Деда да бабу издали видела. А ответь мне: кем волковские сто лет назад были? А еще лучше — тыщу?

Может, приказными у царя Грозного а еще раньше — судьями у Владимира Красного Солнышка... Нельзя смотреть на то, что теперь крестьяне, а были, может, бояре. На наших глазах перемены происходят, чего уж далеко ходить: был Федор Соловкин — вице-губернатор, проштрафился, слетел, а сын его — сосед наш, Никифор Федорович — глиной гончарной торгует. Звание только одно дворянское осталось. А внуки его, кабы были, очень просто с сословием низшим сравниться могли. Рассмеялись бы, пожалуй, как при них догадку высказать, что прадед их, может, вице-губернатором был...

Фома сидел на лавке, облокотясь на подоконник, в смутном чувстве глядел на обильно вспотевшее стекло и заснеженную улицу за ним; к рассуждениям старого Герасима прислушивался, однако, — любопытными находил.

— Род — цепь тысячепудовая, — продолжал Герасим. — За конец держишься, а вытянуть не можешь. Поди-ка, разгадай, какое звено семидесятое было: разбойник или монах? А может турок окрестившийся?... Чего же там мы про времена те знать можем, когда, говорят, люди обезьянами были? Может, волковские-то у них за главного прокурора состояли! — неожиданно закончил Герасим и рассмеялся смехом беззубым.

— Ух, охальник старьёй, прости Господи! — кинула в него полотенцем жена.

— Гости к кому-то подъехали! — дрогнувшим голосом доложил Фома, не отрывавшийся от окна, и в ту же минуту задрожал дрожмя: внезапно появившиеся в улице санки остановились у избы, что почти напротив чубаровского дома стояла, и в слезавшей с санок Фома узнал женщину с перекрестка!

Тетка в окно выглянула.

— Батюшки-светы! Маша вернулась!... Эх, как нехорошо! Примета дурная.

Женщина тулуп сбросила на санки и в саке плюшевом синем, мехом оттороченом, к избе пошла. На

крыльце обернувшись, на небо высоко взглянула, а увидела землю... сани раскатистые у дома чубаровского... глаза серые в окне... улыбнулась небу.

Вышедшая из избы пожилая женщина с дряблым лицом вещички из санок выбирала, слушая, как кучер бубнил бородатый:

— Отъехали, почитай, половину, Победенка видна, а она заупрямилась да и только: позёмка, говорит, будет, метель, заблудимся — вертай обратно. Маша, отвечаю ей, не успеет твоя позёмка голос распустить, как мы уже дома. Что твоя метель — конь-то наш быстрее ветру. Нету! — отвечает с сердцем, — позёмка быстрее, — и за вожжу тянет... Пришлось вернуться.

Фома в улыбке внутренней расплылся, словно рукой до солнца достал.

— Кто будет такая? — силясь показать равнодушие, спросил у тетки.

— Маша? Соловкиных родня. Что у санок возилась, — тетка ее родная, Пелагея Абрамовна, за Никифором Соловкиным замужем... Ах, бедная пташка, покою себе не найдет — мучится как!..

— Вы про кого это так?

— Про Машу.

— Что же у них... особенное что-нибудь случилось?

— То-то и оно. Полгода замужем не жила — мужа похоронила. К отцу вернулась, в Казначеевку село, — не думала-не гадала.

— Кто же муж её был? — почти восторженно спрашивает Фома.

— Учитель был. Арсений... Герасим! Как его по батюшке было?

— Викторыч! — отвечает закоулок печной. — Из Высоцких. Светлая голова была.

У Фомы комочек начал свертываться.

— Молодой?

— Да тебе то что? — Тетка Дарья недаром была судьей-адвокатом у баб молвинских, — заметила давным-давно перемену в племяннике. — Тебе что до чужих дел семейных?... Скажи-ка лучше сам: когда дура-

читься перестанешь — жениться будешь, гнездом обзаводиться начнешь? Иль вы там стоворились все: род Землевых перевесть?

— Жениться — не пропасть, кабы на Дарью не напасть! — подает голос занавеска печная.

За занавеску веник дубовый, колкий, остриями пущенный, полетел на этот раз.

Фома загостился у Чубаровых, вместо двух дней, как намеревался, — неделю. Дома уже собирались на утро Василия, брата, на розыски послать, ан в вечер студень, ветреный кобыла гнедая под окнами зафыркала — вернулся!

Вошел бездумный, ясный, добрее добра доброго, сестренку любимую, Дашутку, за щечки потрепал. От ужина отказался.

— Не хочу. Посижу вместе с вами.

Мать настороженно смотрит — что за причина для глаз бездумных?

Фома ладонь на ладонь положил, нижней верхнюю потер.

— Ну, матушка... и вы, батюшка! — Фома к печи повернулся, где больной отец лежал. Голос торжественно прозвучал: — Дождались, выходит!

Все поняли, а матушка допреж всех. Заулыбались все, кроме матушки.

— Из каких? — спросила голосом недоверчивым. Ложку положила.

— Дворяне, на землю перешедшие. Состоятельные, однако, — Фома на матушку только поглядел. — Севастьяновы по фамилии. Казначеевка село, неподалече от нас. Шишкина недоезжая. Шишкино село ярмарочное — знаете ли, батюшка?

— Бывал, — хрипло отвечает отец с печи. — Я и Севастьянова этого, должно, знаю. Семен аль Василий?

— Семен.

— Мужик правильный. С гордцей, верно... Ну да, значит, цену себе знает!

Татьяна Васильевна размышление еще не кончила, а губы уж вовнутрь потянула.

— Вдова молодая. Мужа, учителя, схоронила в прошедшую зиму, — с

видом беззаботным кидается в омут Фома. — На сватанье, думаю, о Рождестве поедем. На мясоеде — свадьба.

Молчание. Нестерпимое почти.

— Как хочешь, — почернела черная Татьяна Васильевна. Губ уже совсем не видно — одна полоска, мелом прочерченная. — Заезжай в Бахаровку, возьми Домну, коли желаешь сопровождения родственного. Я не поеду.

За занавеску печную ушла, вздохнула оттуда — умом, не сердцем.

— Что же что вдова? Молодая же ведь, хорошая, право! — оправдывается Фома перед сестренкой Дашуткой, нисколько ему на то не возражающей.

Комочка в боку опять присутствие заметно. Веретено в голове зажужжало, нитка пошла... Правды две или одна? Добра желаешь — зло получается. Может ли быть от добра зло?..

Подошел к печи, локти на задаргу положил.

— Батюшка, как вам здоровится?

— Надо бы, Фома, про определение дальнейшее поговорить! — не отвечает на вопрос отец. — Тебе кирпичную, как старшему... Землю на троих поровну...

Фома силится понять, о чем отец рассказывает... Ага, завещание!.. Избу кирпичную отказывает.

— Да мне, батюшка, без надоб...

За язык зубами себя поймал. Ох, как же это я сказать хотел такое... непостижимое! Не нужна-то не нужна, а можно ли с отцом так разговаривать, на смертном одре пребывающем? Всю жизнь тем и жил ведь только, чтобы слова эти перед смертью произнести мог, удостоверение себе выдать, что жил действительно — смерть предвидел, о детях думал — ответ перед престолом Всевышнего готов давать... Разве же можно сказать ему, что все его старания жизненные... миражные суть были? Прозы хуже убьют такие слова! Правда — она... под вуалью только хороша. Кто это сказал?

— Без надобности мне, батюшка, по первости изба большая. Деревян-

ной довольно. Откажите кирпичную младшему — Мите. Он у нас... судьбой обиженный. Улогий...

«Улогий, — думает Егор, — потомства правильного не жди. Средний Василий обязанностей перед родом не чувствует — в себе всего ушел, женится ли? — сомнительно. Фома должен род повести, недаром первенец — не может род кончиться...»

— Женишься вот теперь, слава Богу, утешил отца в час кончинный, — продолжает вслух свою мысль Егор. — Ни о чем не думай — подумай о тех, кто после тебя останется — жить-то ведь и ты не будешь вечно, ко мне препожалуешь. Дай Бог не скоро — один поскучаю...

— Непременно, батюшка, — безотчетно произносит Фома, руку в руке отца холодной держит. — Непременно!

А сам думает: утешил отца — хорошо на сердце. Ну да ведь его и утешить не трудно было. человек одну правду знал. А что меня утешит, две правды узнавшего?... Должно что-нибудь утешить непременно, нельзя без этого жить, и умирать нельзя... Две правды знать, а одной служить. Верно!... Которой же служить? Ну это ясно: той, которая... праведная суть.

Егор Филиппович умер в водосвятие. Свадьба, по этой причине, сыгранная была только на красную горку.

Молодые побыли дома не больше недели — поехали родне показываться.

На Троицын день, в очередь, к полотебновским пожаловали — родне молодухи.

В Полотебнове, дома, на лоне природы, наслаждаться озоном целебным изволил звезда петербургская — профессор Алексей Герасимович Полотебнов, из Парижа шумного в ту весну возвратившийся.

Муж Машеньки обличем открытым, обходительностью ласковой, рассудительностью понравился профессору — написал профессор письмецо рекомендательное председателю окружного суда — товарищу по поре

семинарской, дальней, — просил не оставить без внимания подателя, к юриспруденции тяготение имеющего...

В скорости чета молодая в Рязань укатила.

*

Взрослым юношей я несколько раз наезжал в Молву.

Молва мне была чужой хоть, а все же... родился я в ней, любопытно было избу поглядеть, где я первый крик негодования, не то испуга издал.

Я родился летом жарким в год революционный тысяча девятьсот пятый. Мужики с дрекольем на помещиков шли. Знаем июньским меня ополыхнуло — потому, может, лет через тридцать я холода на себя нагонять начал. Беготня мужиков с дрекольем, с видом опасливым, бунтаря во мне... нерешительного поселила.

Так вот, когда я посещал Молву, Пелагея Абрамовна, старая-престарая уже, говаривала мне:

— Тебя ведь — и Константина, Лидию, всех вас, детей машинных, — не мать родила, а теленок пестрый на свет произвел... Когда Маша от нас домой собралась, в Казначеевку свою, работник Аким никак вожжей не мог найти тесемочных — запропалились вожжи. Лошадь давно запряжена, копытом снег бьет, Маша одетой стоит, а вожжей... нету! Были под навесом дворовым, с хомутом вместе лежали, а — обыскали весь двор... нету! Провалились! Глядь-поглядь... батюшки! На дворе-то еще и теленка недостает! Что за навождение? Увидели: калитка задняя открыта, забыли закрыть, видно, когда за кормом ходили, — калитка открыта на огороды. Выбежали — стоит теленок у омета соломенного, вожжи синие тесемочные жует — уволок окаянный! Ах, штоб ты! И смех, и грех... Выехали с опозданием на полчаса, а то и больше. Будто с опозданием, а получилось в аккурат: на перекрестке с Фомой Егоровичем повстречались... А не будь этой проказы телячьей, Маша на полчаса бы раньше перекресток тот переехала и — поми-

най, как звали! Увидел бы, может быть, Фома Егорович только санки, в даль улетающие. Ну да ведь не погнался бы он за ними — мало ли санок по свету ездит?.. Вот тебе теперь подумать, чай, занятно: какую теленок роль в твоей жизни сыграл?

«А ведь и в самом деле занятно, — думалось мне тогда. — Не будь этого теленка, Марья Семеновна наверное бы вышла замуж не за отца моего, а за другого, предположим, за какого-нибудь Аркадия Николаевича Захарова. Может быть, даже за Фому Егоровича, но не Землева, а если и Землева, то не мернского. Точно так же и отец женился бы не на Марье Семеновне Севастьяновой, а на Марье другой. Может быть, на Катерине Боярышниковой. Может, на Пелатее Зеленовой. На всем свете женском, только не на Марье Семеновне из Казначеевки.

Что же тогда было бы? Вместо меня одного были бы... двое. У Аркадия Николаевича Захарова родился бы сын и этим сыном был бы половину я — в нем было бы то, что у меня от матери, Марьи Семеновны. У Фомы Егоровича Землева тоже произошел бы сын, но не от Марьи Севастьяновой, а от Катерины Боярышниковой. В нем была бы моя половина, та, что у меня от отца, но не было бы второй моей половины — той, что у меня от моей матери.

Это были бы другие люди, а меня... не было бы. Людям-то, конечно, от этого все равно, да мне не все равно».

И я готов был свечку пудовую поставить за того теленка пегого, что вожди синие у работника Акимина мое сотворение и существование земное слямзил!

6.

Читатель имеет теперь маленькое представление, что за отец у меня был?

Таким он, собственно, и остался до вздоха последнего. И умер таким.

Бас, может быть, удивит, когда узнаете, что Фома Егорович перед за-

катом ранним жизни своей праведной... с революционерами пошел. Если не по билету партийному, то — по согласию с идеей. Сына своего, Александра, на ту же стезю наставлял: самолично в подготовительный класс компартии — в РКСМ записал.

Скажете, возможно: что это за метаморфоза жизненная, противоречивая? Как понимать это прикажете?

Никак не прикажу — права не имею. А... разобраться в этом, может, когда-нибудь придется. Вместе будем разбираться, коли охота у вас окажется. Правд-то сколько? Две, по меньшей мере. А служить которой? То-то и оно... Ну да разберемся после.

В планах повествования моего я, к огорчению своему великому, не могу больше в подробностях жизнеописание отца дорогого продолжать. Но мы с ним еще повстречаемся, когда мою жизнь молодую под микроскопом начнем рассматривать... на революционера Фому Егоровича полюбуемся... над постелью больного постоим горестно... и — что же делать? Все мы тленны! — похороним на кладбище сельском, рядом с отцами, среди костей воинов древних, название селу давших. И то ведь счастье немалое — в земле родной закопанным быть. Сколько людей по миру мечтает об этом именно.

Однако, ради того, чтобы сохранить преемственность повествования некую, перед событием немаловажным в жизни семейства Землевых, следовавшим в году тысяча девятьсот двенадцатом, — считаю я себя обязанным в самом общем виде хотя бы изобразить одну только суть жизненного пути Фомы Егоровича — от брака памятного до... события.

Пятнадцать лет эти Фома Егорович провел в службе неутомимой, в разъездах беспокойных. Прослужив писцом в окружном суде некоторое время, в Скопин — на родину — вернулся, определение линии служебной нашел — конторщик нотариальный и — в случаях частых — нотариуса должность замещающий. В такой спецификации должностной и остал-

ся до революции... нет, до смерти самой!

Выезжал служить на много месяцев, на годы даже — в Киев, Новороссийск, снова в Рязань... в Москву только ни ногой. Но куда бы ни выезжал, а возвращался неизменно в Скопин — никогда не мог преодолеть притяжения земли дедовской. Вся губерния сермяжная представлялась ему одним большим домом, с закоулками знакомыми.

Одно время задумывал даже открыть контору собственную в Скопине или Рязане, да обжегся и рукой махнул: потребовали представления диплома университетского об окончании науки юридической. А какой бы лучший дал его Фоме Егоровичу? Не токмо диплома университетского, золотом отпечатанного, а росписи дьячка на коре березовой, что, мол, учен был читать-писать по яйцу куриному за букву каждую, представить не мог бы — дьячок тот давно ушел в мир лучший.

Дело нотариальное известное — свидетельствовать бесстрастно бумагой гербовой и печатью жизни акты драматические, фарсы комедийные; продажу чести, куплю бесчестья, лицемерие завещаний поколений уходящих поколениям живущим, сделки крови и злата, подлинность чувств подложных, векселей подмётанных, расписок игроков жизни отчаянных, вопля последнего проитравшихся — с жизнью посчитавшихся...

Вечерами Фома Егорович, знавший правды две, утомленный службой нотариальной, представлениями театральными, шел на свиданье с правдой второй, которая праведная суть. В трактир, то-есть. К клиентуре своей лалотной. Клиентура приезжала и за сто верст, чтобы у «своего аблоката» просить совета и помощи против обидчиков, властью облеченных или просто клыками здоровыми наделенных.

Надо по правильности сказать: в первые два десятилетия века нынешнего Фома Егорович был самым популярным по всей губернии сермяжной, тайным от властей, ходатаем по

делам мужицким, заступником правды крестьянской. Новые власти по справедливости памятник должны были бы ему поставить на могиле его безвестной...

При отсутствии комочка в боку, Фома Егорович не пил совершенно, на дух не брал запаха винного. Но... мало ли от чего собраться мало-помалу может пыль в сердце человека на планете нашей неустроенной? Накопится, слепится, затвердеет в комочек невыносимый... Удалить нужно тот комочек, чтобы очарования в людях не потерять. Хорошая все-таки тварь эта — люди! А как удалишь? Не изобрели еще на земле — изобретут ли? — микроскоп такой, чтобы можно было увидеть в него комочек тот невещественный. Какое светило хирургическое возьмется вскрыть ножом дерзким... душу человеческую?.. Не удалишь! Растопить только можно, рассосать вином купоросным жарким, влагой спиртовой, синой...

Фома Егорович пил запоями. Не пьет месяц, два... глядишь — домой не пришел, один сумрак страшный в комнаты прислал. Неделю пьет. И — опять словно яблоко румяное, огурчик с грядки сорванный. До нового запоя.

В запойном состоянии Фома Егорович по несколько дней пропадал со службы и из дома, окитался — никто не знает — по каким трущобам, пропивал в обществе, по большей части случайных, собутыльников, а чаще — просто раздаривал с себя все, до нижней рубашки и с окончанием запоя возвращался домой в костюме Адама, грязный, но с лицом светлым и под сажей угольной — к обличию его светлому никакая грязь не приставала.

Однажды в Скопине, недалеко от своего дома, поздним вечером выключившийся из жизни, сиречь пьяный, Фома Егорович свалился на мокрую землю, пытался подняться, не смог, заснул сном сырым, тяжелым.

На утро школьные ребяташки увидели Фому Егоровича, растолкали,

помогли подняться. Фома Егорович обшаривал свои карманы, раздавал детям монету звонкую, билеты казначейские, хрустящие. Одному мальчонке не досталось: не хватило билетов казначейских. Фома Егорович часы с цепью золотой с жилета снял:

— На, помощник мой драгоценный, душа святая, ангельская.

Встав на землю, боль в ногах почувствовал, острую, режущую — ревматизм на всю жизнь схватил, палку в руки нажил, прихрамывать стал...

Марья Семеновна была женщина умная и гордая, но необразованная, дворянка по рождению, но крестьянка по воспитанию, с неизгладимыми отпечатками кондового, устоявшегося быта богатых землепашцев.

Марья Семеновна не чувствовала себя своей в городской среде; с годами все больше замыкалась от мира внешнего, она, наконец, всецело ушла в возню с детьми, появлявшимися на свет регулярно каждое трехлетие.

Если бы не несчастное запойство мужа, Марья Семеновна, вероятно, вполне хорошо чувствовала бы себя в своей скорлупе.

Муж доставлял ей страданий много.

Повязав низко платок крестьянский, чтобы знакомые не узнали, — Марья Семеновна ходила искать запившего Фому Егоровича.

Иногда ей удавалось, по расспросам тягостным, находить пропавшего супруга в кабаке каком-нибудь чадном. Вела его, несопротивляющегося, безропотного домой, выбирая улицы потемнее, пряча в темноте от людей на лице мужа — слезу умиления пьяную, на своем лице — страдания слезу. Фома Егорович только бормотал легонечко, с добром всё, — никто никогда не слышал от него — ни от трезвого, ни от пьяного — слова ругательного, крика озлобленного, вопля негодующего.

Дома прислугу соседскую в казенку за вином посылала, — если не умом соглашалась, то всем существом своим понимала и принимала, что он... не может без этого. До тех пор не может, пока... сможет, наконец,

в рамку войдет, в берега. А будет это обязательно.

Войдя в рамку с тем, чтобы через известное время снова выплеснуться из нее, Фома Егорович возвращался к службе — его ценили и от места не отказывали — и быстро поправлял свои дела: благодарная клиентура Фомы Егоровича всегда находила возможность возблагодарить своего заступника. Глядишь, Фома Егорович уж вновь щеголяет в тройке великолепной, красивой шляпе фетра дорожного, трость дерева пальмы в руках держит.

Тем не менее, примерная семьянинка и любящая жена, Марья Семеновна жестоко страдала от стыда перед людьми за мужа своего, запойного, от беспокойства за его жизнь и здоровье и, случалось, в отчаянии колачивала скалкой его, пьяного, обливаясь слезами горючими. Нестерпимой же пыткой было ожидание... ведь это же опять к нему придет, неминуемо, как ночи приход! Ах, зачем людям чувствовать злое и доброе дано! Понимать бы только и — довольно... По признакам ничтожным — по тому, как в зеркало посмотрел на себя, утешного, как шляпу держит, из дому выходя, — гадала, трепещущая: придет или не придет сегодня из службы нотариальной?

Как знать, может в терзании одиноком в комнатах сумрачных, в ожидании тоскливом мужа Марья Семеновна хоть раз, а пожалела о том, что в зиму памятную, далекую, с опозданием нашлись вожжи синие... Но сказать этого... она даже перед иконой не сказала бы. Была она — женщина гордая...

С некоторой поры Фома Егорович в село родное зачастил ездить. Всё больше под те моменты, когда, по ужасному предчувствию Марьи Семеновны, это должно было у него вновь объявиться.

Один ездил — без жены. Иногда Костю — старшего — с собой брал. За Костю у Фомы Егоровича беспокойство неясное явилось — темная

какая-то психология в сыне боролась со светлой.

Приедет Фома Егорович в Кость Мерную, в поле пойдет, на луга, на реку. Сына за руку ведет, восхищенные перед красотами земли высказывает громко, на сына смотрит с боку испытующе...

Из просторов полевых на село возвращается светлее ландыша утешенного, а в избу материнскую войдет — очарование на лице заметно убудет — не хватает чего-то для полноты отдыха душевного. Однако, в казёнку уже не пойдет — момент миновал.

Много раз богачи мернские приставали к Фоме Егоровичу:

— Продай, мил-человек, души свои земельные, надельные. На кой они тебе лад при жизни твоей городской, скусной?

Нет! Не захотел Фома Егорович порубить веревки, с землей, с крестьянством, с родиной дедовской связывающие. Мог пропить всё, мог раздавить с себя всё, для тела необходимое, а землю ненужную... нет! Как же без земли — привязанности душевной? Словно талисман — колечко она, земля отцовская!

С землей по земле и ногой ревматической ступаешь твердо — хозяин — не квартирант — на планете!

С землей огорчения земные, невзгоды и бури жизненные не страшны. Коли неведомому станет на камнях города раскаленных, — на землю мяткую, в мураву шелковую ступай, припади к источнику знакомому, влагой целительной раны омой житейские, душу ободри!

С землей и за тридевять земель не одинок, а коли голоден — воспоминаниями сыт: есть, есть где-то приют священный, обитель ласковая, родник живительный!

Земля родила тебя — как же ты, сын корыстный, мать-то родную продашь?

На земле святость живет, дети взрослые, доброта Христова, правда праведная — крестьянство русское. Крестьянство душу твою пестовало, люльку качало, колыбельной песней баюкало — как же ты, неблагодар-

ный, первородству изменить можешь?

Земля родная смиреньем на одре смертном тебя вознаградит — как же ты право свое на погребенье в земле, рядом с отцами, проторгуешь, нечестивец?

Землю продать — себя проклясть.

Землю продать — у детей выбор отнять.

Землю продать — талисман заветный потерять.

— Нет! Не продам землю, мил-человек. И не проси! Самому по-зарез нужна.

Возвратясь в город, Фома Егорович детям и жене прелести деревенской жизни расхваливал с улыбкой на лице... виноватой.

На буграх

Поздним утром одного погожего осеннего дня тысяча девятьсот двенадцатого года по дороге из Скопина на восток, через Казенный лес — древнее жилище волшебной птицы скопы, двигались две подводы, доверху груженные домашним скарбом.

На первой телеге, поверх узлов и корзинок, восседала еще молодая женщина-мать, в черной косынке, с лицом тонким, чересчур даже с боков сплюснутым, с глазами подстать небу летнему, вечернему — с грустечкой небольшой. Женщина держала на руках сверток голубой, атласный — в свертке что-то звук живой издавало, училось ахать и охать с причитаниями — сразу видать, что девчонка.

Вместе с матерью ехали еще две девочки — одна лет десяти, без платка, с косичками на круглой голове, курносенькая, синеглазая — в мать, с веснушками неяркими; Лидкой-бякой сестренка её называла — та, что сидела рядом, — крошечная еще совсем, однако — безошибочно сказать можно было — бегавшая уже годика два по земле ножками нетвердыми. Лицо продолговатое, как у матери, глазенки серые, зеленоватые даже — не материнские, острые; словно у зверька, из норки выбежавшего, — любопытные. На головке — шляпка соломенная, с ленточкой шелковой — крошка

уже с претензией одеваться норовила.

— А ты Надька-кулёня! — смеясь, отзывалась старшая.

Второй подводой управлял мальчик черноголовый — школьник, заканчивающий начальное, — в рубашке с воротом отложным, расшитым, в сапожках — сапожки, озорно выставленные, торчали у самого крупного лошадиного.

— Костюха, не балуй! — покрикивал на него время от времени возница.

Рядом с братом черноголовым, одной рукой за вожжи держась, сидел — прямая противоположность брату — мальчик вдвое почти моложе, усыпанный дарами солнца летнего, веснушками меднокрасными. Мальчик принимал пыль из-под колес на белую рубашку с косым воротом, синим пояском витым с бахромами подпоясанную. Стриженная голова его бронзой отливала, глаза синие в нетерпении дорогу проглатывали.

— Папа, скоро? — ерзая на возу, произносил он в который уже раз.

— Скоро, Саша, скоро. Сейчас вот выедем на бугор, а потом будем через речку переезжать, мельницу водяную послушаешь, водопад поглядишь.

Отец мальчиков шел пешком рядом с лошастью, прихрамывая, на палку гнутую опираясь.

Это был высокий господин, почти с дугой вровень. Светлосерая тройка, отглаженная, без пятнышка единого, сидела на нем просторно, но ладно, не висела словом — что редко удается высоким. Под пиджаком расстегнутым цепочка часовая, золотая чай, змеевидная, поблескивала; из кармана бокового футляр черный торчал — очки сберегал.

Шляпа на господине от жары на затылок съехала и открывала лицо молодое под лбом выпуклым, не дряблкое, не одутловатое нисколечко, светлое, лучезарное почти, чуть-чуть, может, протертое цветком ромашковым; глаза с костюмом сливались — только какие в костюме качества? Материя покрашенная!... а глаза серые господина высокого лаской уверенной светились, добром человеческим...

Под носом — усы темнокрасные, густые, широкие, пологие, без завитушек кверху, без ниспаданий книзу.

Если бы не усы эти, не хромота и не лысина спереди, двумя полосами неглубокими волосы шелковистые опахавшая, то читатель при взгляде на господина, по обочине дороге шествующего, мог бы подумать, что это — Фома Егорович, знакомец наш старый.

И не ошибся бы. Да, это был он, Фома Егорович, крученый жизнью да нескрученный, с супругой своей, Марьей Семеновной, и с выводком пестрым, грачино-канареечным.

Но куда, зачем и почему направляется эта процессия странная, этот табор цыганский, кочующий?

Куда? Сказать не трудно — в Кость Мерную, на родину отцовскую.

Зачем? И того легче ответить — жить.

А почему — этого никто, кроме Фомы Егоровича и Марьи Семеновны, не знает и не узнает никогда. От Марьи Семеновны — по гордости ее затаённой, от Фомы Егоровича — по характеру его благородному, выше молвы всякой житейской стоящему.

Другим знать положено было лишь про сговор супружеский, полюбовный: мать с детьми — в деревне, отец — на службе городской...

... Лес кончился, и лошадки, понатужившись, потянули телеги в гору. Вот и вершина, от которой расходятся волны золотого жнивья и черного пара, похожая на спину гигантского окуня. Какой вид!

Отец рукой сделал знак вознице остановиться, снял шляпу — в церковь вошел.

— Дети, — сказал он задохнувшись и повел рукой по горизонту, — дети, вот ваш голубой дом!

Справа, под горой, простиралась сиреневая долина, разрезанная надвое зеленым кушаком большака. Вдали, как солдаты в острокопечных шапках, стояли неведомые таинственные вышки.

— Победенка, рудники! Наша отечественная промысловость! — весело

рича, Мишка Четвертной... Мишка произошел на свет потому, что общество однодворческое просило за него у... сатаны, а просило потому, что сотский Митрич, когда его Павловна, родившаяся в кругу четырех девок, забрюхатила Мишкой, побожился перед сходом выставить на всеобщее растопление четверть водки, если общество улежит домового отвязаться от Павловны и на свет произойдет наконец и переживет купель — долгожданный наследник.

Все вышло точно так, как хотелось сотскому и обществу.

Отсюда и мишкино прозвище — Четвертной и производные от него: Читеня и Чаной. С длинной и тонкой головой, торчавшей поверх сутулых, покатых плеч, Мишка и в самом деле напоминал собой поставленную на двуножник бутылку. Горлышко смолой было припечатано — густо свалившись в тонкий войлок волосы Мишки не росли, казалось, от самого рождения и выглядели посторонними, словно натянутый на голову чулок.

Семья сотского была самой близкой нашей семье. Это были те крестьяне России, которые любили интеллигенцию, жалеючи ее...

...Изба маленькая: шесть на шесть. Та самая, в которой прадед Филипп глухонемой жил. Вход — через сенцы крошечные. Из сеней одна дверь на улицу, другая — во двор. Со щеколдами звонкими, с задвижками деревянными — запором от ночных разбойников.

Внутренность избы: смесь французского с нижегородским. В правом углу — огромная русская печка с лежаньем — четверть избыточной площади занимает. Лежанье занавесочкой стильной задернуто. Задник ковром турецким покрыт: концами его агнята лакомились.

На ковре, в одеяльце атласном — до люльки еще не опустились — братик Серка, Серенька, родившийся в прошлом году, в день объявления войны, день и ночь ласкал. Черноволосенький, с родинкой-головкой булавочной на правой щеке, худенький

— никто не думал, что проживет столько.

Над задником, на уровне печного лежанья, — полати, место ночлега ребячьего. Лежать на полатах — одна прелесть. Будто избушка в избе. У потолка самого — теплынь, благодать. Свесить голову можно — поплевать скорлупой семечек на Валика воззрившегося. Тут же с тобой букварь, чернильница, тетрадки, краюха хлеба. В ночь зимнюю, на полатах, под одеялом стеганным, семейным, смешно даже от вьюги, за стеной беснующейся, покажется: разве ей добаться сюда.

Стены — кругляш голый, проконопаченный. В простенке — карточка в лакированной рамке: семейство Землевых в Рязани, лет двенадцать назад. Меня еще на свете нет. Посредине — мать, гладкопричесанная, с серьгами в ушах, в кофточке темной, клетчатой. На коленях Лидушку держит раскрывшуюся, — Лидушка теперь — школьница. Справа — сын старший, первенец любимый, Сашенька, увы, покойный, мальчик лет пяти-шести; волос светлый, длинно остриженный, стоячий; лоб широкий и высокий, лица не обкрадывает, однако; выражение кроткое и горделивое в то же время — гордость не перед людьми, перед суетой людской. Слева — сын второй, Костя, мальчик взрослее трех своих лет; голову скобочил, на коленях мяч большой держит, недоумевая, зачем мячу на коленях быть, а не на земле или в воздухе. Позади, во весь свой рост великаний — отец. Скрещенные руки на подставку высокую сложены. Подставка материей с колокольцами нитяными затянута, почему загадкой кажется: отчего отец юбку с бахромами надел?

Пониже, в рамке тоже, маленький портрет женщины незнакомой. Волосы черные и пышные — гнездо воронье, лицо смуглое, кофточка с рисунком на груди затейливым. Никто из детей не знал, кто это такая. Лишь впоследствии, после смерти матери, нам, вместе с тем, что Марья Семеновна была замужем дважды, объявили.

что это — сестра первого мужа Марьи Семеновны — Марья Викторовна Высоцкая, подруга ее любимая.

Вдоль передней стены, с заворотом к двери, — лавка. Без кресел и стульев обходились. В левом углу, как и в каждой избе деревенской, божница с лампадой, с той лишь разницей, что образов не несколько, а один — материной святой, Марии Скорбящей Божьей Матери, и без полотенца всякого сверху. Под иконой на полке — самовар землевский, неразлучный, а с самоваром рядом — стол обеденный. В правом углу, перед печкой, — лохань для помоев и утварь домашняя. Тарелок среди нее можно не искать — давно перебились, а дети давно привыкли «возить» из общей чашки.

Отца, конечно, дома нет — на службе городской. Наведывается к семье, в деревню, только по праздникам большим да в лето благословенное, в отпуск, на пару недель. Каждый приезд отца — для детей радость несказуемая, неопишуемая: будут и новые платища, башмачки, платочки девочкам, рубашечки, сапожки, пояски шелковые мальчикам, и игрушки всем, буквари с картинками, книжки занятные, численник новый (если дело под Рождество), и крендели сахарные, и халва заморская, и ситник с изюмом. И денег медных, звонких, папенька добрейший даст — поиграть можно будет с ребятами в чекан, в пристенок, и на клирос с собой возьмет, ибо папенька, — первый в церковном хоре певчий, и, лаская на коленях или в постели, защекочет усами до восторга, до визга иступленного.

Кости тоже нет — вылетел из гнезда семейного: определен отцом в садовники мирные и увезен осенью в школу, в Серебряные Пруды. Вместе с Костей в школу садоводческую отец наш отвез и Ванюшку, дружка костина, — в благодарность Степану Сукочеву и жене его, Степаниде, за приют добрый.

Из Ванюшки-то без подделки всякой вышел садовод кроткий, даром, что наружность пугачевская. В выбо-

ре же профессии для сына своего Фома Егорович, как после увидим... прошибся жестоко!

А вернее подумать: все предвидел и понимал в сыне своем логичный Фома Егорович и, отдавая на воспитание умиротворительнице-природе, хотел душу его, не для цветения рожденную, скрестить с цветком садовым. Не для эксперимента — для спасения сына.

Не удалось — видит Бог, не Фомы Егоровича вина.

Дома — мать с младшими. Все живы и здоровы. Хотя Тоня...

Тоня или Тоньча, как называют ее домашние, — это та, что по дороге из Скопина в Кость Мерную у матери на руках, в свертке голубом, охала и ахала с причитаниями. Теперь уж ей четвертый годик начался.

Тоньча в казначеевских вышла, составив компанию мне и Лиде. Светленькая, крутুলииконькая, с веснушками умеренными у носика — очень похожая на Лиду.

Тоньча белены однажды в огороде обелась, дурочка, — не доглядели. Отпаивали ее молоком с настоем каким-то и переволновались все ужасно.

Выздоровела, а только на всю жизнь глаза из орбит выкатились несколько, застыли слегка, ледком покрылись. С той поры, может, она и нервная чересчур, вспылчивая, как порох. Как что — пятнами красными и белыми лицо покроеся. Все казначеевские скороговоркой отличаются, а уж Тоньча — стрекот, швейная машинка. От нервности чрезмерной.

С Надюшкой-Кулёней тоже случай был прямо-таки ужасный! Кстати, Надюшка Кулёней прозвана за то, что от пеленок кутаться любит. Тряпочница, каких свет не знал! Вечно примеряет на себе платочки, кружевца, полотенчик с каемочкой. Платье материнское. И даже лист лопуховый ей за воротничок сходит.

С позапрошлой зимы, помимо того, что — Кулёня, она и Подснежник еще. А Подснежник — потому, что одна в

темном выюжном поле, под сугробом снежным ночевала.

Мы ведь тогда сестренку свою, куленистую, чуть не потеряли навеки. Если бы не лошадь Богомолка...

Вот как это вышло.

Богомолка

1.

На святках приехал домой, в деревню папенька наш возлюбленный, Фома Егорович.

Преподжаловал Фома Егорович в первый день Рождества, а утром третьего дня — кулачные бои за окoliцей еще не начинались — глядь, на морозном кружеве оконного стекла голова лошади отпечаталась: подъехал кто-то. Взглянула маменька на окно да и руками всплеснула:

— Господи! Казначейские! Уж не батюшка ли мой, Семен Павлович с матушкой? А может сестра Варя? Лошадь-то казначеевская, без ошибки. Дети, ведь это Богомолка!

Мы от маменьки уже много-много раз слышали одобрение Богомолке, которая «такая умница, такая разумница, ну... точно человек! Только что не говорит по-человечьи, а то сказала бы всем нам, всем людям, какие мы, люди, недобрые, нехорошие...» И теперь, услышав, что под боком у нас Богомолка, мы стремглав высыпали на улицу, чтобы разглядеть загадочную лошадь.

Приехал-то, оказывается, работник деда казначеевского, Акимушка, крепкий еще старик, белобрысый, с прядью жеванного моченца вместо бороды, в оранжевом тулупе, в овчинной шапке-кошолке, в громадных белых валенках.

Акимушка тряхнул приветливо головой и подошел сперва к своей любимице Маше (маменьке нашей), по обычаю поцеловал в губы, поздравил с праздником Христовым от родителей и от себя и передал ей от её матушки, Марьи Абрамовны, узел с рождественской снедью. Поздоровался с Фомой Егоровичем за руку и сказал:

— По вашу душу, соколики вы наши

ясный, Фома Егорович ненаглядный. Батюшка ваш, Семен Павлович, в добром здравии пребывающий, прослышав про ваше пребывание у семейства, прислали вам сани и наказ: приехать святковать беспрерывно.

Взрослые ушли в избу, а мы, дети, остались у лошади, чтобы хорошенько ее рассмотреть. Красивая, однако, эта Богомолка! Черная — крыло воронье! Шерсть короткая, густоющая, блестящая, — в лак слилась. Звездочка во лбу белая и над ней — чолка шелковистая. Ноги точеные, как толкачи, хвост длинный, пушистый. А уж убрана! По сбруе — бляхи сверкающие, ленточки разноцветные, рождественские; над головой — дуга золоченая, как жар горит... Заглядение! Только глаза вот... пугающие. Необыкновенные глаза! Пребольшущие, темные, с блуждающими где-то глубоко, на дне самом, огоньками. Словно озера в непогоду. Глядишь в них, и кажется, что туманные картины шиворот-навыворот видишь: какие-то нагромождения миров, движение миражей какое-то, существа подземного царства, дымится все, как в первый день творения... Инда страх разбирает!

Старший, Костя, сходил в избу, выпросил у матери горсть сахарного песку, на обеих ладонях поднес ко рту Богомолки. Богомолка опасливо понюхала, а потом — ффррр! — как фыркнула, песок так и разлетелся из костинных ладоней. Не лошадиная это еда! Мы все так и залились хохотом.

Когда мы вернулись в избу, взрослые сидели за попыхивающим парком самоваром и разговаривали о предстоящей поездке. Маменька наша была домоседка, никуда много лет не выезжала и, конечно, и на этот раз решительно отказывалась, ссылаясь на детей — куда от детей поедешь? Папенька же (все папеньки так любят ездить в гости)... папенька твердил свое:

— Да ведь как не поехать-то, Маша? Никак нельзя подумать даже об этом. Или ты не дочь Семена Севастьянова, что не знаешь своего отца? Гордыня!

— Вы промеж себя как там хотите, — говорил Акимушка, — а мне в ответе перед Семеном Павловичем быть, коли приказа не сполню. Не хочу и недругу не пожелаю в ответ Семену Павловичу попадаться.

— Поезжай один, — сказала после некоторого раздумья маменька. — Только... возьми кого-нибудь из детей. Об этом прошу!

И вдруг побледнела, как снег белый сделалась.

Папенька оторопел, виновато на маменьку взглянул.

— Да полно, Маша, полно, голубушка! — забормотал. — Ты ведь, наверно, про комочек тот подумала. Зряшное все это, пустое. Уверяю тебя, что пустое! Ничего этого не случится, уверяю — нет!

— Езжай! — упавшим голосом повторила маменька. — Возьми меньшую и поезжай с Богом.

Здесь мы позволим себе одно отступление маленькое сделать, про комочек, что в боку у папеньки объявлялся, напомнить.

Папенька имел слабость к вину и говорил всем, что это у него от неведомого комочка в боку. Комочек, повергавший в тоску, имел волшебное свойство — растворяться в вине.

Папенька пил запоями — от поры до поры. Пора запоя папеньки в семье называлась «камушкины дни», потому что отец тогда ничего не зарабатывал, а все пропивал — кормиться надо было «камушками» — «камушки тлодать»...

В видах несчастной слабости папеньки, маменька всюду посылала с отцом, в качестве ангела-хранителя, что-ли, кого-нибудь из детей. На этот раз ехать с отцом в Казначеевку жребий пал на пятилетнюю Кулёню.

2.

Прогостив у тестя три дня, Фома Егорович на лошади тестевой и с работником Акимушкой — тем самым! — за кучера-после обеда домой собрался.

Как раз конечный день года старого. Морозно; однако мороз липкий,

неколючий — перед метелью. Да смешно было бы обращать внимание на метель, еще где-то ночующую. Восемнадцать верст каких-то! А лошади у Севастьянова — звери сущие черной масти. Семен Павлович признавал толк в лошадях только черных и допуск делал единственный — белая звездочка во лбу.

Словно в предвидении чего-то, Семен Павлович приказал заложить в сани Богомолку, что уже в Кость Мерную ходила. Богомолка бегаёт тоже — дай Бог. Но по рассудительности — первая среди лошадей севастьяновских.

Залезли в валенки сухие, дорожные, в тулупы душные. Кулёню, в овчины завернутую, — куклу преогромную, — к саням вынесли.

Поехали.

На полдороге от Казначеевки до Кости Мерной — Поляны, село волостное. Дорога лишь краешек Полян захватывает — по кособогу скользит. На кособоге — трактир.

В Поляны въезжали — не смерклось еще. Позёмка уж во всю метёт — шуршит, по земле стелется.

Завидев трактир, Акимушка на Фому Егоровича посмотрел, Фома Егорович — на Акимушку. Акимушка всегда не прочь от согревающего. Фома Егорович — не всегда, но в этот раз... комочек в боку в аккурат весть о себе подал. Поле одинокое, метущее, что ли, мглоу в сердце натопорило?

Свернули к трактиру. Привязали лошадь у коновязи, развернули тулуп в возу, на Кулёню посмотрели — лежит жаркая, счастливая, глазенки блестят. Вновь завернули, в ноги сена привалили:

— Полежи, крошечная!

В трактире — сборище мужиков полянских. Кто аблоката крестьянского, Фому Егоровича, не рад видеть? Расселись у стола, зелёное — на стол. Сидят, судачат, Фому Егоровича спрашивают — война предвидится аль нарочно бают?

Фома Егорович к дочке выходил

— сумерки уж, выюга крылья серые распустила — машет зловеще. Постучал ласково по кожуху:

— Дочка, не озябла?

— Не, папа! — отвечает тулуп голосом детским.

— Сейчас к маме поедем!

В трактире — новое подношение: волостной старшина, прослышав про пребывание Фомы Егоровича, почтить пришел. Фома Егорович в настроении незнакомом: в первый раз комочек в wine огневом не растаял. Шемит, поет...

Посидели еще недолго; Фома Егорович, заслышав плач выюги за окном, встал, встревоженный:

— Пора, Аким Онуфриевич. Не одни мы.

Вышли на крыльцо — тьма тьмущая. Свист. Рев. Хохот сатанинский. Светопредставление!

— Никак заночевать в Полянах придется, Фома Егорович? Из-за дочки... — нетвердо произнес Акимушка.

Фома Егорович молчит, идет вперед, коновязь-перекладину руками нацупывает.

Встали у перекладины, в темноте пообвыкли, притягались. Что за бесовство? У Фомы Егоровича вино внутри разом смерзлось — не комочек уже, а глыба ледяная на грудь надавила — разорвать грудь хочет... Лошади нет. Саней нет. И — о, Бог милосердный! — дочки нет...

Бегодня, суетня поднялась. Сам старшина, с фонарем в руках, по избам крайним побежал, расспрашивает: не видел ли кто черной лошади, в сани запряженной, пробегавшей? В какую сторону побежала?... Нет, никто не видел. Окна в ночь метельную на деревне соломой с вечера закладываются.

Мужики полянские виновными себя перед Фомой Егоровичем чувствуют — по шести дорогам розыск поскакал. Частью — на полозьях, частью — верховые. Акимушка, от страха ошалевший, на Казначеевку стремглав побежал — без шалки, безумный. Неживой-немертвый Фома

Егорович со старшиной в сани, на лошади казенной, серой, на Кость Мерную наугад двинулись.

3.

А где же все-таки Богомолка с Кулёней, наделавшие переполоху такого?

Запах кислый, что от избы доносился, Богомолке хорошо был знаком. У изб таких ей приходилось стоять не один раз.

Противно, но стоять, конечно, нужно. До поры до времени, однако.

Цыгане в возу всегда нехороши — за вожжу дергают, туда-сюда крутят — сами не знают, чего хотят. А то вдруг колотить начнут ни за что, ни про что. Но днем или в ночь, все-таки — куда ни шло. Пьяные не видят, так сама видишь: побоев натерпишься, но в пропасть себя загнать не дашь.

А в ночь темную, непогожую, пьяные — определенно лишние на возу. Тут смотреть да смотреть за дорогой нужно, а у них — везде дорога: передергивают, заворачивают во все стороны света, путаются в «трех соснах», да еще и ругаются. Один раз уже было так: доправились в польню речную.

Когда высокий — Фомой Егоровичем его называют — к возу выходил, Богомолка принохалась, себя лишний раз проверить захотела — трактир ли изба эта? Трактир, без сомнения: от Фомы Егоровича винищем так и разит. Акимушка тоже, выходит, пьян. На памяти Богомолки из трактира трезвым еще никто не выходил, а уж Акимушка — Семену Павловичу подстать: знает их! Семену Павлович хоть справедлив: коли пьян, доверяет дорогу лошади. А эти... один совсем мало знаком, а Акимушка в пьяном виде — сумасброд редкий...

Простояв терпеливо до сумерек полных — часа для лошадей критического, в видах бури разыгрывающейся, Богомолка за благоразумное сочла отвязаться и — в путь!

Вышла на дорогу, остановилась, умом пораскинула. Влево дом свой,

Казначеевка, вправо — Кость Мерная, где четвертого дня была.

В Казначеевке — котух теплый, овес хрусткий. А ведь бежать-то надо... в Кость Мерную все же! Маленькая девочка в возу — оттуда. Да и высокий — оттуда. Сама же привозила. Гости, должно. Определенно, гости: неделю уж целую от избы севастьяновской жареным да пареным пахнет. Когда жареным пахнет, так и знай — гостей развозить придется. А Семен Павлович страсть как не любит, когда лошадь с гостями с полдороги возвращается. Как однажды ругался, кнутом замахивался, когда с гостями в телеге о трех колесах — с четвертым колесом в возу — домой вернулись. Все равно отослал обратно — на тарантасе...

Поразмыслив так, Богомолка оглоблю правым плечом толкнула, назад, на сани, поглядела и — зарысила на Кость Мерную...

Бежит, от пороши, в ноздри набившейся, отчихивается, шаг убыстряет — сани из тьмы сгустившейся вырвать хочет, обогнать тьму ловчится.

Но нет, спорить по-честному с ночью выюжной, коварной, бесплодно. Завизжала, завыла, в ноги кинулась остервенело, в глаза песком ледяным швыряет.

Не испугалась Богомолка, и шагу даже не убавила. Бежит в полной почти темноте, ушами прядет, копытом ожесточенно снег предательский пробивает, дорогу чувствует, за дорогу держится.

Должно, Кость Мерная уж скоро. Запахом дымным потянуло. Ну да. Вот и поперечная дорога большая. Глаза, ко тьме привыкшие, впереди столбы телеграфные на большаке различили. Еще половина лошадиной версты — две версты человеческих — еще одна хорошая схватка с метелью бесноватой и — долг выполнен.

Вдруг Богомолка полозьев за собой не почувствовала. В то же мгновение ее назад рвануло: хомут скособочился, шею сдавил — норовит перевернуться. Но сейчас же на место встал. И полозья вновь объявились — готовы скрипеть до самой Мерной.

Однако, Богомолка, знаяшая на своем лошадином веку многие превратности судьбы, остановилась — картина ей в голову пришла страшная. Постояла в ожидании мысли какой-то; сделала два шага назад, два вперед — проскрипела санями. И по звуку полозьев облетченных, по посадке хомута, по тысяче примет, ей только известных, поняла, что случилось ужасное. Заржала яростно, копытом о дорогу ударила с таким бешенством, что треснуло копыто, потянуло кровь из ноги. Течет, но не стынет ни на каком морозе кровь спиртовая скакуньи огневой, пожарной...

Огневая... Но бывают моменты в жизни лошадиной, когда самое себя за узду сдержать нужно. Встала извоянием воли среди бури ревущей — горой не сдвинешь. Презрительно поземки, по труды хлещущей, снега, бок облепившего, не замечает, — не встряхнется даже. Только ушами поводит наостренными; не бурю слушает — через бурю услышать что-то хочет...

Какая же картина представилась Богомолке?

Представилось ей, что сани одним полозом на полном ходу на сугроб высокий наскочили, накоренились, на ребро встали. Одно мгновение нужно было, чтобы, пролетев на ребре три шага, сани приняли прежнее положение. Но этого мгновения могло быть достаточно, чтобы из саней выпала в снег маленькая девочка — гостя лошадиного бога, хозяина овсов всех земных, строгого, но справедливого Семена Павлова Севастьянова.

Так оно и было на самом деле.

Еще в Полянах в овчинах своих жарких сладко заснувшая, Кулёня не проснулась и тогда, когда колом из воза на землю выкатилась. Почудилось ей только, что домой приехали; кто-то выхватил ее из саней, радостный, руками сильными, на печку неосторожно опустил. И опять спит, не подозревая, что не в санях дедушкиных и не на печке маменькиной, а в могиле ледяной спит, снегами засыпаемая... О детство доверчивое, незащитное!

4.

Фома Егорович со старшиной продвигались медленно; то и дело оставляли лошадь, шли вперед, при свете фонаря разгребали снег, чтобы убедиться, что с дороги не сбились.

Несчастный отец счет времени потерял. Казалось, что уж давным-давно наступила на земле вечная ночь. Рассвета нет и нет. Фома Егорович, адвокат логичный, с логики сбился, забыв о том, что рассвет зимний — перед сумерками приходит.

В очередной раз пойдя на раскопки снежные, путники до полотна дорожного, калёного, не докопались. Заблудились... Отходили в стороны, шли назад, вперед возвращались. Копали все. Не докопались до полотна калёного. Заблудились...

Заблудился и в мыслях своих Фома Егорович, горестно на краешек саней присевший, ссутулившийся. Одинок человек на земле. В пустыне ледяной живет. Всюду — темь одна подстерегающая. Вслушаться в темь — одни волюки... Но что это? Фома Егорович на ноги вскочил.

— Вы слышите, Силантий Герасимович?

— Слышу, да. Колокол. Из какого села только не пойму.

«Колокол! — думает просветлевший Фома Егорович. — В ночи тревожной перекликаются набатно вешки звуковые. Добром по земле расставленные... Когда это мне на ум последний раз приходило? А! Толстого видя!.. Кто-то не спит в ночь бурную, смерзшимися руками за веревку тянет, посылает людям, во тьме блуждающим, надежду спасительную... надежду... надежду... Ведь и дочка — Надежда!»

— Мернский это, Силантий Герасимович! Напевный! — вскричал Фома Егорович. — Дорога прямо на церковь выходит. Поехали ж, Силантий Герасимович, поехали на звук прямо!

Поплыли, ныряя по морю снежному, разъяренному.

В скорости путники ржание лошадиное яственно слышали. Близко. Совсем где-то близко. Рядышком.

Вгляделись — подвода впереди, влево несколько, сереет; лошадь, в столб снеговой обернувшаяся, неподвижная.

По брюхо в снеге лошадь серая проплыла, рядом со столбом встала. Столб встряхнулся.

— Богомолка! — вслух узнал восторженный Фома Егорович.

Вне себя Фома Егорович к саням бросился... Ах, как водить пером по бумаге неприятно! — новое страшное испытание — незаслуженное нисколько! — ожидало отца любящего, бескорыстного служителя правды праведной. Не в силах наших рассказывать, как Фома Егорович, дочки в санях не обнаруживший, от саней подняться не мог — глыба ледяная, изнутри на грудь надавившая, перевешивала. Как фонарем в глаза Богомолке светил, норовя прочитать в них тайну поля метущего. Как кровь под копытом коня увидел — своя кровь в жилах заledenела. Как закричал в небо в отчаянии:

— Надежда, где ты, пропавшая!? и услышал из-под земли в ответ:

— Папа, я тут. Приехали?

В столб соляной от ответа такого превратился Фома Егорович, шипы терновые, живые, шевелящиеся вместо волос шелковистых под шапкой ощутил, но и понял все в то же мгновение — веревочку свил мыслительную: сугроб... сани на боку... девочка в снегу, заживо потребенная... лошадь-героиня... сама себя поранила — кровью жертвенной к месту приковала, припечатала...

Откопали Кулёню — живая, веселая, лопочет: сон какой-то видела. Уселся в сани Фома Егорович, на руки от старшины находку свою драгоценную принял, не выпускает. За вожжи взялся — настроение незнакомое объявилось: в первый раз комочек в боку без вина купоросного растаял.

Дома, не успели еще Богомолку во двор завести — ковер турецкий покрыть ее из под Серки вынимали на улице голос громовой слышали. Дед Семен Павлович, узнав от Аки-

мушки, без шалки прибежавшего, трясущегося, про беду приключившуюся, вскочил из жеребца яростного, скаженного и сквозь буран молнией до Мерной домчался.

Фома Егорович наружу поспешил. Видит, Семен Павлович в ярости на Богомолку плетью замахнулся. Взмолился Фома Егорович.

— Не бейте ее, батюшка, Семен Павлович. Она мне дочь спасла.

Провожает прозного тестя в избу, случай рассказывает. В избе Семен Павлович пообмяк несколько, сосульки ледяные с бороды снимает, пряди волос на голове расправляет. Посмотрел насмешливо в сторону Фомы Егоровича, произнес без насмешки:

— Эх, вы... мудрецы городские! Одна лошадь мужицкая умней всей Думы вашей представительной. Вам бы Богомолку у Семена Севастьянова купить, в мантию нарядить, в совете государственном на месте председателем посадить. Только не продам, хоть в ногах валяйтесь!

Потребовал, чтобы показали ему

внучку, у снегов вырванную. Увидев Кулёну живой и невредимой, одобрил окончательно — ночевать остался...

5.

Утром Фома Егорович встал рано и, никого не разбудя, один отправился в церковь, к заутрени. Когда же возвратился в дом и стал раздеваться, старшая дочь его, Лидия, всех всполошила криком:

— Папенька! Бог мой! Где это так инем тебя охватило?

Глянули мы и — впрямь голова папенькина так и засеребрилась. Вчера, при скудном свете лампы, никто этого не заметил.

— Иней вот тут, — отец указал на сердце, — то страшно. Не приведи Бог во второй раз. Бррр! — не приведи Господь! А это — пустое. Пустое, ерунда, право, ерунда пустая! — Папенька виновато на жену и нежно на дочку взглянул.

С нюхи, пургой в сердце отшумевшей, Фома Егорович всё прихварывать стал.

НЕБЕСНЫЕ ФОНАРИКИ

До этой ночи города еще не трогали, хотя уже несколько недель подряд ночное небо гудело бесконечными моторами и зловеще спокойно пели сирены противовоздушной обороны. Невидимые аэропланы летели на Берлин, разгружали над несчастным городом свой огненный груз и возвращались на запад, спеша уйти из-под обстрела воздушных батарей и от нападений истребителей. На обратном пути они снова пролетали над городом, и снова пели сирены, но люди знали, что ужасные металлические птицы были уже безвредны.

— Вот досталось опять берлинцам! — говорили знатоки воздушных дел, стараясь по гулу моторов подсчитать количество бомбовозов и почти не скрывая своего удовлетворения, потому что бомбы, сброшенные на Берлин, могли упасть и здесь.

До тех пор, пока не разгромили соседнего, километрах в пятидесяти на запад, города, тоже лежавшего на смертельной берлинской дороге, жители даже не опускались в убежища, рестораны и пивные только прикрывали двери, кинематографы продолжали сеансы.

В ту ночь неподвижное зарево стояло на западе, стекла дрожали в оконных рамах, и ровный непрерывный гул, похожий на шум далекого водопада, заполнял ночную тишину. Ужас лился, почти осязаемый физически, по улицам города, вливался в аккуратные дома с начищенными полами, детскими кроватками, чинными библиотеками, еще целыми, но уже

приговоренными. С этой ночи сирена наполняла черные улицы людским потоком. Еле сдерживая себя на границе безумия, спотыкаясь на бульварниках средневековых улиц, опрокидывая выкрашенные в белый цвет детские коляски, толкаясь, падая в ночной темноте, — люди устремлялись к убежищам. Свистели полицейские и добровольцы воздушной обороны, ржаво визжали колеса детских колясок, тяжело дышали человеческие груди, глухо шаркали по мостовой бесчисленные ноги, и на последней ноте замолкала третья сирена...

Он давно уже ложился спать одетым, приготовив чемоданчик с самым необходимым и самым дорогим: две три смены белья, новая пара ботинок, с таким трудом купленная в обнищавшем Париже, документы и фотографии, которые он зачем-то возил с собой. Ставил будильник на полночь. Если тревоги не было, будильник звонил, и он раздевался и спал до утра. После полуночи тревоги быть не могло, так как воздушная армада поднималась с английских аэродромов за светло. Чем ближе было к осени, тем раньше выли сирены, и полночь была уже совершенно безопасным временем. Когда бывали тревоги, он ходил в убежище для иностранцев и случайных прохожих под двухэтажным зданием школы. Убежище защищало только от осколков, даже небольшая бомба должна была пробить потолки классов и тонкий бетон подвальных сводов. Должно быть, все присутствующие это понимали, так как в огром-

ном, тускло освещенном подвале, заставленном деревянными скамьями, всегда царило тягостное и напряженное молчание. Людей из жилых домов выгоняла противоздушная охрана, на улицах распоряжалась полиция.

Так как он жил в маленьком, перекошенном от старости домике старинного квартала, самооборона его не трогала. Он начал просто сидеть с чемоданчиком в нижний коридор и оставался у приоткрытой двери. Улицы пустели почти сразу после третьей сирены. Пробегали женщины, толкая детские коляски, проходили, стараясь не ускорять шаг, мужчины. Потом на западе нарастал шум и одновременно начинали стрелять зенитные пушки в западной части города. Красные розанчики разрывов вдруг сериями рождались в черном бархате осеннего неба. Было необыкновенно жутко и красиво. А гул нарастал, захватывая всё небо, и розанчики зажигались уже повсюду. Иногда невидимый аэроплан разбрасывал парашютные лампы и они стояли в ряд, совсем как фонари в мирное время где-нибудь на большой и красивой улице, медленно, почти незаметно для глаза опускаясь к притихшей земле.

Тогда сосед-немец, тоже не ходивший в убежище, ругал артиллеристов: — Ну что им нужно? Доннервертер! Еще наколикают на нас беду. А то ведь летят спокойно. Он не договаривал, что летят они громить Берлин и что наш город никакого военного значения не имеет и к тому же английская королевская семья с городом связана своим происхождением.

Он курил предложенную соседом папиросу, держа её, как школьник, в рукаве, и чувствовал, как теплый дым полз ласкаясь по коже к плечу, совсем как тогда в России, уже очень давно, когда он был в четвертом или пятом классе и курил в уборной на переменках папиросы «Роза» — 3 копейки 10 штук. Гул моторов уходил на восток, и замолкали последние пушки. — Спокойной ночи! — говорил он соседу и поднимался по скрипучей лестнице в свою комнату. Уже

улицы снова наполнялись глухим шумом шагов и шелестом заглушенного разговора. Нужно было заставить себя заснуть, так как утром снова была работа, как будто бы ничего не произошло ночью, как будто бы не была проиграна война и ночная огненная волна не заливала страну. Утром здоровались, жали друг другу руки, вежливо спрашивали о здоровье, садились за столы и чертежные доски, как будто бы войны вообще не было и приспособление для согревания моторов, над которым он работал, заказало не военное ведомство для степей Монголии, как острил главный инженер, а хозяин какого-нибудь туристического бюро на Шпицбергене для своих автокаров.

В эту ночь все происходило сначала как всегда. Пронеслась по темным улицам, шаркая тысячами ног, толпа, начал нарастать на западе гул моторов, залаяли очередями противозрапленные пушки.

Он спустился в коридор, курил и смотрел в приоткрытую дверь. Бомбы посыпались вдруг сразу, по несколько, задрожали стекла, зазвенело на тротуаре разбитое стекло, качнулась земля. Приоткрытая дверь резко распахнулась, и он чуть не упал на камни мостовой. На несколько секунд ноги отказались действовать. Потом он пошел машинально в сторону убежища под школой. По улицам бежали опоздавшие или такие, как он, переживающие тревогу у себя или на улице. Бомбы падали уже в центре города. Где-то горело, кто-то кричал в темноте. Он прибавил шаг. — Сейчас будет вторая волна. Простившись совсем над головой осколок снаряда и с мяуканьем впился в дерево. — Что вы здесь делаете, чорт бы вас взял! — закричал кто-то рядом. — В убежище! Немедленно! — Человек был в каске и с повязкой самоохраны. Не ожидая ответа, толкнул его куда-то в темноту и в сторону. Ему хотелось сказать, что он идет в убежище под школой, но новые взрывы где-то совсем недалеко остановили слова в горле. Человек в каске нажал на невидимую кнопку перед массивной, наполо-

вину ушедшей в землю, дверь с тускло светящейся желтыми буквами надписью — Luftschutzraum. Дверь открылась, и человек из самоохраны снова его толкнул: «Вот так. Дисциплины не знаете!» Он чуть не скатился по бетонным ступенькам крутой лестницы. Внизу было тихо, светло и уютно. Длинные, похожие на больницы, коридоры пересекались, расходились, поворачивали где-то далеко, повидимому, правильным подземным кольцом, образуя квадратные от пола до потолка коробки с номерами на дверях. Как ни странно, но в коридоре было сравнительно мало людей. Кое-кто сидел на бетонных скамьях, другие медленно прогуливались по коридорам. Сидевший у лестницы пожилой человек в коричневой рубашке и форменном кэпи «шпц-абтайлунгов», о которого он почти споткнулся, молча показал ему на коридор.

Иногда при близких взрывах бункер дрожал, и сверху глухо доносился гул, но чувство абсолютной безопасности за толстым бетоном совершенно перерождало восприятие. Стало даже как-то приятно думать: а там, наверху, мечутся в страхе люди, каждый момент рискуя жизнью!..

Он закурил папиросу. — Не курить! — строго прокричал человек в форменном кэпи и тут же объяснил, сколько кубических метров воздуха в бункере и сколько их полагается на человека и на столько-то часов. После только что пережитого волнения курить хотелось до физической боли. Инстинктивно, чтобы себя занять, он пошёл вглубь по коридору. Начал считать шаги. Раз, два, ... десять. Полтора шага в секунду, девяносто в минуту. Нужно было точно измерить быстроту движения. Интересно, сколько времени это будет продолжаться? В кольцевом коридоре сто восемьдесят шагов. Значит, две минуты. Наверху попрежнему взрывы, но он даже не прерывает счёта, когда дрожит бункер. Всё-таки немцы удивительные организаторы. В Париже в убежищах грязь, сырость, паутина и крысы. Здесь — стулья, кровати в

два этажа с соломенными матрацами, освещение, побеленные стены, подземные соединения с соседними погребками на случай завалов. Здесь, в коридоре, случайные, как он, одиночки, а за закрытыми дверями бетонных коробок — настоящие детские сады, должно быть, даже с ваннами. Выше же, наверное, гараж для детских колясок.

А наверху в пожарах и взрывах погибает Германия детских сказок и рождественских картинок. Ужасно глупо! — После каждых девяноста шагов нужно загнуть палец руки. Пять загнутых пальцев — десять минут. Вот он уже третий раз проходит около человека в форменном кэпи. Он уже очень пожилой, и коричневая рубашка национал-социалистической милиции вздувается на круглом животе. По виду — средний коммерсант, бакалейщик или хозяин табачной лавочки. В рубашке он смешон. Рубашка идёт молодым и тонким. ... Пожилой человек в форме бой-скаута. Действительно, у немцев нет вкуса. Римский салют, украинская свастика, которую вышивали на плахах полтавские бабы и поместило на своих кредитках временное правительство времён Керенского, бетонные домикоробки, из гладкого фасада которых вдруг выскакивает венецианская лоджия или просто голый и бородатый мужчина, по замыслу, должно быть. — Геркулес.

Хозяин табачной лавочки в бой-скаутской рубашке на кого-то кричит. Это не важно. В Германии все официальные лица не говорят, а кричат. Даже когда вас хвалят. Привычка чисто армейская и идет издавека. Отец Фридриха Великого никогда не говорил с сыном, а кричал всегда в одном тоне, так что со стороны нельзя было понять, доволен ли он им или бранит. Чаще всего он его бранил.

Хозяин табачной лавочки в бой-скаутской рубашке не только кричал, но тянул к бетонной лестнице какую-то женщину в темном пальто. Шагов тридцать отделяло его от странной группы. Было очень досадно перестать считать: сто пятьдесят один,

сто пятьдесят два... но между толстым старым мужчиной, одетым, как мальчик, и тоненькой, наверно, очень молоденькой женщиной в темном пальто происходило что-то важное и неприятное для женщины.

— Вы не имеете права тут быть, Fräulein! — кричал бой-скаут. — Я бы мог вас арестовать и отдать под суд за нарушение законов и полицейских правил. Во-первых, каким образом вы очутились ночью на улице? Это запрещено. Ост-арбайтеры могут ходить только до девяти. И где ваш значок, который вы должны носить на левой стороне?

«Русская!», подумал он. «Неужели её выпоят из убежища?»

Бой-скаут продолжал кричать: — Я закрываю глаза на эти отступления от правил, но потрудитесь покинуть убежище.

Кто-то вступился: — Послушайте, господин Мюллер. Вы же сами отец. Посмотрите. Это же совсем ребенок.

— Ах, оставьте сентиментальности, господин Браун. Я исполняю только распоряжения начальства... По букве нюрнбергских законов, прошу вас не забывать! Мы и так закрываем глаза по старой дружбе на людей, которые отказываются жертвовать на «зимнюю помощь»...

Он подталкивал, пыхтя и продолжая говорить, тоненькую, до сих пор не проронившую ни слова, женщину по крутым ступеням... — И на тех, кто гнушается надеть нашу форму и рассказывает глупые анекдоты про господина райхсмаршала...

Человек в коридоре не мог понять, почему он вдруг вмешался и сразу подонкихотски? Можно было все сказать и сделать без позы и напыщенных слов. Но напыщенные, как ему потом показалось, слова явились сами.

— Так как здесь нет места русским, — вдруг громко сказал он, — а я тоже русский, я уйду с Fräulein тоже.

Оторопевший бой-скаут остановился, продолжая держать за локоть женщину, и смотрел на него округлившимися от удивления глазами.

— Да, да, я русский и тоже ухожу, потрудитесь меня пропустить, — он быстро поднялся по ступенькам.

— Ваши бумаги! — попробовал прокричать бой-скаут, но крик вышел каким-то куриным клёкотом. — Ваши бумаги. Как вы осмелились? Где ваш значок?

— Я эмигрант. У меня знака нет. — Он властно отстранил руку, державшую локоть женщины.

Тут он в первый раз заметил ее лицо. Совсем ребенок. Глаза светлые. Из-за плохого освещения нельзя разобрать, голубые или серые. Смотрят на него с ужасом.

— Вы тоже не имеете права тут быть! — кричал бой-скаут.

— Оставьте их в покое! — сказала снизу какая-то женщина.

— Это безобразие! Я вызову полицию...

Ему очень хотелось ударить смешного, старого, злого и глупого человека в коричневой рубашке, сбросить его со ступенек лестницы, посмотреть, как он распластается на площадке. «Вот тебе чистая кровь. Это выпаврано у этого налитого пивом человека даже на бляхе пояса». Но он сказал ледяным, совершенно не своим, незнакомым голосом:

— Полиции есть чем заниматься сегодня ночью, ей некогда наблюдать за соблюдением нюрнбергских законов. — Как хорошо было, что он говорил свободно по-немецки, носил дорогое пальто, имел в кармане заводскую карточку с фотографией и представленным званием: «господин дипломированный инженер».

Не ожидая ответа, он легонько подтолкнул девушку:

— Пойдем. Не бойтесь.

Что-то кричал еще бой-скаут вдогонку, и ему отвечали снизу, должно быть что-то очень едкое, так как почти сразу о них забыл — наверное сделал вид, что забыл, и, сделав два-три шага за ними, остановился.

Массивная дверь отворялась изнутри. Дальше на улицу выводила крутая бетонная траншея. В лицо ударил холодный воздух, пахнувший бензином и гарью. Царила жуткая тишина.

на. «Сейчас будет новая волна», подумал он. В высоком темном небе висели стайки парашютных лампочек, ярко, почти как днем, освещая улицы и дома фантастическим белым светом, к которому примешивались багровые пятна пожаров.

Инстинктивно хотелось скрыться в темноту, куда-нибудь в проулок между домами, но самое лучшее было — пойти до убежища под школой. Он повернул налево, продолжая крепко держать за руку свою спутницу, и оба чуть не упали в лужу. Ледяная вода наполнила башмаки.

— Простите, — сказал он.

— Ничего, — ответила она, чуть усмехнувшись, — бывало хуже. А спасибо вам.

— Нужно торопиться, — не ответил он на спасибо.

Шли вдоль домов по тротуару, покрывшему осколками разбитого стекла.

— У нас открывали окна во время бомбежки. Так стекла не лопаются.

— Вы откуда?

— Из Днепропетровска.

— Из Екатеринослава, значит.

— Ну да, из Екатеринослава, — согласилась она. — Слышите моторы? Скорее, это новая волна.

Но уже залаяли снова зенитные пушки, и, казалось, совсем рядом разорвалась бомба, повидимому попавшая в уже горевший дом, так как букет красных искр огромным веером раскрылся над заревом. Пронзительно визжали осколки, с сухим треском отскакивая от булыжников мостовой. Он сам не мог бы сказать, сбросило ли их на мостовую давлением воздуха или он сам инстинктивно бросился на землю, увлекая девушку, — но теперь они лежали прямо на булыжниках под самым бортом тротуара. «Слишком близко от домов», подумал он, «если обрушится, нас задавит фасадом». Но страшные разрывы следовали один за другим, сотрясая землю, визжали и пели осколки, летели камни и куски крыши. Она сказала что-то, чего он не расслышал, и прижалась к нему.

Он погладил ее по голове. Волосы были мягкие и мокрые. Он был до

странности спокоен. «Когда пройдет эта эскадрилья, нужно будет встать и добежать хотя бы до городского сада. Там мягкая земля и, кажется, есть крытые траншеи»...

Когда разрывы бомб переместились в сторону, он быстро вскочил, оторвав резким движением спутницу от мостовой. Они бежали, взявшись за руки, по фантастически освещенной пустой улице. Уже пылали близкие дома, казавшаяся кроваво-красной от пожара пыль плотной и почти неподвижной стеной выросла вдруг впереди. Они бросились в переулок. Теперь падали зажигательные бомбы и один за другим загорались чердаки огустевших домов, оставленных самоохраной.

Зажигательная бомба упала совсем перед ними, он еле успел бросить девушку на землю и повалился сам, прикрывая ее своим большим телом. Потом вспомнил, что зажигательные бомбы не опасны для людей, сполз на бок и лег рядом. Она опять к нему прижалась, и он чувствовал через одежду, как она дрожала... Длинный шестигранный карандаш шипя горел в десятке шагов от них, ослепляя глаза малением.

— Не бойтесь. Это не страшно, — сказал он, и они снова поднялись. Она со страхом жалась к стенам домов. В узеньком переулке нужно было пройти почти рядом с ослепительным шипящим карандашом. Он поднял ее на руки и побежал. Уткнувшись головой в его плечо, она продолжала дрожать. «Бедная девочка», подумал он и вдруг залился весь необыкновенной жалостью к этой девушке, которую он даже не успел рассмотреть и которую не знал всего пять минут назад. Он споткнулся и упал вместе с нею на мостовую. Успел инстинктивно защитить ее голову своей рукой, но все же очень испугался. Хотел спросить, не ушиблась ли она, но снова отвратительный свист падающих бомб заставил распластаться. Вдруг очень заболела левая рука, которой только что при падении он защитил ее голову. Он вытянул руку вдоль мостовой и увидел

кровь на суставах и сорванную, в лохмотьях кожу.

На мгновение им овладело отчаяние. Раны на руке были, конечно, пушечными. Но почему-то вид собственной крови был совершенно нестерпим, а чувство полной беспомощности в этом гремящем и пылающем аду, фантастически пустынным, похожем на декорацию из «Последнего дня Помпеи» наполняло его ужасом. Хотелось плакать, вскочить, побежать, вдруг завывать и махать руками.

Лежащая рядом девушка еще сильнее прижалась к нему, инстинктивно стараясь прикрыться его телом. От ее движения он пришел в себя. Надо взять себя в руки, добежать до траншеи в сквере. Он опять вскочил, резким движением отрывая ее от мостовой. Побежали снова. Вот уже близко сквер. Но деревья кажутся вырезанными из жести на огненном фоне. За сквером значит горит. Горело сзади, сбоку, со всех сторон. От вида черных человеческих силуэтов на красной сплошной стене огня стало легче. Он замедлил шаг, тяжело дыша.

Траншеи были вырыты зигзагом среди клумб. Их покрыли бетонными плитами и аккуратно засыпали землей. Бетонные ступеньки вели вниз. Пожар освещал внутренность до первого зигзага. Было почти чисто и после улицы даже уютно. Снизу разрывы бомб стали глуше и дальше, и от них, тихо шурша, осыпалась со стен земля. Он завернул за первый угол. Как защита от осколков это было уже достаточно, но ему хотелось уйти как можно дальше от выхода, чтобы грохот разрывов слышался еще слабее. Потом он вдруг подумал, что разрывом может завалить выход, и круто повернул назад, все время увлекая за собой молчащую девушку. «Но, конечно, в траншее есть второй выход», подумал он и снова повернул в глубину. «Вот здесь», почему-то решил он и бессильно опустился на землю. Девушка опустилась тоже. Они долго молчали, слушая собственное

дыхание. Наверху продолжали рваться бомбы, но ему показалось, что разрывы становились реже и отдаленнее. Совсем недалеко от сквера проехала пожарная машина или санитарная карета, внося в симфонию бомбардировки две знакомые сирены.

— Ух, как страшно, — сказала девушка. Она еще вся дрожала мелкой дрожью и все прижималась к нему. Он снова погладил ее по голове, и она успокоилась.

Только что всецело подчинившийся инстинкту мозг снова начинал работать. Бомбардировка, по всей вероятности, кончилась. Зажигательные бомбы в траншее безопасны. Он вдруг вспомнил о чемоданчике с документами и сменой белья. Где он его оставил? Кажется, в бункере. Если так, то завтра ему его вернет полиция. Все-таки немцы всегда останутся немцами. Вот только он не сможет утром побриться, и к вечеру подбородок обрастет колючей и уже седеющей щетиной. Ему почему-то особенно неприятно было вспомнить, что у него не только росла белая борода, но уже серебрились сильно виски, и волосы редели на затылке.

— Как вас зовут? — спросил он девушку.

— Маней, а вас?

Он растерялся. Не отвечать же ей, что его зовут Петей? Хорош Петя с седой бородой и начинающейся плешинкой на темени. Он сделал вид, что не расслышал вопроса.

— Вы откуда?

— Из Екатеринослава, — ответила Маня удивленно. Ах да, он ее уже спрашивал!

— Знаю, я там даже был.

— Ой, как хорошо! — обрадовалась девушка. — Когда же вы там были?

Выходило опять очень неловко. Ответить, что был там двадцать четыре года тому назад, во время гражданской войны, было еще хуже, чем сказать, что его зовут Петей.

— Сколько вам лет? — решил он продолжать допрос.

— Скоро девятнадцать будет, а вот уж два года как до Германии забрали. Ой, страшно как! — она вдруг запла-

кала. Действительно, за поворотом траншеи бушующее наверху пламя отдавалось внезапными кровавыми бликами, заливая стены окопа темным светом...

— Когда же это кончится? Ой, шишусь моей больше нет... — прошептала девушка, качаясь из стороны в сторону. Он взял ее за плечи сзади и сжал так сильно, что она вскрикнула и перестала плакать.

— Больше опасности нет, — попытался он ее успокоить, — разрывных бомб больше не бросают. — Но как на зло ему почти одновременно пропыхотали разрывы и земля тосыпалась сверху, слепя глаза, и он инстинктивно пригнул девушку к земле, хотя опасности не было. Бревенчатые накатки траншеи завалиться не могли. Если бы бомба попала на крышу, она просто бы все разметала и разрушила.

— Это ничего, — сказал он, неловко поднимаясь. — Я не сделал вам больно?

— Нет, когда так, мне не страшно, — она нервно рассмеялась. — Чего только не навидишься на свете. — Они снова сидели молча, и он пытался по внешним звукам бомбардировки следить за ее ходом, не обращая внимания на красные блики на стенах окопа. По всей видимости бомбардировка подходила к концу. Прошло по крайней мере шесть-семь волн бомбовозов. Несколько сот тяжелых американских воздушных крепостей типа Б 26. Не бросят же они сегодня ночью на город Генриха Льва весь свой воздушный флот. Наверное досталось снова и Берлину и Ганноверу.

— Где вы работаете? — спросил он Маню.

— У булочника на Глисмордэ. А раньше в лагере была на одном кольраби. Теперь хорошо.

— А как попали в бункер?

Девушка оживилась. — А я с Гильдой была, с хозяйкиной дочкой. Она там тоже сидела. Рыженькая такая, может быть, заметили? Только когда этот толстый меня гнать начал, она не пикнула. Боялась. У них это строго.

— А что вы с вашей Гильдой делаете?

— В кино были. Картина интересная из немецкой жизни. Женщины в штанах, как здесь все ходят... мужчины эс-эсы, конечно, красивые такие. И как раз воздушную тревогу описывают. У них роман вышел во время тревоги, вот как у нас с вами... — она засмеялась.

«Что она меня вызывает, что ли, эта девчонка?» — подумал он. — «Как у нас с вами...» Хорош роман. — Ему даже стало смешно.

— То есть как это «у нас с вами?»

— А вы меня тоже вот спасаете, совсем как в картине. — Ответила просто, без жеманства. В первый раз за все это время — прошло собственно не больше получаса, как они вышли из бункера — он постарался ее разглядеть. Помнил только, что у нея серые глаза, а может быть голубые, во всяком случае очень светлые и что она полненькая и для женщины даже высокая. Цвета глаз определить не удалось из-за багрового и неровного освещения.

— Какие у вас глаза? — спросил он.

— Серые, — ответила Маня. — А у вас черные, я еще в бункере заметила. Ой, и хорошо же вы по-русски говорите! — восторженно прибавила она. Собственно, до сих пор ничего, кроме отрывистых фраз, он не сказал, и замечание Маруси — так он про себя ее назвал: нельзя же называться Маней? Маша, Маруся, но никак не Маня, — его развеселило и немножко тронуло. Действительно, большинство ост-арбайтеров было с юга, с Украины, Дона и Северного Кавказа, где произносили придыхательное «г» и неправильно употребляли падежи.

«Да она совсем хорошенькая. Почти красавица», — продолжал он ее рассматривать в сумраке траншеи. — И совсем ребенок: непосредственная и, кажется, совсем наивненькая. Сравнивает кинематографический адюльтер с нашими траншейными приключениями».

— А разве у вас плохо говорят по-русски?

— У нас? Это как кто. Кто кончил десятилетку, тот говорит ну вот как вы. А вы Пушкина знаете?

— Немножко знаю.

— Ну, неправда, наверное всего наизусть!..

Он засмеялся, но в то же время снова рвануло наверху, и земля посыпалась между бревен блиндажа. Маруся инстинктивно рванулась к нему, цепляясь за плечи, вплотную прижимаясь к его груди, как бы желая спрятаться в этом большом и теплом теле. Он сам себе не отдавал отчета, как все дальше произошло. Но, повернув ее голову, прижавшуюся к его щеке, он губами нашел ее губы. Она сразу вся обмякла, и он чувствовал, как ослабели вдруг впившиеся в его плечи пальцы.

— Ой, не надо, не надо! Ой, не надо! — оторвалась она от него, — и так страшно!

«И так страшно!» Коротенькая и наивная фраза его поразила: столько в ней было покорного упрека. Разве не доверилась ему эта простая и хорошая девушка, боявшаяся смерти, и разве в аду, в который они попали, не стали они с первой минуты товарищами?

Красные блики пожара переливались в ее зрачках, расширенных, испуганных и покорных. Ему стало невыразимо стыдно и гадко. Он запахнул ее пальто, прижал к себе ее голову и начал целовать в мягкие, пахнущие скверными немецкими эрзац-духами, волосы.

Как хорошо было бы взять ее в Париж, жениться, снять с нее это скверное пальто из советского драпа, причесать эти мягкие волосы, отучить произносить южное «г», научить говорить по-французски, повезти в Комедию и в Оперу, даже на простом такси, которое было бы для нее роскошью, показать на балу Русских Инженеров в светлом балльном платье, свозить в Ниццу на свои три недели отпуска, просыпаться и видеть ее улыбку, которую он даже не знал, но которую он чувствовал те-

перь, когда она успокоилась у него на плече.

Но он был женат давно на женщине старше его, почти старухе. У него была взрослая падчерица и пятнадцатилетняя дочь, которые жили в квартире из двух комнат с кухней и ванной в Булони, презирали его за то, что он не умел заниматься черной биржей и разбогатеть, как богатели во Франции во время оккупации многие русские, до войны совершенно ничтожные и неизвестные, теперь имевшие шикарные квартиры в шестнадцатом участке, насмеялись над ним за то, что, чтобы продолжать платить за квартиру в Булони и покупать продукты по карточкам, он уехал работать в Германию, вместо того, чтобы торговать металлическим ломом, саперными лопатами и исчезнувшими из аптек лекарствами.

Он не только не мог купить Марусе балльное платье, но у него самого давно не было смокинга, и он ходил на балы, куда его водила жена и падчерица, в сером костюме, который теперь донашивал. Когда она ездила в Ниццу, и не на три недели его отпуска, а на два месяца, он брал работу на дом и залезал в долги, о которых потом боялся сказать. Просыпаясь утром в душной спальне, пахнущей старостью и косметикой, он проходил на кухню на цыпочках, стараясь никого не разбудить, и наскоро пил невкусный вчерашний кофе.

Уже когда шла война, в первый год немецкой оккупации Франции, он сошелся с женщиной старше его. Было голодно и прустно во вдруг притихшем Париже. Места иностранцу в урезанной и зажатой жизни побежденной страны не было. Он пытался что-то делать, что-то принести в дом, в котором вдруг проснулись всю жизнь дремавшие аппетиты. Торговать он не умел. Ему как-то даже не так стыдно, как дико было запрашивать больше того, что он сам заплатил. Он пустился в производство мыла. Дело было опасное, грозило тюрьмой, штрафами, принудительными работами в Германии. Этот риск и неожиданная свобода, которой он вдруг

начал пользоваться, — его оживили. Нужно было ездить за салом в Нормандию, за щёлоком в Монтаржи, проводить дни и ночи в редких, переполненных поездах или в случайных гостиницах, много есть и пить, праздную сделку.

Она поставляла ему сало и продавала готовое мыло, не мешая никогда любовное с деловым. Все чаще и чаще, возвращаясь в Париж, он оставался ночевать у нее, появляясь дома только для того, чтобы отдать заработанные деньги и переменить рубашку. Когда ее арестовали и поставили засаду на квартире, она успела его спасти. Маленький сын лавочника, у которого она покупала его любимое белое вино, ждал его несколько часов на углу. Ее судили, притоворили к тюрьме, и она не могла даже ему написать, боясь его выдать. В этот день он потерял не только благополучие, но и единственную в его жизни любовь.

Он уехал в Германию, подписав контракт с большой автомобильной фирмой. Все-таки он что-то мог послать на адрес квартиры из двух комнат с ванной и кухней около Булонского леса. Старался не ездить в отпуск. Раз приехал — и вдруг решил не идти домой. Нашел комнату в гостинице в чужом районе, ел по незнакомым ресторанам, ходил в ночные кабаки и каждый день приходил на знакомую улицу и смотрел в запыленные стекла окна, с которого уже кто-то содрал занавеску.

— Мадам получила пять лет! — сокрушенно сообщил лавочник. — У нее не только сало было. Сало? Это пустяки, а она отправляла людей в свободную зону. Выгодное дело, но опасное. — Он понял, почему у них было дорогое вино, почему на столике около кровати лежала коробка сигар.

Его не звали туда, на «зеленую» границу. Ему доставляли только сало для его мыла, за которое полагалось «три месяца условно».

С тех пор прошло два года. Здесь в Германии, стране, заселенной захваченными силой рабами, он был па-

радоксально свободен. В дни получек подписывал автоматически перевод на максимально разрешенную сумму. Раз в месяц писал вежливое письмо, на которое не всегда отвечали. Там, в Париже, торговали материями, губной помадой, зеленым кофе, но деньги продолжали брать, продолжая его презирать.

Казалось бы, так просто было бы перестать писать вежливые письма, не ездить в Париж, взять вот такую Маню-Марусю к себе, развестись, жениться, начать новую жизнь...

Все это он успел вспомнить и передумать за совсем коротенький срок, глядя по голове Марусю. Не мог же он гладить ее часами? Правда, бомбардировка прекратилась, и теперь улицы были полны рева сирен пожарных автомобилей и санитарных карет. Близки пожара на стенах траншеи поблекли и перестали метаться, превратившись в дымно-красные, почти неподвижные пятна.

— Кажется, кончается, — сказал он. — Вы на меня не сердитесь, Маруся?

— Нет, — ответила девушка, — вы хороший... другой бы не посмотрел...

— Ну идем. — Он взял ее за холодную руку и нагнувшись пошел к выходу траншеи, и она, как весь этот кошмарный вечер, покорно и доверчиво за ним пошла, и ему казалось, что он молодой и смелый, ловкий и свободный, и что вот за холодную руку ведет свое счастье, защищая его от неведомых и грозных опасностей...

*

Покосившийся домик из сказок Гримма был цел. Только осыпалась штукатурка с потолка, опрокинулся единственный стул и повалились фотографии на крошечном письменном столе.

Будильник разбудил его, усталого, разбитого, не понимающего, где он и что с ним делается. В первый раз за долгое время он не побрился, и толстая квартирная хозяйка не сварила ему кофе. Охая, почти причитая, она все же перед ним извинилась: кофе

входил в квартирную плату в тридцать марок в месяц. Она была честной старой вдовой, и господин инженер мог не беспокоиться: цену кофе она высчитывает из квартирной платы. А ночь была ужасная, и столько домов разбито, сожжено, столько людей погибло. По радио говорили, что Черчилль за все заплатит, и англичане будут после войны работать до тех пор, пока не отстроят всего, и что в общем каждая бомбардировка только ухудшает их участь.

Трамваи не ходили, и он долго шел знакомыми улицами, переставшими быть нарядными и спокойными, а вдруг обнажившимися и как бы застывшими в ночном ужасе.

Еще дымились пожары, и серый дым лениво тянулся к небу и сливался с серыми осенними тучами. Под ногами хрустело разбитое оконное стекло, безобразные воронки то и дело разрывали мостовую, и вырванные трамвайные рельсы, фантастически искривленные против всех законов сопротивления материалов, преграждали улицу. Знакомые дома лежали кучами разбитого кирпича или смотрели слепыми, почерневшими от огня окнами. В развалинах рылись пожарные и рабочие, ждали рядом санитарные автомобили, на носилках, закрытые брезентом, лежали неподвижные тела. Молчаливая толпа проходила мимо, спеша в конторы и мастерские, которые, может быть, тоже лежали в развалинах или дымились умирающим огнем ночного пожара.

Старый автомобильный завод бомбардировка не тронула. Только кое-где разбились окна, и рабочие уже вставляли новые стекла, а уборщицы, русские девочки, завезенные сюда в рабство, как много веков назад других русских девочек, девушек, женщин уводили в Крым, везли в Константинополь, вели на аркане в Хиву, продавали на алжирских рынках, — подметали осыпавшуюся штукатурку, стирали со столов мелкую серую пыль, протирали окна. Про ночь не говорили. Кое-кто пытался шутить, кое-кого не хватало, завтрак выдали

холодный, и за завтраком радио повторяло то, что говорила квартирная хозяйка. Но он не слышал ни шуток, ни радио, глотал рассеянно бутерброды с безвкусной военной колбасой, поминутно ошибался в вычислениях, никак не мог сосредоточиться на приборе для автоматического разогревания моторов.

Ночью он довёл Марусю до её булочной по пылающим улицам под вой сирен, возвещавших отбой.

Булочная стояла на месте, и семья булочника с чемоданами и узелками хлопотала у раскрытых черных дверей. Он даже не успел с ней проститься. Его благодарили, поздравляли. Он спас их Mädchen! «Гильда»... ему представили Гильду... «наша дочь нам рассказала, как вы ушли из бункера. Что поделать? Так хочет Фюрер, а мы должны ему подчиняться. Но пусть господин инженер нам поверит, что в стенах моего дома Maria очень счастлива. Булочник еще хозяин у себя в доме. Ха! Ха!»

Он попрощался со всеми за руку. Взял снова её руку. Хотел чуть-чуть пожать, но не пожал, а сказал по-русски:

— Можно к вам зайти?

— Ой, как же это? — испугалась она. Это «ой» она произнесла особенно по-ребячески смешно и трогательно.

— Да вот так, придю за хлебом.

— А они вдруг что подумают? Он строгий, хозяин мой, и так за кино побьет вместе с Гильдой. Уж лучше я к вам как-нибудь...

Он почти остолбенел от неожиданности и изумления. «К о мне? Неужели она не понимает, что говорит, эта женщина-ребенок, которую он только что целовал в траншее и от которой с трудом заставил себя отказаться». Продолжать говорить по-русски делалось неприличным. «Зайду завтра сюда и оставлю ей записку. Назначу свидание», — подумал он и начал прощаться по-немецки. — Позволю себе зайти к вам завтра, провести вас после такой ночи.

Потом долго пробирался к себе по вдруг ставшим неузнаваемыми ули-

цам, на которых полыхали пожары и суетились вдруг откуда-то появившиеся пожарные и подростки воздушной обороны.

А днём за чертежным столом думал о Марусе, и опять всё казалось очень простым. Вот он завтра или в первое же воскресенье снимет её своим аппаратом. Возьмет отпуск в Париж, и никто в Париже — под никто он подразумевал трех женщин из Булони — не будет знать, что он вернулся. Он найдет кого-нибудь из «Сопротивления», и ему сделают для Маруси французский паспорт. И тогда они уедут из этой проклятой страны, поедут в Ниццу, убегут в Испанию и оттуда в Алжир... И будет новая жизнь. Она наверное вскрикнет, когда первый раз увидит море: «Ой, как красиво!..» и только при этой мысли он таял от нежности, клал карандаш на стол и невидящим взглядом смотрел поверх доски.

— Устали, Herr Peter? — участливо спросил его старший инженер и, понизив голос почти до шопота, рассказал ему, что с его женой нервное потрясение и что её, вероятно, придется отправить в сумасшедший дом. — Война, — кончил инженер устало и как бы извиняясь, а он, думая о Марусе, ответил ему почти весело: — Ну, конечно, конечно, — как будто бы он тоже отлично знал, как знали все, может быть, кроме квартирной хозяйки и вчерашнего бой-скаута из бункера, что война давно проиграна и что сейчас происходит что-то совсем нелепое, никому не нужное и происходящее только потому, что есть вот такие смешные, злые и неумные люди, которые носят форму бой-скаута и верят, что англичане построят им новые дома лучше и комфортабельнее старых.

Инженер даже опешил и ушел, что-то бормоча. Должно быть, принял веселую улыбку за признак расстройства. Вечером прощались как всегда, по-немецки вежливо, не забывая пожелать спокойной ночи и выражая надежду увидеться на следующее утро... Уже было известно, что убит молодой чертежник, не пошедший на

фронт из-за начала туберкулеза, и ранен старый полный инженер, отказавшийся давать «Зимнюю помощь».

Улицы были почти прибраны, и худые, в полосатых кафтанах, похожих на дешевые пижамы, каторжане — или может быть узники концентрационных лагерей, — собирали в правильные кучки разбитый кирпич.

Дома ждала хозяйка. — Вам прислали ваши вещи из полиции, господин дипломированный инженер! — Она любила произносить его титул полностью, и ему всегда было смешно от этой немецкой манеры, совсем как «ваше сиятельство!» В чемоданчике была бритва, и бритва была для него самым дорогим предметом в этот вечер.

Он быстро побрился. В полумраке мансардной комнаты лицо казалось свежим и молодым. Он долго расправлял пальцами две глубокие морщины, скобкой шедшие от носа к подбородку и уже почти сходящиеся под ним, отчего он казался не частью своего лица, а чем-то чужим, вроде приставленного картонного носа, который мальчиком он надевал на масленицу и который делал его очень похожим на дядю, брата матери. Тогда все этому сходству очень поражались и говорили что-то не совсем тогда ему понятное о законах наследственности. Теперь чужим и картонным ему казался собственный подбородок и делал его похожим не на дядю Костю, а просто на пожилого уже и очень усталого человека.

Но когда он расправлял морщины, лицо делалось совсем молодым и непохожим на его обычное лицо, даже в молодости. Он нарочно достал из чемоданчика фотографию, снятую лет двадцать назад, когда он был студентом. С фотографии смотрело мальчишеское лицо с пухлыми губами и шапкой темных волос. Лицо показалось ему глупым, самоуверенным, почти наглым. Крахмальный, сломанный утлами воротничок, высокий, почти до шеи жилет, жемчужная булавка в галстук с цветочками — показались ему верхом дурного тона, как дурным тоном была эта шапка

волос — как это он мог не стричь их по-человечески? — и жалко смешные эти пухлые губы, старающиеся изобразить надменно-презрительную улыбку. Он вспомнил тридцатидвухлетнего студента его курса, на которого и он, и его товарищи смотрели с жалостливым ужасом. «Тридцать два года! Конченная жизнь!» Боже, до чего глупа и самонадеянна молодость! Он опять посмотрел в зеркало. Лицо показалось ему умным, одухотворенным, приветливым, даже красивым, если бы морщины-скобки его не старили. Он выбрал самый красивый галстук, лучшую рубашку, последний, еще очень приличный, выходной костюм, сшитый во времена торговли мьялом на черной бирже.

Вынимая костюм, вспомнил о женщине, которой скоро должно было быть пятьдесят, — возраст скрывала, но как-то сказала ему: какой ты еще ребенок... Впрочем, это могло относиться и не к возрасту. Она вот уже два года как сидела в Реннской тюрьме, и полгода он ей не писал. Стало чуть грустно и стыдно, что вот он сегодня такой счастливый, а она...

До булочной, где работала Маруся, было довольно далеко. Он шел быстрыми шагами, не обращая внимания на разрушенные дома, разбитые тортуары и мостовые, как-то совсем помолодому перепрыгивая через воронки или кучи кирпичей.

Он еще не решил, как и где с ней встретится. Это было возможно только вечером, но вечером квартирная хозяйка возилась вниз и могла заметить. Кроме того, старая деревянная лестница безжалостно скрипела. Услышит, откроет дверь, спросит: это вы, господин дипломированный инженер? увидит Марусю. В Германии хозяйки сдают комнаты одиноким мужчинам при условии, что у них не будет женских визитов. Это и неприлично, и портится мебель. В первый раз, когда ему сказали о мебели, он страшно хохотал, потом привык. Итак хозяйка запраждала вход на его мансарду, и нужно было искать чего-нибудь другого. Раньше он жил в гостинице, при которой действовал

дешевый бар и можно было заказать вареную картошку и черепаховый суп из какого-то порошка. Но зная хозяина, за несколько десятков марок можно было поужинать с вином и мясом в одной из комнат. Хозяина он знал хорошо: не откажет, если не испугается, что принял к себе «работницу с Востока». Можно будет сказать, что она французенка и даже говорить с ней, для вида, по-французски. Она просто не будет отвечать, только надо ее предупредить заранее. Интересно, понравится ли ей вино? Она, наверное, ничего не пила, кроме содовой воды и лимонада.

Обязательно нужно достать пирожных и купить у пленных французов побольше папирос. Пожалел, что отдал барышням из бюро привезенные из Парижа духи и роздал уже собранные во время отпуска среди русских дам вещи. Среди них был совершенно приличный еще и очень красивый по расцветке шерстяной жакетик. Маруся наверное бы ему обрадовалась. Но это все придет потом. Вот он скоро поедет в отпуск. Ну, а если начнется новая бомбардировка ночью, когда они будут вдвоем? Вдвоем? Он только теперь подумал, что он просто собирается провести с Марусей ночь в подозрительной гостинице. Но он ее не тронет, конечно. Они просто поужинают, и он будет любоваться ею, гладить по голове и говорить. Рассмотрит, наконец, ее глаза. А вдруг ей нельзя будет уйти из дома булочника? Впрочем, уйти всегда можно... когда хочешь. А ведь она сказала, что «уж лучше я к вам как-нибудь». Значит, захочет и придет. На ходу он машинально подтягивал кожу лица к ушам, и на него с удивлением оборачивались редкие прохожие. «Почему так мало людей на улице? Ах да, кинематографы закрыты из-за вчерашней бомбардировки. Лишь бы не было налета в тот вечер, когда она придет».

Вот ее булочная. Над дверью слабый синий фонарик и синий же свет струится из закрашенных окон. «При таком свете я буду похож на труп. Хотя внутри, конечно, обыкновенные

лампочки, только слабые. Ну и хорошо. Не увидят седеющих висков и картонного подбородка».

Совершенно глупо, по-мальчишески бьется сердце, и он долго не решается подняться по крутым ступенькам, которые ведут к синей двери.

Вот звякнул входной колокольчик. Но перед дверью еще какая-то прихожая, вроде квадратной палатки из темно-синей материи. Ну да, это для того, чтобы при открытой двери свет не проходил наружу. Как все это у немцев продумано. Хотя все это ни к чему. Расставят снова фонарики на небе — и будет светло, как днем. Он тихо откинул полотно палатки. Входите же! — раздраженно сказал по-немецки женский молодой голос. Это, наверное, Гильда.

Действительно, Гильда стояла у кассы и вопрошающе на него смотрела. Потом узнала и изобразила на лице вежливую улыбку.

— Ах, господин инженер. Как вы поживаете? Неужели они опять прилетят ночью?

— Не думаю, — ответил он, — где Мария?

— Ах. Это ужасно, господин инженер. Папа нас очень строго наказал вчера за кинематограф и отослал бедную Марию в лагерь при консервной фабрике.

— При какой консервной фабрике? — не понимая, переспросил он.

— Это здесь недалеко, — объяснила Гильда, — да она и записку вам оставила, что-то по-русски, — она вытащила из кармана сложенную вчетверо смятую бумажку. — Папа говорит, что ее там накажут. Вот вы пойдете по нашей улице направо и свернете во вторую, там вчера большой дом разбили. В фабрику тоже попали, двух полек убило и французского военнопленного.

Он рассеянно слушал Гильду, перебирая пальцами записку.

— Папа говорит, что все должны подчиняться законам и правилам и что он больше не может отвечать за Марию. Он говорит, что ей очень попадет на фабрике от господина обермана за то, что она сняла свой значок.

«Нужно немедленно пойти туда и поговорить с этими осликами», решил он и вспомнил, что еще не прочел записки. — Извините, пожалуйста, я хочу прочесть, что она пишет.

Он развернул бумажку, долго искал по карманам футляр с очками — последний год у него катастрофически начала развиваться дальноркость. Корявыми буквами — он с трудом разобрал и сначала подумал даже, что он ошибся, — карандашом Маруся писала: «Дорогой папаша.. Позвольте мне вас так называть»...

Письма о Канаде

НА НОВОЙ РОДИНЕ

Канаде — с любовью

«...и полюбил я всем сердцем и всею душой негромкую, тиховейную красу этой Божьей земли — земли деревянных домов, низких и высоких островерхих гор, бескрайних равнин, унылых тундр и густых лесов. И кажется мне, что это земля свободы и боления многих народов за личное счастье здесь, на Божьей земле...»

(Из частного письма)

Вся жизнь моя прошла в переездах да скитаниях, в революциях да войнах, ну и видел я довольно: Москва и Рим, Париж и Вена, Петербург и Венеция, Прага и Белград, Тифлис и Константинополь, Сталинград и Авиньон. Протекло полстолетия, как живу я на этой земле, где мы все живем. Хорошо сказал Роберт Фонтен, правильно сказал: «Очень короткое время мы на земле и очень долгое время будем мы под землей». Но пока мы на нашей земле, хочется говорить о ней и любить её. Говорить, потому что «радость человека в ответе уст его, и как хорошо слово во-время». А любить землю, потому что, как сказал Габриэль Скотт, она наш общий круглый стол, за которым сидим мы, дети земли, трапезуем, а потом каждого из нас позовет Вечность, с печалью положит он ложку, оторвется от хлеба и уйдет навсегда. И для меня и грустно и радостно, что короткое время, очень короткое, сидим мы вместе, пьем, едим и — хорошо, если дружески — побеседуем. Вот, видите ли, я очень люблю, как и вы, свою родину, и еще мальчонкой меня ужасно интересовало: а что иностранцы-то думают о моей родине, любят ли они её, чувствуют ли какую-то особую прелесть, которой дышала русская земля? Может и неверно будет их мнение, может и поверхностно, а все-таки будет в нём какая-то доля истины и правды. И вот, найдя

себе новую родину, новое отечество, я хочу говорить о нём.

Я люблю Канаду, люблю эту страну особенному. Мне легко ходить по ее земле, а знаете еще, почему? Потому что она такая юная в историческом смысле, молоденькая. А по Европе тяжело мне было ходить. Я ведь историк, и земля делалась подо мной прозрачной, и я видел слой за слоем в глубину, и слышал голоса прошлого. И прошлое входило в настоящее и давало ясное очертание формам будущего. Я бы не писал этих писем, дальше они будут попроще, без этих «хитросплетений и извития словес», если бы не любил этой страны. Любовь видит лучше, чем ненависть; смотрит дальше, чем отчаяние, замечает точнее, чем пристрастие. Человеку дает она возможность как-то приблизиться к истине, полнее постигать её.

Каждая страна имеет свою собственную тайну, свой смысл бытия, свою историю и судьбу и определение. Читал я сразу по приезде в Канаду приключенческий роман Макса Брандса и, прочтя: „Who now wish to do great good in a great name?“ — ответил самому себе: Канада.

Хорошо помню, как подходил пароход. Как качала мертвая зыбь океана и как спокойна могучая река св. Лаврентия. Было холодно, шел снег. Как встретит нас новое наше обиталище? Пространная, северу открытая, широкая страна?

И встретили нас хорошо, лучше, чем я ожидал. Холодно было после теплой Италии, откуда я уезжал, а ИРО-вское пальтишко на рыбьем меху — ситечко для канадского ветра. Встретила нас в Квебеке Канада теплым кофе и Библией. — «Ишь ты, дамы кофий делят, пей, сколько влезет, ничего не берут. И книжки делят». Я налился кофе по самое горлышко и взял Евангелие от Луки по-французски и по-английски. Так оно и есть: англо-саксон-

ская и романская культура формировали историю, стиль жизни и обычаи Канады. Убежав из страны, где бешенствовал большевизм, я видел что-то символическое в том, как меня встретила Канада: пища духовная и пища телесная. О-кей! Мы нуждаемся ведь и в одном и в другом. И как хорошо сказано в Библии: «Вино веселит сердце человека, хлеб укрепляет кости его». Кофе, верно, тогда не пили, подумал я. Это хорошо. Видно и здесь, как в старой России, много сердобольных людей. И тут вот спросила меня дама, предлагавшая уже не знаю какую по счету чашку кофе: „Do you like Canada?“ «Нравится вам Канада?» Я улыбнулся, мне стало и смешно и как-то радостно. Я ответил по-французски: «Минут 10 как я в Канаде. Я замерз. В море меня сильно качало, и сейчас еще Канада подо мной качается. Она встречает меня тепло, — я показал на кофе, — и первое лицо, какое я вижу, дружески улыбается, не так ли, m-me? Улыбка же на хорошеньком лице — подарок, который вам ничего не стоит, а мне доставляет мимолетную радость. Вот всё!» И пошел в таможню.

Нужно сказать, что в Канаде, как нигде, вас постоянно спрашивают, нравится ли вам Канада и любите ли вы Канаду. Это немного смешно, это трогательно, это хорошая черта! Чем-то молодым, неискушенно-открытым веет от нее.

Квебек город исторический и город в сущности старофранцузский. Сколько деревьев проходит через Квебек! И я почувствовал, что Канада страна деревьев. Это верно, часто в городах строят деревянные дома и люди состоятельные, потому что зимой земля сжимается и трескается, движутся её верхние слои, так что каменный дом, не очень большой, обыкновенно трескается и начинает обваливаться. Деревянный же эластичнее и вполне подходит к особенностям климата. Недаром и самое название Канада (Kanata) значит «бревенчатая хижина» по-индейски.

— Да иди же сюда! — кричал мой приятель, немецкий эмигрант, — иди скорей! Помоги мне! — Я побегал на его зов и что увидел! Вот так картинка! Немец и какой-то канадец (канадец был не только «под шафе», но просто до зелёного змия пьян) пытались поднять пьяную женщину, которая упорно хотела полежать и всячески выскальзывала из их рук. Она говорила: No, no . . . John! и больше она не говорила ничего. Я думаю, что их увёз полицейский автомобиль, чуть не прихватив и нас, ибо полиция действовала быстро и решительно. И хотя на миру и смерть красна, и

автомобиль был очень шикарный, с каким-то коническим фонариком на верху крыши, но мы все-таки не поехали. Я говорю об этой сцене, потому что она так важна, так характерна, увы, для многих городов и сёл Канады. Слишком много людей пьют и весьма часто чересчур напиваются. Алкоголизм и пьянство — очень опасная социальная болезнь моей новой родины.

2. ДОРОГИ НОВЫЕ

Удалось-таки попасть на работу. Я работал в партии по планировке новых дорог недалеко от озера Виннипег. Огромное это озеро, и, не знаю почему, мне вспомнилась наша холодная Ладога, мшистые берега наших озер и наш родной Север. Осень уже наложила свою мертвящую холодную руку на леса, поля и воды. В лесу было грустно, сыро, холодно, погода менялась. Дыхание огромных пространств воды, еще не вполне окованных льдом, проникало всюду. Озеро Виннипег — чуть не половина Чехии! Рыбные промыслы по берегам озера. Хорошую рыбу ловят здесь! Вдали чуть видные точки. Кажется, лёд затёр-таки некоторые рыбацьи корабли. В свободное время я ложился часто у костра, лицом в холодный мох, и думал о нашем Севере, о таком же ветре великих пространств, о зверье, не таком же, но похожем, думал о губастом сохатом (лосе), о ленивом, к осени ожиревшем топтыгине, о сером волке, что носил на себе русского Ивана Царевича. Я прикинул ухом к земле, думая что-то такое услышать, что-то понять, может быть, и в своей жизни, связанной вечными узами с землей, с лесом, со степью, с широкими реками, многоводными озёрами. По рождению я северянин, и вот мне показалось, что эта земля может стать моей новой родиной. Только лес был (или мне это казалось) какой-то более чахлый, тонкий; и сухостой и живые деревья редко были более 12-и, 17-и дюймов в поперечнике. Над головой часто кружились желтые дюралюминиевые птицы, и чувствовалось, что для Канады авиатранспорт имеет огромное значение.

Раз в неделю мы возвращались в город всей секцией. Город большой, а на девять десятых деревянный. Домики очень похожи один на другой, перед домиками садики, зеленая в инее трава или побуревшие остатки бывших газонов. Поразил меня в городе ветер. Город низкий, широко раскинувшийся миль на 15 во все стороны. И непрерывно бьют его крылья ветра, тёмного ветра ночей северного полюса. Продувает, пронизывает меня ветер, запахиваю я свое серое пальтишко и чувствую, что, когда

работаешь — теплее, весь в испарине, а тут холодно! Ишь, опять запорошил глаза пылью и всяким ошметнем злющий ветер. Город не очень чистый. Это вам не германский город; заборов много, свалочных мест сколько угодно, вот ветер и подметает и подымает и крутит и вихрит и мечет, что плохо лежит, и легкое, пыль да бумажки, и чёрт его знает, что...

Сегодня знаменательный день и даже очень! Знаменателен он в 1951 г. для меня: получил первые заработанные деньги. Как хорошо выглядят здесь деньги! Зелёный цвет, цвет надежды преобладает, а у меня все зелененькие, так и просил. После европейской грязной рвани, банкнотных билетиков, после югославских динаров и итальянских лир, приятно подержать в руках доллары. И внезапно с пронзающей грустью я вспоминаю слова моей матушки и её наставления: «Не мни, не мни деньги. Обращайся с ними бережно! Деньги не надо любить, но нужно уважать! Это символ концентрации труда и доверия. Уважая деньги, ты уважаешь людской труд и человеческую борьбу с материей. Деньги должны хорошо и красиво выглядеть...» Я бережно свернул кредитки и положил их в свой бумажник, поближе к сердцу.

ЦЕННОСТИ И ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ

Шел я от «спонсора». *) Строгий, холодный ветер упирался в меня непрерывным тугим потоком северного дыхания, а во мне звучали слова из «Гайяваты» о ветрах, и я щупал в кармане ИРО-вского пальтеца оставшиеся кредитки. Я задумался над судьбой цены и ценностей в истории. Многие философы размышляют об этом, а в нашей жизни все мы сталкиваемся с ценой и ценностью вещей, а пожалуй, и наших чувств и мыслей. В истории, мне кажется, сперва это была не только вещь, а живая вещь — животное, скот, рабы. После, в течение тысячелетий выдвигалась как ценность потенциально живая сущность: зерно, хлеб, рождающая его земля. Всё было от земли и для земли. А потом по всей сырой матушке земле пролился обильный золотой дождь, и бедные и богатые платили золотом да серебром. Золото не живое, но оно благородное, не ржавеющее. Оно металл, оно вещь. Теперь же, почитай с первой мировой войны, государства проглотили золото. Жадные, ненасытные государства срывали и обручальные кольца с пальцев своих граждан. Спит это золото теперь в подземельях, не звякает в конторках, не втекает в объёмистые или полупустые кошельки. Наше время есть время энерги-

ческого динамизма; это время сил, действующих на расстоянии, время символической мощи и власти, время бумаги и бумажек (где теперь разменивают... кредитные билеты на золото без ограничения суммы?). Всё прошло, и вихорь войн и поток крови унес в подземелья, вниз, поближе к сердцу земли, золотой запас граждан, в землю, в глубину.

Я опомнился, налетев на прохожих, которые ждали сигнала для перехода улицы. Бог мой, сколько света, сколько цветных реклам, и, к сожалению, большинство красных! Любят в Канаде красные рекламы. Может быть, после красной крови трёх революций я так не люблю красный цвет. Но куда же это я зашёл? Я таки прошёл свою квартиру. Хочется есть, зайдём в большой магазин. Сколько в нём всего съестного и какая замечательная, в сравнении с Европой, упаковка — красивая, практичная, прочная и удобная. Ходишь по магазину, накладываешь в лёгкую тележку товар, важно подъезжаешь к прилавку — и тебе всё уложат и упакут, а много накупил, так и на дом привезут. Чувствуется обилие, изобилие продуктов питания в этой стране. Правда, не всё так ароматично из овощей и фруктов, как в Европе. Я вспомнил слова злого остроумца серба, что «здесь фрукты без вкуса, цветы без аромата, а женщины без любви». Но это неверно! Конечно, многие фрукты привезены полузелёными и должны еще созревать, но всё добротное, свежее и, по-моему, вкусное. Во время работы в Сатр-ах, отелях, кафе меня поражало количество выбрасываемой в помойку неиспорченной пищи. Мое сердце просто сжималось, когда раз, например, повар приказал выбросить 57 блинчиков. Как бы их поели в Югославии, например, и во многих местах за железным занавесом, да пожалуй и итальянцы не побрезговали бы... После голодной Европы это обилие изобилия просто поражает. Это хорошо и это плохо. Мне говорили «больше выбросим, больше произведём, оборот будет живей», но я скажу вам, не с экономической точки зрения, я в ней очень мало понимаю, а... Не раз в жизни я жестоко голодал. Я рылся в помойках; я пальцем подбирал полузаплесневевшие крошки кукурузного хлеба, прижимая осторожно, чтобы не раскрошить эту едва видную хлебную малость. Всегда с волнением умиления и глубокого страха не только за себя, а за человека вообще и за все живые существа, я выговаривал тихо: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь». Не надо бросать хлеб! Я помню, как нянька в детстве,

*) Работодатель.

уронив кусок хлеба, целовала его, поднимая. Как у нас в семье, совершенно обеспеченной семье, мать учила уважать пищу, и я верю, что всё, что мы имеем, всё, что мы зарабатываем и добываем «в поте лица своего», или получаем как подарок, является даром Небесного Отца. Я не видел в Канаде ни разу того, что потрясало меня и проникало холодным ужасом до мозга костей: мужчин, женщин и детей, ищущих еды в рыночных отбросах и выгребных ямах. Это было в Европе, но это живёт в моем сердце, пока оно бьётся. Здесь, в Канаде, я не видел этого. Господь дал ей обилие пищи вместе с обилием труда. Может быть, это и было в 1932, 1936 году, когда была депрессия, но теперь я вижу сытую и богатую страну. Канада поразила меня не только сытостью своих граждан, множественном количестве автомобилей в руках среднего и низшего класса, но и множеством удобств и комфорта. Об этом — в следующем письме.

О КОМФОРТЕ И ДОБРЫХ ЛЮДЯХ

С раннего утра, иной раз и до поздней ночи без цента в кармане (я часто не брал денег с собой, чтобы не впасть в искушение сестр на автобус или выпить чашку кофе) я пешедралом — *per pedes apostolorum* — колесил по городу в поисках работы. Положение мое было хуже губернаторского. Зима. На ферме, в поле работы нет. Фермеры не принимают. У меня еще не было 180 отработанных дней и права на помощь безработным. Язык плохо знал, а что хуже всего — стар для Канады! Сколько раз на бирже труда, в разных учреждениях, мне говорили: «Очень жаль. Вы стары для нас. — *I'm sorry You are too old*».

Как я ругал самого себя и ИРОВО-ских чиновников, что дал точные сведения о своих годах после бегства в Италию. С какой печалью мне пришлось оставить найденную работу в CNR, где было так хорошо и где была паровая машина, которую я знаю и люблю. *Limit of age!* Возрастной ценз! Канада — страна молодых, но зимой на бирже труда я видел не мало и молодых безработных. Но я расскажу вам, как обстоит дело.

Окончив летние и осенние работы, сыновья фермеров съезжаются в Виннипег и занимают места на фабриках и заводах. Я же потерял работу как раз зимой, и по милости своего же соотечественника, моего ближайшего начальника, который знал «всё». Он знал славистику не только лучше, чем я, но лучше Шахматова и Ягича, знал прошлое, настоящее и будущее России. Я часто вспоминал Достоевского: «Дайте русскому мальчику карту звёздного

неба, и он сейчас же найдет в ней ошибки и внесет свои поправки». Он принадлежал к тем русским, которые ставили на немцев и не брезговали службой в Гестапо. Именно поэтому он всех обвинял в большевизме или в забвении национальности. Ни об одном человеке, русском или иностранце, он никогда не сказал доброго слова. Мне было особенно жаль, что свой соотечественник своему же пакостит. Итак, сей «муж добрый» заявил, что я не нужен для работы в канцелярии и к оной не способен. Канадцы покрутили головами и выпустили многогрешного раба Божия на подножный снежный корм. Вот тут-то я и заметался по городу и познакомился с Биржей труда, и со складами угля и с работой по очистке железнодорожных путей от снега и льда и т. д. и т. п.

Я действовал по плану: ни свет ни заря подымался и шёл колесить по городу. Сперва в мастерские, потом по больницам, потом по фабрикам консервов, потом по мебельным и т. д. План Виннипега был у меня всегда на моем сердце, и я таки выучил его хорошо. Когда учреждения закрывались, я отправлялся по форманам и боссам и мерил, уже закоченевшими от холода ногами, длинные прямые улицы, по которым свистал, шипел и победоносно носился мой невидимый враг — злобный ветер.

И вот теперь мне хочется рассказать о двух весьма важных и весьма хороших вещах: о комфорте и о добрых людях Канады. Замечательная вещь: автобусы греются и тепло в них, трамваи отапливаются. Если магазины открыты — можно забежать погреться. Если не очень спешишь, можно, как во время боя, итти «перебежками». Забежать в банк, а у украинского базара — в общественную уборную. Полотенца из бумаги! в Европе их нет, — совершенно бесплатные. Их можно было вытягивать из неплотно сжатых железных губ ящика, подкладывать под рубашку, защищая грудь и спину и полупустой живот от ледяных ударов напряженно дующего ветра. Я ненавидел ветер. Я ругал его на семи языках, а он только залихватски пошвыстывал и набрасывался на мое ИРОВО-ское пальто, тербил его, продувал его, а бумага не давала. Нравилось мне и погреть руки струей теплого воздуха, который вам высушит и согреет только что вымытые руки. Прижмешь рычажок, полился теплый воздух, и руки отошли. Хороши тоже и очень удивительны для меня, европейца, — электрические машины для чистки ботинок: бросишь 5 или 10 центов и вычистишь. Но я не бросал, а только любовался: одна

щетка глянец наводит, а другая кремом натирает, хочешь — желтым, хочешь — черным, какую кнопку прижмешь. Я ботинок не чистил, но как другие чистили — смотрел. Очень занято и комфортабельно.

Поезда тоже удобные и комфортабельные. От Дикси-стаканчиков для воды со льдом до мягких кресел в вагоне, где можно и поднять и опустить спинку и подножку. Нет тут третьего класса, всё мягонькое.

В автомобилях зимой тепло, летом прохладно — Air conditioned, как и в магазинах, отелях и даже многих домах. Нигде нет давки, сутолоки, хвостов, очередей, где столько забавных лиц, столько людей, доведенных ожиданием до иступления. В Канаде я часто встречал улыбающихся лица. Есть страны в Европе, где вы так редко встретите на улице или в канцелярии улыбку. А так важна улыбка для человеческого сердца!.. Она освещает лицо и отражается в вас отсветом чего-то приятного и мимолётно светлого. Когда нет солнца, весь пейзаж кажется совершенно другим, а проглнуло солнышко — и вся природа иная, а ведь те же воды, те же поля, те же леса. Так бывает и с улыбкой на многих лицах. И дети весёлые, самостоятельные, даже слишком самостоятельные граждане Канады; тоже бегают и шумят и веселятся как и наши; и их улыбки сливаются с улыбками взрослых лиц. Конечно, улыбка это свет сердца, и это хорошо. Мне особенно запомнились три улыбки: рабочего, который хотел меня одеть потеплее; толстого дедушки, который придержал мне дверь, и одной очень любезной и очень хорошенькой барышни в конторе: она старалась помочь мне устроиться на работу и так добродушно и сочувственно улыбалась, что мне стало тепло и приятно...

Уверю вас, что именно бобылёк больше всего ценит, хоть часто и выразить не умеет, дружескую теплоту общения, доброту среди людей. Мне захотелось рассказать вам о товарище по работе, который старательно выбирал мне кирку, принес свои тёплые сапоги, и раз, ужасно ругаясь по-английски, шупал мои прозябшие ноги в тонких брюках и быстро стаскивал свой двойной комбинезон. Это был англичанин, рожденный в Канаде. Мне хочется вспомнить, я не только тронут, но мне грустно, грустно и радостно говорить о моем хозяине, по происхождению поляке-канадце, в доме которого я снимал комнатку в бытность мою в Виннипеге. Он-таки подкармливал меня и приносил из своей лавочки то мясо, то мороженое, то звал на обед, а после 11-ти часов, когда я выходил из комнаты, он, озираясь, чтобы его не заме-

тили, приносил прекрасные яблоки, клал их на стол и моментально убегал. Когда я однажды, по глупой и тупой гордости, отказался взять мясо и еще что-то и захотел заплатить, он выбросил мясо в помойку и страшно обиделся. Я постарался заглядеть свою ошибку, а он, обняв меня, сказал: — «Не надо быть слишком гордым, не по-Божески! Вы обижаете друзей! Я сам голодал. Я много лет тяжело работал. Разве мне не помогали? А это и не помощь, а так... Это вам Канада даёт...»

МАДАМ ТЕНАРДЬЕ

Вы помните кто была мадам Тенардьё? Эта грузная, слоноподобная, могучая жена разбойника и сама разбойник? Ну, та самая, которая мучила малютку Козетту и всё заставляла носить тяжёлые ведра с водой, чистить и убирать. Одно из блестяще удавшихся лиц романа «Отверженные» Гюго. Я так подробно остановился на ней потому, что даже в современной Франции многие молодые плохо знают Виктора Гюго и не помнят героев его знаменитых романов. Я встретил мадам Тенардьё в Канаде, в одном из кварталов Виннипега.

Зубы, как слоновая кость, клыкастые. Плечи и руки могучие, ступни длинные. Бока крутые. Она чуть не свернула мне шею, ибо я был виноват...

Наступила новая весна, и я как-то втиснулся в прачешную-гладильно-чистильню. Место было плохое. Я получал проценты от собранного с определённых улиц на краю города белья, одежды, занавесок, которые увозил в нашу прачешную в большом, грузном, зеленомордом автомобиле. Хуже всего было то, что я управлять машиной не умею, и львиную долю давали шофёру, равно как и лучшие улицы. Меня посылали (он посылал) туда, где плохой «улов», так, на всякий случай. С почему-то бьющимся сердцем подходил я к деревянным домам и стучал в двери. Двери открывались, выходили хозяйка или прислуга, и мы объяснялись. Я совал листок с ценами нашей прачешной и, главное, уверял, что всё будет сделано отлично, и через день мы всё привезём сами на квартиру. Ну-с, поехали мы как-то в недурной район. Шофер остановил машину перед зданием, где была парикмахерская, кафе и сияющая красивой вывеской Laundry*) «Вот, сказал он мне, предательски улыбаясь. попробуйте-ка пройти по этой улице по обеим сторонам, до конца, она уходит в поле и парк; а так к 2-м часам я заеду за вами в парикмахерскую. Вы в парикмахерской можете и позавтракать».

*) Прачешная.

Улица была ничего себе. Виллы и садики. Домики чистенькие. Ведь их часто моют пожарной кишкой, от крыши до фундамента. Летом, конечно, зимой не моют, уверяю вас! Зимой в Виннипеге такая стужа, что, как сказал бы Зощенко, удивительно даже подумать: из первых рук, прямо с Северного полюса, приходит холодный воздух.

Ну-с, вынул я свою железную коробку с завтраком, попросил разрешения у парикмахера её оставить в уголке. Я нашел ей скромное место, ибо в ней был скромный завтрак, главным образом состоявший из водянистого чая. Чай был не в коробке, а в термосе, а термос в коробке. Это я говорю для ясности. Впрочем, русский язык всё терпит. Спорили же когда-то наши писатели, можно ли сказать «перед ним стояла чашка с давно выпитым кофе». Устроив своё пропитание и нежно похлопав по крышке коробки, я устремился вперед по заманчивой улице.

Приблизительно в два часа я вернулся, голодный и довольный — улов был не плохой, моя книжка пестрела адресами — в парикмахерскую, собираясь вкусить легкой пищи и найти наш зелёный автомобиль.

Хозяин парикмахерской достригал какого-то вихрастого субъекта. В парикмахерской было тепло-пре тепло. Пахло духами и шампунем. Глотнув теплого воздуха, я даже крикнул после мороза, словно выпил косушку. И вот, когда я направился в уголок, из боковых дверей с шумом и звоном стекол, каким-то вихревым движением влетела м-ме Тенардье. Именно влетела. Она встала на середине между двумя дверями, отрезая мне всякое отступление. В ее правой руке была, кажется, скалка. Точно сказать я не могу, ибо она вращалась, производя свистящий шум. Ветер шел от неё. Субъект слез со стула, а парикмахер бросил свою машинку на окно, и они оба моментально ретировались. Куда они ушли, я не знаю, но они исчезли. Я стал отступать. Мадам Тенардье наступала медленно, зная, что пути к настоящему отступлению она отрезала. Когда войска теряют дух, отступление прекращается в бегство. Но куда мне было бежать? «О мадам», — кричал я в отчаянии. — «О мадам, что случилось? Не могу ли я помочь вам?» Это слово её взорвало, а не успокоило, она кинулась на меня, размахивая своим оружием. Я увернулся и поставил перед ней сразу два стула. Ударом могучей ноги она отбросила их в угол, крича: «Подло собирать бельё в чужом районе! Я проучу вас!» Её быстрый язык произносил много ругательств. Я их выпущу, но их было много.

— Мадам! — кричал я, увертываясь, — Мадам! я не виноват!

— Это ваш дедушка собирал здесь бельё, а не вы? Вы теперь и будете его собирать с вашим дедушкой!

Тут я увидел, что приходит мой конец. Вместо неизвестного мне оружия, скалки или мешалки, появилась длинная щетка, дальнобойная и увесистая. Я не успел увернуться и получил хороший удар в правое плечо. Что делать, думал я, о, Росте, что делать?

Она вогнала меня к себе в Laundry, желая доканать и истребить противника на своей территории. Я подпрыгнул в воздух, как прыгал когда-то через верёвочку.

— Мадам! — кричал я, — я иностранец! Я не виноват, я не знал!.. Злой человек вовлек меня в это... Когда я сказал «wicked man», я поскользнулся и упал. Теперь подумал я, пиши к праотцам! Если такая туша навалится, она меня задавит. Упав, я закрыл голову руками. Конечно, я мог ухватить ее за ноги, бросить в нее стулом, мог, наконец, лягаться, но я боялся канадских законов и вообще никогда не дрался с женщинами. К моей радости, я не ощутил ударов, но могучие руки подняли меня с пола и внесли в помещение, где был запах пара, утюгов и какое-то зеленое платье танцевало, надутое теплым воздухом для просушки на одной из механических вешалок. Я люблю зеленый цвет, это цвет надежды и мира. Потом я как-то очутился в прилежащей кухне. Я сидел на мягком стуле, а против меня, руки в боки, как красный самовар, стояла мадам Тенардье. Её растрепанные волосы обрамляли потное, но уже добродушное лицо. И она советовала мне успокоиться, выпить кофе, (кофе действительно стоял на столе), кушать кукиес (печенье) и рассказать все без утайки, что я конечно и сделал. «О, сказала она спокойно, я собственноручно проучу этого человека, он больше никогда не придет сюда!» Да, подумал я несколько злобно, он больше не сможет приехать сюда! Щелкнул замок двери в парикмахерской, и я увидел, как робко, но с достоинством вошел парикмахер и стал приводить в порядок не поле битвы, а ристалище, ибо я бегал, а не сражался. А мой мерзавец шофер так и не приехал. Ему дали знать «по телеграфу», что его ожидает. «Я самостоятельная женщина, говорила мадам Тенардье, я признаю лояльную конкуренцию, но не вторжение же в мой район!» Она расспрашивала меня, откуда я приехал, как я попал в Laundry и даже раз сказала: «джентльмен, такой как вы...» Потом быстро стащила с меня пиджак, вычистила

его как следует и посоветовала мне пока что заняться печеньем с большим вниманием. Печенья было очень много, и можно было есть и не бояться, что будет видно, сколько съел. Пока я занимался печеньем, наполнились чашки кофе. Мадам Тенардье не забывала и себя. Она пила кофе из чашки, — лоханки. На таких чашках в России была коварная надпись: «Выкушай еще одну» или «Больше не могу». Но мадам Тенардье могла! Мы познакомились. Она спросила, не может ли она мне чем-нибудь помочь в смысле устройства и чтобы я наднях опять навестил её, уже как добрый знакомый. Ткнув пальцем в дырку на обшлагах моих панталон, она спросила, есть ли кто, кто позаботился бы обо мне. Я был тронут и как-то размягчен после этого «рукопашного боя», и мне захотелось рассказать ей все мои неудачи, беды, несчастия, трудности, приключения, но я не сделал этого. Я надел свое «продуваль» пальто (вы помните у Лескова были плащи «непромокабель?»), поблагодарил её искренно за повторное приглашение и, к её приятному изумлению, галантно поцеловал её могучую руку. Мадам Тенардье тогда мельком взглянула в зеркало и стала поправлять растрепанные волосы. Она приосанилась и в третий раз сказала, чтобы обязательно заходил. „Thanks a lot! Спасибо!“ ответил я, ухарски надел свою «землегреческую» шляпу и пошел отсчитывать мили к своему домику в улочке, недалеко от бегущего по крыше парламента золотого мальчика.

НЕЧТО О ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ

В этих письмах друзьям о Канаде, мне обычно хочется не только сообщить нечто, но и поговорить. Я пишу фразу и слышу ответ на нее от моего друга. Это письмо о языке. Вот тут-то бы и развернуться и хорошим языком поговорить о языке.

Дорогие мои *countrymen*-ы: и россияне, в рассеянии сущие, и канадцы, английский язык — прекрасный язык! Мне кажется он особенно прекрасным, потому что я его не очень хорошо понимаю. Уверю вас, что это не шутка. Пока я полупонимал итальянские песни, более угадывая приблизительный смысл, они казались мне еще прекраснее, ибо были окутаны дымкой таинственности, а музыка окрыляла фантазию. Так *fanciulla con occhi celesti* была для меня девушка с небесными глазами, а не голубыми и т. д. Словом, английский язык весьма прекрасен, богат и для всех приезжающих в Канаду совершенно необходим, почти так же необходим, как молодость и здоровье, ибо без здоровья в Кана-

де каюк, а без молодости — «I'm sorry, you are too old... Age limit»... и прочие, полезные для Канады, но нам неприятные вещи.

Когда я высадился вместе с новоприобретенными приятелями немцами в Квебеке, я страшно возгордился: — вот, говорил я, мысленно ударяя себя в грудь и посматривая гоголем в зеркальную витрину, — вот какие мы! И океан переплыли и великолепно здесь объясняемся. Переводчиками здесь служим! Действительно, я водил немецкую компанию по Квебеку и говорил по-французски, и меня понимали, что не очень удивительно, ибо Квебек французский город, хороший город. Но моя гордая самоуверенность разлетелась, «как дым, как утренний туман». Я увидел не только обширность Канады, но и то, что в ней преобладает англо-саксонская культура и английский язык.

В Канаде господствует так называемый *slang*, (жаргон). Это несколько испорченный, или, вежливо сказать, измененный английский язык, где вместо «твенти» (20) вы услышите «твани» или «твони» *gonna gotta* и т. п. Дело не только в произношении, но и в значении. *Guу*, например, это не веревка, не цепь, а это парень. *Wampum* это не ожерелье, а деньги, жалованье. А уж сокращений, глотаний слогов так много, что я удивляюсь, как они не проглотят собственный язык. Бывают и прекомичные сцены: один другого не понимает и спрашивает: „How du you spell“ («Как это пишется?»)

О культуре, которую вытесняет, гонит из дому, её младшая сестра, технически совершенная цивилизация!

Большой ученый заметил однажды, что культура творит стиль, создает новую форму религии, выдвигает аристократию духа и общества, порождает великие философские системы. Цивилизация — это техника, комфорт, массовые зрелища, отмирание большой музыки.

В Канаде веет ветер новой цивилизации, буйный, порывисто-торопливый, насыщенный новым, он обрывает нежные лепестки с цветов культуры и уносит их всё дальше в бездны глубочайшего океана, который мы называем прошлое; в нем остановились волны, всё замерло и всё уже недвижимо.

Лет 400 тому назад Жак Картье подарил Канаду французской короне, а вскоре и английские корабли подошли к её неизведанным еще берегам и вошли и стали на якорь в новых бухтах, новой, влекущей к себе тайнами, земли. Так в Канаде на огромном пространстве половины Северной Америки, столкнулись две могучих евро-

пейских культуры: романская и англо-саксонская. Сперва они столкнулись на том, кто больше вывезет шкур бобровых, енотовых, песцовых, лисьих, волчьих и медвежьих; потом — кому владеть великими озёрами, кто построит крепости и т. д. и т. д. В начале второй половины 18 века политическая и военная борьба в Канаде окончилась победой Англии. Конечно, канадским французам были предоставлены разные права и, пожалуй, привилегии. И теперь, для получения канадского гражданства вы должны знать немного историю Канады и говорить (объясняться) на одном из двух государственных языков, по-английски или по-французски. Такие большие города как Монреаль или Квебек, на 3/4 говорят по-французски, имеют свои университеты и колледжи, свою прессу и свою католическую веру. Но всё же Канада уже давно не французская, а с юга вместе с потоком капитала наступает могучей стеной американская культура, цивилизация, обычаи, моды и весь уклад и строй США. И вот brave канадцы и вдумчивые иностранцы сталкиваются с этими тремя течениями, с тремя формами культуры и цивилизации: английской, французской и американской. Летом на улицах больших городов, в воскресный день, вы можете встретить интеллигентных и пожилых мужчин, одетых в какие-то шелковые кимоно с красными драконами по серому полю. Студенты ходят в белых с красными, желтыми и синими полосами куртках, на которых написано название университета или провинции. Шляпы с огромными полями, как будто бы из прерий дикого запада, красуются на головах степенных папаш. Множество дам и помоложе и постарше, тощих и довольно полненьких, фланкируют в панталонах, напоминающих наши матросские штаны; если же им жарко, они и в трусики оденутся! Это веяние духа Америки; организация колледжей, университетов, полиции, парламента, суда (не везде), мне кажется, находится более всего под влиянием английской культуры. Спорт тоже носит характер англо-саксонский. Торговля, строительство, машины, организация работ — главным образом, США. Английская культура и цивилизация имеют в себе больше упорной напряженности, больше почтения к традиции, больше практичности и живой работоспособности, чем романская культура. Они меньше умеют сибаритствовать, а больше создавать. Эта культура не любит революций, но, раз вырвав *Magna Charta Libertatum*, она цело держит её и совершенствует. Мне думается, что для моей новой родины луч-

ше всего как можно более стараться подчерпнуть и удержать из сокровищницы английской культуры. Есть в ней живая творческая самобытность подхода ко всем явлениям духа и природы, будь это вера или сталь, суд или спорт. Если бы в день Страшного суда Господь стал спрашивать дух каждой нации, что он дал для вечности, для всех людей на земле, то *old Merry England* могла бы со спокойной гордостью ответить: свободу и джентльменство. И если мы вдумаемся в существо жизни каждого общества, каждого содружества, да пожалуй и всякой семьи, то настоящая, правильно понимаемая свобода и джентльменство, как честное благородство, как поддержка и достоинство, разве не являются основой их счастья и благосостояния? Я думаю, что англо-саксонский дух и американская богатая предприимчивость и способствовали стремительному развитию моей новой родины, Канады. Цифры говорят сухо, но убедительно. В довоенный год произведено на 6 миллионов сельскохозяйственных машин. В 1952 году Канада их произвела уже на 107 миллионов. Или: 90 процентов мирового никеля дает Канада. И это без всяких кровавых пятiletок, и ни одна из пятiletок не дала ничего подобного в смысле стремительности, роста производительных сил страны, без всяких «болезней роста» и фальшивок партийной статистики. С каким-то восторгом и радостью за Канаду и человеческий труд, за свободное творчество, я глядел, как строятся и растут её молодые города, и часто, совсем один, а бывало и с полупустым желудком, гуляя по парку, я с радостным наслаждением смотрел на глазастые автомобили, что мчались непрерывным потоком, разнося зажиточных собственников, сытых, хорошо оплачиваемых рабчиков. Не раз я шептал по-латыни: „*Amor ut lacrima, ab oculo oritur, in pectus cadit*“ а потом: „*Vivat crescat et floreat, patria nova*.“

Л Е Д И

В Канаде женщина защищена законом гораздо более, чем мужчина. Она фактически имеет более привилегированное положение *en masse* и пользуется рядом льгот и послаблений довольно искусно. Может быть это случилось потому, что на заре возникновения Канады, как новой колонии, в нее приезжали почти исключительно мужчины, и женщины были редкими гостями в юной Канаде. Вы вероятно знаете, но я напомним, как в 17 веке пришлось во Франции кликнуть клич и призвать (не добровольно-принудительно, а добровольно вполне!) к эмиграции в Кана-

ду молодых французов, желающих попытать счастья на новой земле и найти там себе по сердцу жениха. Король (в отличие от Хрущева в наши дни) каждой девушке давал особое приданое и бесплатный проезд до Канадской «целины». Их так тогда и называли «королевскими девушками». И поехало в 17 веке 1000 молодых французов в далёкую, сурово холодную страну лесов и великих озёр, в страну мягких мехов и таинственных индейцев. И все французики нашли себе мужей и вышли замуж вскоре по приезде, и началась новая жизнь, отражающая в своих формах остатки французского феодализма, который еще не вполне умер в 17 веке. Его прикончила великая французская революция после 1789 г. Я заговорил об этом эпизоде в истории Канады, потому что он показывает, как мало было женщин в Канаде и нужно было особенными путями добывать их, как редкое золото. И повелось с тех пор (да и под влиянием английского джентльменства и *politesse française*, что дамы в Канаде — на особом положении. Во время зимнего периода безработицы (ибо труднее всего найти работу в Канаде зимой, даже на западе) на бирже труда часто пустует женское отделение и кто не привередничает и не брезгает работой, всегда может получить работу, будучи особой женского пола. И обращение на бирже труда с дамами всех возрастов особое — им, например, никогда не отказывают по возрасту (*to old for us . . .* слишком стары для нас). Оно, конечно, старых дам не бывает, выражаясь по Диккенсу, леди могут быть весьма юные, юные, молодые и, в крайнем случае, «несколько утратившие свою юность».

В Канаде юных леди называют *pretty little thing*. Это обыкновенно относится к барышням, но случилось слышать и о замужних дамах. Почему они «хорошенькие маленькие вещи» — я не знаю. Англичане говорят так, это их леди, и им карты в руки. Барышни не обижаются, что их называют так. Мне кажется, что их здесь подкупает слово *pretty*. Как бы то ни было, если они и суть «вещицы», то чертовски важные «вещицы» в Канаде.

В Канаде разные леди. Кроме ди-пи — ну, о них мы говорить не будем, — вы встречаете английских, ирландских, американских и французских дам. Трудно говорить об особой форме, в которую вылился тип канадской женщины. Робость и страх не угодить хотя бы одной из них, — плохие помощники. Однако, была не была!.. Леди здесь любят носить частенько несколько фантастические одеяния (для

нас, европейцев), в особенности, — занимаясь разными видами спорта. Цвета кричащие, и многие блузки весьма оригинальны. На балы они одеваются подобно европейским леди. Мажутся чуть меньше итальянок. В зеркальце смотрятся всегда с удовольствием и очень следят за прическами. Красят ногти и на руках и на ногах. Леди, как я уже упоминал, любят носить панталоны. На балы в панталонах не являются, но на танцульки приходят. Я думаю, что они часто могут быть прекрасными работницами, но случается, что им нравится немного лениться. Они весьма преданы вере, и при церквах существуют общества дам, которые устраивают чаи «в пользу»...

Кроме того, они горячо любят „pets“ «любимцев»-животных: кошек, собак и т. д. Для любимцев покупают игрушки, мячики, кости из резины и т. д.

Они социально заняты, преданы общественной кружковщине: играют в бридж, заботятся о своём пасторе, занимаются благотворительностью и т. д. Когда одна из их подруг ждет ребенка, они устраивают *baby-shower* (смотрины даров для будущего ребенка) заранее. Это очень трогательно и чрезвычайно практично и удобно для будущей мамы, ибо она знает, каким приданым будет располагать для *baby*. У одной из подруг устраивается чай, на который приглашается будущая мамаша и все дарящие. В корзину складывается заранее принесенные и прекрасно упакованные подарки и подарочки. На них карточки с аистом, ребёночком в пелёнках, в колыбельке и т. п. с трогательными и весьма искусно подобранными пожеланиями и надписями. Конечно, всю эту трогательность можно купить в магазине, ибо о всём позаботился практичный англо-саксонский дух.

Леди любят чистоту и очень заботятся о гигиене. Они заняты и всюду успевают. Многие из них имеют свой *hobby* — «конёк», любимое занятие. Они очень гордятся своей страной, но, к сожалению, иногда не достаточно знают её историю, молодую литературу и европейскую (английскую и французскую) культуру. Я имел не раз беседование с дамами, окончившими среднюю школу, каковые никак не могли вспомнить, кто был Лауренс Стерн и что он написал. О Виллиаме Шекспире они говорят всегда с глубоким почтением. Видно, что искренно его почитают, но читали очень давно и мало. Часто леди очень ловко и вежливо уклонялись от разговора такого типа, и гораздо чаще это были англо-саксонки, чем французские леди. Мне кажется, что литература, как искусство, как насыщенный хлеб для души и сердца, а не забава и приятное

препровождение времени, — редко их занимает.

Дамы обладают здесь в большинстве случаев большим практическим смыслом. Две весьма образованные дамы заметили одному европейцу: «Вы ухаживаете совсем иначе, чем это делают обыкновенно у нас. Вы ухаживаете не потому, что вы влюблены, не для того, чтобы приблизиться или получить что-то, вы просто хотите сделать нам приятное. Канадцы не любят этого, это европейская манера». Однако, я полагаю, что манеры мужчин связаны незримыми нитями с тайными желаниями женских сердец. А может быть я и ошибся?..

ЛЮБИМЦЫ

Когда я думаю о канадских леди, я всегда думаю о «pets-ax», а когда я думаю о их «pets-ax» (любимое животное), я всегда думаю о леди. Леди и животные — любимцы Канады. Происхождение слова «pets» — фаворит, любимец — мне не известно. В Канаде, как и в Соединенных Штатах, существует не мало роскошных больниц с целым штатом докторов, санитаров и санитарок, обслуживающих больных и немощных кошечек, собачек, попугайчиков, обезьянок, черепах и прочую фауну. Если собаку, Боже упаси, повредит автомобиль, то обычно собственник отвезёт её спешно в больницу. Удивляйтесь: есть и автомобиль для скорой помощи животным, который можно вызвать из больницы для животных; платно или бесплатно, уж не знаю можете получить и консультацию. Леди очень серьезно толкуют о всех пищеварительных органах своих pets-ов, о том, как они спали, о их нервной системе, сердечных и прочих переживаниях, не говоря уже о гигиене и пище. Во многих магазинах есть специальные игрушки из резины — кости, мячики, — всё для «петсов». В каждой лавчонке вы можете найти целый ассортимент консервов с витаминами, — мясных, овсяночных и пр., для собак отдельно, для кошек отдельно и т. д. Когда мне пришлось однажды потуже подтянуть пояс, я питался этими консервами, чтоб им неладно было! Лаять по-собачьи и мяукать по-кошачьи я от этого не стал...

Я знал одну американку, пышную, величественную, богатую леди. Ей было известно всё о «петсах», что может знать человеческий ум. Благоразумная, она посвятила всю свою жизнь вопросу «петсов» и их правам. Сия леди написала более четырнадцати книг о положении домашних животных в разных странах и, наконец, приехала в Югославию посмотреть, как в ней обращаются с домашними животными. Тут её чуть

не хватил кондрашка, потому что в Югославии с животными обращаются довольно примитивно и сурово. Я заметил великодушную покровительницу, соглашаясь со всем, что она говорила о важности домашних животных, — что всё же они для людей, а не люди для них. «У них есть свои права. Я защищаю их права!» — сказала леди. «Но если у них есть права», возразил я, «то есть ли у них какие-нибудь обязанности?» Леди вспыхнула, как порох от прикосновения огня, и сказала, что я или бессердечен или просто софист. С первым я не согласился, заметив, что она с первого моего взгляда завоевала моё сердце, но, что я софист, я должен был признать и переменить разговор. Лет 80 тому назад один из величайших гениев всех времён и народов коснулся этого вопроса. Я говорю о статье Достоевского в «Дневнике писателя». В ней он описывает, как фельдшер бьет ямщика в шею и затылок могучим кулаком, а ямщик отвечает на удар жесточайшим ударом по лошади. Достоевский очень любил животных (вы помните описание орла, козла, лошади, медведя?). Он старался убедить читателей в основной истине: пока человек по отношению к человеку будет жесток, трудно говорить о защите и о настоящей любви к животным.

Я люблю животных. Особенно собак, белок, оленей и бобров. Но иной раз, глядя, как целуют взасос злобномордатых болонок, слюнявых мопсов человеческие уста, как дама выговаривает собачьей сиделке за недостаток внимания к «петсу», мне иной раз делалось грустно и противно. В больших городах Российской империи не раз видел я недовольное лицо горничной, в платке на плечах, зябко топчущейся, пока огромный борзой кобель, натягивая туго-натянутого ремня, совершал свои потребности или гарцовал. «Не надо, чтобы человек служил животному. Служил, а не заботился о нём. Это может унижать человека», — говорила мне моя покойная мать, указывая глазами на такие сценки. В Канаде мало прислуги, и «петсы» обычно на руках своих хозяев. Люди побогаче платят немало ветеринарам.

Много месяцев я работал в Национальном парке Канады, в большом отеле. К осени зверье стало подходить ближе к отелю. С вечера у мусорной ямы, у бидонов и железных баков и мусорниц собирались черные мишки. Это еще не плохо. Плохо то, что, ища кусочка повкуснее и пожирнее, топтыгины стали переворачивать баки с мусором, катать их с истинным остервенением. А раз устроили такой дебош и драку, что шеф послал меня «водворить порядок».

Я вспомнил приказ Петра Великого о фендриках-дебоширах и его совет «бити оных нещадно». Во всеоружии — в переднике и с „pushbrush“ я вылез и разогнал черных посетителей черного крыльца. Так было не раз. Но вот однажды, выйдя «для порядка» и замахнувшись шваброй, я получил афронт. Огромный, в сажень, мишка ринулся на меня. Тут я вспомнил сербскую поговорку: «Беглеца мамаша не заплачет, а храбреца Стояна плачет и рыдает»; на короткие расстояния я бегаю не дурно. Это была молниеносная „tuning party“. Испуганный, позеленевший ди-пи и черный великан. Может быть, он просто был голоден и хотел посмотреть, на что годе ди-пи? Не знаю, но он бежал быстро и ревел. Я бежал тоже быстро и чуть не ревел. На четверть секунды я был быстрее и захлопнул первую дверь из легких досок. Миша снес ее, как лепесток, одним загребом лапищи. Я запер с треском вторую, железную, дверь. Тут миша взревел, встал на дыбочки и царапнул решетку. Но я уже только смеялся, хотя коленки дрожали, в этом признаюсь вам. Потом пошел «пожаловаться» шефу и предложил проучить мишку киятком из ведра. — «Нет, что вы! Нельзя обижать животных!» — возмутился шеф. «Ну, а если они того... обижают людей?!» „Be careful. That's all“, — ответил спокойно шеф. («Будь осторожен. Вот и все».)

У ОХОТНИКА НА СЕВЕРЕ

«Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь и не знаешь, откуда приходит и куда уходит он; так бывает со всяким рожденным от Духа», — вспоминалось мне из русского перевода Евангелия. Но когда я изучал оригинальный текст, то убедился, что большинство крупнейших ученых переводят здесь не «дух дышит», а «ветер веет, где он хочет». Да, ветер дует, где он хочет! По пути в Канаду наш пароход два дня боролся против ветра. Мы тогда стояли на месте. Ветер был сильнее машин, ветер не пускал нас. Это было как бы предзнаменование, знак того, что на новой родине мне придется встретиться с ветром. Помню, ах, как хорошо помню, да и чувствую даже, прошедшие дни безработицы! Жил я тогда в деревянном домике, на самом верху, в крохотной однооконной комнатке-мансарде. В комнате не было холодно, отапливалась она теплым воздухом через отдушины в стенах и полу.

За год до моего приезда было большое наводнение. Red River (Красная река — называется так из-за цвета глины) выступила из берегов, наводнила город, снесла множество домов; ну, а мой домик строну-

ла с места, и он наклонился, оттого и потолок в моей комнате покатым, и выходить легче, а входить труднее. Так оно и было. Легче было идти искать работу рано утром, чем возвращаться, не найдя ничего, усталыми натруженными ногами — к себе, домой.

Тогда я очень много думал о ветре, о черном ветре, который потрясал стены моей мансарды, а иногда колебал всю верхнюю часть дома.

Вспоминались мне и звучали по-новому насыщенные грустью одиночества, плачущим отчаянием горького горя строчки поэта:

Как не бросить всё на свете,
Не отчаяться во всем,
Если в гости ходит ветер,
Только дикий, черный ветер,
Сотрясающий мой дом.

Из окна я видел освещенные северным сиянием, как кровавым заревом северного пожара, холодным и жутким, ели и лиственные деревья, борющиеся с ветром; видел, как многорукий ветер стигал в тугие луки гибкие деревья. Стигал и улетал дальше, чтобы вернуться и закружиться белыми воронками по снегу и постучать невидимыми длинными пальцами в окошко.

Я боролся с ветром и уехав на север, поближе к вечно раскачиваемой колыбели ветра, сделанной, как мне казалось, из прозрачного черного хрусталя заполярных льдов. Уже кончаются леса и ползут какие-то кустистые низкорослые поросли. На тропочках, пробитых полярными зайцами, песцами, лисицами да волками, ставим мы — мой хозяин и я — силки и капканы. Дважды обходим мы, утром и перед сумерками, свои западни и вынимаем из силков задавленную дичь, окоченевшие трупы и трупы. Раз, идя по тропочке, я чуть не оступился. Хозяин покачал головой: — Смотри, берегись! Если попадешь в капкан, тебя не вытащишь. Так и пропадешь!

Я складываю добычу в мешок и тащу, спотыкаясь о кочки и выбоины, домой, в хижину, где нет печи, а чорт знает что такое, сделанное из половины бензиновой бочки, обмазанной внутри глиной и покрытой дырчатым железным листом. Там, зажегши свечи (керосин вышел), мы потрошим полуоттаявшие трупы и снимаем с них шкуры, стараясь их не запачкать и не повредить. Иногда висят на всех стенах кровавые, похожие на каких-то чортиков, тельца зайцев; на распорках сушатся их шкурки, тоже кровавые, а во мраке (после работы рано нужно ложиться спать) мечутся при догорающем свете нашего огня изломанные, кошмарные, чудные тени. Живой жизнью мечутся эти тени убитых зве-

рей, и приходит ветер, могучий и холодный, и охватывает весь домик, и трясет его, и вылетает пепел из нашей печки, и взлетают звездочки искр, и странно, как-то необыкновенно, по-новому воспринимаю я ветер, который мне на родине казался дыханием свободы и теперь кажется мощным и свободным дыханием кого-то великого и гневного, безмерно протяженного, кто царит и свободно дышит, где хочет, в снегах и льдах моей новой родины. „You are in the big free country, aren't you? Aren't you free...!“

... Я вспоминаю, как мы мыли посуду в какой-то лохани, в которой хозяин мыл свои руки после чистки винчестера и любезно предложил мне вымыть мою поврежденную ногу.

Я гляжу через сумрак комнаты на наш завал у дверей. Нет дверей у нашей хибаки, а нечто вроде дверей, завешенных мешками. Хозяин прислушивается, скрипит постель: хорош ли завал, не придут ли медведи? Не размечут ли нашу баррикаду? Он зажигает огарок и притягивает ближе винчестер, лежащий около постели. По полу сильно тянет от «дверей», и мне лень опустить руку к ледяному стволу. И вспоминаю я давно написанные строки миссионера 17 века, что больше всего, живя с индейцами в вигваме, он страдал от жары и от холода, от близкого костра и от близкого холода. То обожжёшь ноги, то отморозишь. А у меня настоящая постель, и не лижут меня и не возятся на моей спине индейские собаки. Нет, им было гораздо труднее. А ведь они, эти миссионеры и пионеры, охотники и искатели новых путей, пробили и мне дорогу сюда и дали возможность хоть уже и под старость свободно бороться за «пан или пропал».

Воеет что-то такое, ветер ли? Нет, волки... И стужа темная, густая стужа, и черный ветер делается холоднее, острее.

И что-то злобно надрывистое и тайное, кровавое и хищное носится, бродит там, за оконцем, по снегу. Мне кажется, что у него нет тела и оно не оставит потом следов за собой.

Хозяин кряхтит и злобно плюет на пол и на печку. Кто-то из нас должен встать, подложить тонких дровец и кусков чего-то вроде угля на одетые в серую пушистую шерстку пепла головешки нашего очага. Я встаю, снимаю лист с верха нашей бочки-печи и подбрасываю дровец... Надо подуть; слетает шерстка пепла. Радостный, живой заструился огонь; жадный, он быстро скушает хрустящие сухие конфетки, нужно ему подложить чего-нибудь посырее и по-существеннее. На лист я ставлю чайник

с талой снежной водой и швыряю в него пригоршни чая. Хорошо бывает выпить тёплое, лежа комфортабельно, до самого рассвета! Не замело бы только санки! Куда мы положили лыжи?... А дрема, выйдя из теплого круга, трепещущего у печки, одолевает меня, и надо мной проносятся на крыльях черного ветра узоры снов юности.

ПРИРОДА И ДУША

Но что нам делать с розовой зарей
Над голубыми небесами?

Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать.
Мгновение бежит неудержимо.

Н. Гумилев

Зима в Национальном парке Канады. Зелень сосен и елей в снегу. Только быстрина Bow-River, врезавшись в лед, мчится вперед и не дается морозу. Рано и быстро скрывается солнце за цепью гор. Но еще долго струится золотое, розовое и алое сияние. Облиты розовым светом конусы гор; словно золотой лентой обвита сверкающая диадема над Rundle Mountain. Вонзилось розовое, легкое, рдеющее облачное копье в шапку Cathedral Mountain. А там скалы белеют, стремнины синеют и чернеют, и по бокам ближних массивов малосенькие на расстоянии, но такие дружные, взявшись за руки, бегут темнозеленые ели. Белый, синий, розовый снег. Небо холодное, спокойное, прозрачное в своей голубизне. Я смотрю на белый снег вокруг меня. Я опускаю глаза вниз, ибо слишком прекрасно наверху и на высотах, и внезапно вспоминаю «Федона» — лебединую песнь Сократа. Так он и сказал в своей предсмертной беседе Симбасу и Цебесу: хоть это и предсмертная песнь, но она не печальная, а ликующая. И лебедь не в тоске предсмертной, а, радуясь, поет свою предсмертную песнь, — говорил Сократ. Какая же птица от холода, голода или боли запоет? И поет лебедь, радуясь, что уходит из этой жизни, он, посвященный Аполлону.

Я знаю, что скоро умрут краски. И от этой сверкающей и быстро преходящей красоты мне больно, и я всё смотрю на снег и вспоминаю и слышу, чую, осязаю душой слова Сократа, слова мудреца мудрецов, о душе, какая она должна быть: божественная, чистая и простая. Такова и мудрость Сократа, как красота нетленной и мимолетной, вечной и умирающей зари. Таков и снег. Белый снег, бело-чистый, нетронутый простой — он прекрасен!

Вверху далёкой тучкой проступает звезда. Только влево островерхая чалма одной единственной горы еще розовеет. Вдали слышен протяжно ноющий гу-

док. Скоро придет поезд. А вот рядом, ярдах в 20-ти, несколько лосей роются в снегу и бодают бидоны с мусором. Топтыгин, частый осенний гость здесь, теперь спит во все носовые завёртки и посасывает лапу. Бобр волнуется, чтобы не промёрз до дна его пруд и чтобы в нижнем этаже в сохранности были приготовлены запасы палок с корой. Белочки спят, и укачивает их, как в люльке, мерно ритмичное туда-сюда движение ствола. Ветвисторогие олени и тонконогие косули ушли за густой ельник, спрятались от потянувшего холода.

Велика, ах, велика Канада! Широка земля прерий и огромных лесов, обширных полей, диких тундр; трехокеанская земля! Ты одна дышишь воздухом трех океанов. Я всегда вспоминаю это с каким-то гордым умилением: Северно-Ледовитый, Атлантический, Тихий. А всё-таки континентальный климат в тебе преобладает, с коротко-острым переходом в зиму. Сколько людей из разных стран Европы боролись за своё и твоё счастье. И когда я смотрю на твои «столбики, рельсы, мосты», проезжая в

удобном поезде, я думаю об усилиях тех многочисленных и безимянных, кто строил дороги, возводил насыпи, наводил мосты. Как люди и лошади, надрываясь, выкорчевывали деревья. Как годами жили в землянках. Как храбро бились за своё счастье и за твоё. О, моя юная земля!..

Наступила тишина, и мне было грустно и радостно. Грустно, потому что я не увижу могучего позднего возраста этого леса, как и не увижу во всей силе развития нового поколения и размаха моей новой родины. Всех она нас приемлет и всех терпит и всем помогает. Горжусь я ею, такой по истине терпимой, где и юркий китаец, и торгово-деловитый грек, и славянин-украинец, и старательный немец, и живой француз, и аккуратный англичанин находят себе свободу и новый дом. Я знаю, что слишком коротки отсчитанные мне судьбою годы и дни для творческой жизни на этой земле. Радуюсь я, что хороша, что прекрасна моя новая родина и что мы все любим её, надеемся, верим в её расцвет и в её судьбу.

В ПОИСКАХ ВЫХОДА

(К итогам 2-го съезда советских писателей)

1.

Русский человек не раз на протяжении веков задавал себе вопрос «что делать?» Особенно остро встал этот вопрос в 19 веке. Чернышевскому, выражавшему думы многих интеллигентов своего времени, казалось, что он нашел пути к обновлению общества и к уничтожению несправедливости. Но в 1902 году Ленин вновь вопрошал: «Что делать?». «Что делать?» — повторяет тот же вопрос философ Франк, ища — уже в эмиграции — смысла жизни и способа переделки мира, «чтобы осуществить в нем абсолютную правду и абсолютный смысл».

Начиная с 40-х годов прошлого века, многие русские люди видели оправдание своей жизни в разрушении старого порядка путем революционного насилия. Эти настроения нашли отражение в русской реалистической литературе. Но тургеневский Базаров далек от достижения поставленной им цели. Чтобы сохранить идеализм своего героя, Тургеневу пришлось обречь его на смерть.

Цели, однако, достигли другие, и революция разразилась. Почти религией стало разрушение старого, веками сложившегося. Началась борьба за место под солнцем, за новую жизнь. «Из мира жизни, из мира прозы мы взброшены в невероятность», писал Брюсов. Маяковский еще в феврале 1917 года провозглашал:

«Граждане!

Сегодня рушится тысячелетнее
«прежде».

Сегодня пересматривается миров
основа...»

(«Революция»).

Но все надежды поэта: «до последней пуговицы в одежде жизнь переделаем снова» — рухнули. «Атакующий класс», залил кровью поля и улицы России, зашел в туши. Старое было разрушено, но в новом

не оказалось ничего привлекательного. По словам С. Франка, «Жизнь не стала осмысленной, но на место прежней... относительно налаженной и устроенной жизни, которая давала, по крайней мере, возможность искать лучшего, наступила полная и совершенная бессмыслица, хаос крови, ненависти, зла и нелепости» («Смысл жизни», стр. 28).

Пройдя через период почти звериной ненависти ко всему, что принадлежало к иному, не их миру, устав от проделанной разрушительной работы, люди обратились к настоящему.

Может быть, в первые дни революции Маяковский искренне верил в созидательную силу советской власти. Но в последней своей неоконченной поэме «Во весь голос» он обращается уже через голову своей эпохи — к далекому будущему. В настоящем он не видел смысла — и... выстрелом в сердце положил конец бессмысленной нелепости, в которую коммунистическая действительность превратила его жизнь.

Не один Маяковский почувствовал пустоту и серость советской жизни: идеала общественного, который всегда видела перед собой русская интеллигенция, — нет. Романтика первых революционных лет развеяна, — сердце Данко упало в болото, и тысячи грубых, тяжелых сапог затоптали его. Писатели переживали тяжелое время унификации, окончательного уничтожения еще сохранившихся остатков литературных школ. Отказ от индивидуальности, необходимость писать, зная, что все будет подвергнуто строжайшей цензуре, стремление приспособиться к требованиям партийной идеологии — не замедлили сказаться на общем состоянии литературы. Все произведения этого периода — тяжелые, нудные, от которых устало отворачивались читатели.

Первый Съезд советских писателей поставил перед многими старый вопрос — что делать? — писать согласно директивам или замолчать совсем? До каких пор имеет писатель право считать себя подлинным художником, если он перестает быть свободным и должен подчинять ход своих мыслей единой, не допускающей отклонений линии!

Перед писателем встали четыре судьбы — уход во внутреннюю эмиграцию (во внешнюю эмиграцию уйти после двадцатых годов уже было невозможно), что означало полный отказ от публичной писательской деятельности; открытое сопротивление власти, что неминуемо кончилось бы расстрелом или ссылкой; полное освобождение от принуждения путем самоубийства — путь, которым последовал Есенин, Маяковский, Андрей Соколов, Марина Цветаева; и последняя судьба — продолжать писать. Но как? Этот путь раздваивается. Одни пишут, подчиняясь в основном, во внешнем, партийному приказу. Часто они применяют эзоповский язык, часто стремятся высказывать свои мысли, вставляя фразы для мимики, для создания впечатления у пытливого цензора, что в общем — все правильно, все в порядке. Тот читатель, который умеет за внешностью различить подлинную идею автора, увидел ее в таких произведениях, как «За правое дело» Гроссмана, «Русский лес» Леонова, «В родном городе» Некрасова. У одного за ярлыком фашизма спрятана картина всей идейной опустошенности, коммунизма; у другого под словами о коммунизме кроется его мечта об ином устройстве жизни, когда станет возможным осуществление «красоты во всем». У третьего под видом борьбы с «уклонистами» от линии партии — открытый протест против советской системы травли людей, против опутывания их сетями клеветы, против навешивания ярлыков, против дикого, бесчеловечного отношения к людям, пробывшим в оккупации.

Советские читатели привыкли искать истинную мысль за словами. «А мы всегда читаем не только то, что написано, а больше ищем, что там за словами стоит», — говорит садовник Самосад, один из персонажей последней пьесы Корнейчука «Крылья». И вот для такого и ради такого читателю продолжают писать многие советские писатели, вопреки цензуре и партийному надзору.

Но есть и другая категория: это люди, отдавшие свое перо на службу пропаганде, требованиям правящей верхушки. Это Сурков, Гладков, Бубеннов, Бабаевский,

Тихонов и другие. Но в обстановке безысходности задыхаются, видимо, почти все. Наступает какой-то час, когда даже верные исполнители партийных заказов, преуспевающие на службе у пробравшейся к власти группы диктаторов, такие писатели, как Эренбург, Корнейчук и Симонов, чувствуют потребность говорить открыто о том, мимо чего они ранее проходили молча.

Корнейчук, желая попасть в тон после-сталинскому руководству, которое, как Маленков и его сторонники, не скрывало своего критического отношения к прежним методам управления, заставляет своего героя Ромодана говорить: ... «Разве мы не видели всех безобразий, что творились? Разве мы не думали? Но часто закрывали глаза, так как больше служили, чем руководили, как надо». («Крылья», Новый Мир, № 11, 54). Это направление, поддерживаемое одно время сверху, приняло такие широкие размеры, что власть увидела необходимость положить конец растущему обличению. Под видом борьбы с недостатками, мешающими якобы правильному развитию советского строя, многие писатели перешли к разоблачению всей советской системы. Второй съезд писателей должен был выполнить ту же роль, что и первый — подчинить писателей воле партийной верхушки и указать им точные рамки, в которых должна протекать их деятельность.

Писатели и партийное руководство страны начали усиленную подготовку ко второму съезду — но с противоположных позиций. 1954 год, может быть, наиболее интересный за все последнее двадцатилетие в советской литературе. В 54 году развернулась полукрытая борьба писателей с властью, борьба стремлений к свободе с попытками урезать, задушить эти стремления. Борьба осложнялась еще и тем, что, объявив новый поход против все усиливающегося критического отношения народа и писателей к власти и ее действиям, верхний слой партийного руководства старался заставить широкие слои населения поверить в свою либеральность.

Игра в либерализм становилась все опаснее, но опасность ее тщательно скрывалась обеими сторонами. Коллективное руководство разрешило себе провести интересный эксперимент: уверить писателей в своем благосклонном отношении ко всякого рода критическим высказываниям, сатирическим произведениям, выявлению недостатков в системе властвования и в поведении коммунистов. Но в то же время ответственные за моральное состояние советского на-

селения чиновники отдела пропаганды желали установить, до какой степени им удалось подчинить психологию человека требованию тоталитарной системы и убить в нем способность к самостоятельному мышлению, стремление к свободе. Для президиума ЦК партии вопрос стоял — насколько он может полагаться на население и в какой мере может ему доверять.

Результаты такой политики ослабления вождей причинили, вероятно, не мало неприятных минут партийному руководству. Ему пришлось убедиться, что так называемая «идейная сила» коммунистической партии — иллюзорное самоуспокаивание. На самом деле подчинение народа власти и его послушание покоится только на страхе перед судом, милицией, репрессиями. Стоило только ослабить давление, как сразу же обнаружилось идейное крушение советской власти.

Не один советский писатель, даже, казалось бы, из самых благонадежных, задавал себе вопрос, который так занимал в 30 годы французского писателя Андре Мальро — возможно ли сохранить все свойства свободной личности, подчинив ее полностью коллективу? Одно время Мальро думал, что в Советском Союзе найдено разрешение этой проблемы. Вероятно, верили или пытались верить в это также и многие советские писатели. Им, как и Мальро, казалось, что вера в свою политическую миссию, может помочь человеку преодолеть себя и растворить свое я, подчинив себя другим людям.

Однако, Мальро уже к концу 30-х годов увидел на основании своих наблюдений над жизнью в Советском Союзе, что в условиях коммунистической диктатуры личность приносится в жертву интересам партийной верхушки, которая злоупотребляет героизмом и верой в идею отдельных своих членов, заставляя их жертвовать своей жизнью там, где она находит это нужным. В романе «Надежда» конца 30-х годов Мальро возвращается к признанию свободы человеческой личности как высшей ценности. То, о чем Мальро мог говорить открыто, также тревожило многих русских подсоветских писателей. Но они были лишены возможности высказать свое мнение вслух.

Предсъездовская дискуссия, произведения обличительного направления, которое было задумано властью как сатирическое, но неожиданно обернулось против нее же, приоткрыли завесу над тем количеством проблем, которые занимали как будто полностью подчинившихся партийной идеологии писателей, выполняющих заказ прави-

тельства. Авторам надоели и публицистические памфлеты типа эренбургского «Девятого вала», и сухие, неубедительные, натянутые восторги Бабаевского перед коммунистическим будущим в виде электрофицированной станицы Родниковской, по улицам которой будет проложена канализация, и однообразные и нудные «Товарищи по оружию» Симонова.

Советские писатели и драматурги с удовольствием воспользовались разрешением критиковать недостатки. Выяснилось, что советские писатели прекрасно видят все материальные неудобства советской жизни, все эти нескончаемые эксперименты, при которых «не хотят колхозники выращивать овощи»... (Роевой), в селах «Сады рубят, пасеки уничтожают... коров распродают... на усадьбах бурьян...» (Варвара, «Крылья», Корнейчук). Писатели прекрасно понимают, что «так продолжаться не может» (Варвара, «Крылья»), что за ненормальную систему, губящую все хозяйство огромной страны, «все отвечать должны: и снизу, а еще больше — сверху» (Соха, «Крылья»). Произведения последних лет показывают, что советские писатели умеют видеть все, что творится перед их глазами. Решили они говорить о язвах, разъедающих советский строй, по различным причинам. Одни стремились, воспользовавшись кратким периодом ослабления нажима, скорее высказать все, что накопилось на душе; другие — угодить новому постсталинскому руководству; третьи, может быть, еще тешат себя надеждой на возможность эволюционного развития коммунистической партии и пытаются, говоря об уродствах советской действительности, удалить эти уродства.

Самое главное то, что глаза писателей открыты, и они видят, что «идейные руководители» народа — в действительности бездумные карьеристы. «Вождизм развел вашу душу, и в ней лишь презрение к людям, к их хлопотам и заботам», говорит Ромодан партийному бюрократу Дремлюге («Крылья»). Видят они и крушение всех надежд человека на свою будущность. Юность всегда при любых условиях живет мечтами о своей будущей творческой деятельности, о дружбе, любви, благородстве.

«Он ждал труда, как воздуха и корма:
Чертить, мять в пальцах, красить
что-нибудь...

Колонки логарифмов, буквы формул
Пошли за ним из школы в дальний путь.
Макеты сцен, не иггранных в театре,
Модели шхун, не пльвших никуда...
Его мечты хватили б жизни на три
И на три века, — так он ждал труда».

— пишет Павел Антокольский о своем погибшем на войне сыне («Сын», 1943 г.) Во что же выливаются все эти мечты и надежды? При советском строе и насильственно насаждаемой партийной идеологии для большинства молодежи открыт только один путь — путь Володи Пухова. Молодые люди при первом же соприкосновении с жизнью убеждаются, что «Ведь все лавируют, хитрят, врут, одни умнее, другие глупее...» («Оттепель», Эренбург). Не находят они успокоения и в искусстве, потому что «теперь все кричат об искусстве и никто его не любит — такая эпоха»... (Володя Пухов). Они видят вокруг себя обман, клевету, ложь. Может быть, они ежедневно задают себе старый проклятый вопрос: что делать? Но молчат. «Почему я не сказал ему в лицо, что он клеветает? Вероятно, я привык молчать — присмотрелся к дряни» (инженер Коротеев, «Оттепель»). Все понимают, что против такого строя, при котором люди «глубоко несчастны», как говорит артистка Танечка, нужно бороться, нужно работать по-своему, «не уступить, делать то, что человек чувствует». Но сил не хватает. Поэтому советские молодые люди чувствуют «где-то внутри такой холод», что их не может согреть и весенний день. И как недостижимый идеал манит мечта: «Если в человеке есть благородство, он не собьется, выйдет на большую дорогу» (Коротеев, «Оттепель»).

К сожалению, одного благородства не всегда достаточно. Созданное системой партийного тоталитаризма отсутствие свободы двигаться, жить, творить, коверкает людей, — так исковерканы, например, Володя Пухов и артистка Танечка.

«Кирюша, друг мой, кто тебя искалечил?» — говорит Ромодан своему старому другу Вернигора, который, в силу обстоятельств, чтобы не потерять средств к существованию, вынужден был подчиниться проводимой властью колхозной политике. Вернигора когда-то любил сельское хозяйство, мечтал об усовершенствовании методов его ведения, читал рассуждения Колумеллы. Но все это в прошлом. Теперь: «Жить не хочется... бумажная душа перед тобой. Чинуша проклятый!.. Скрутил меня... а потом сломал...» — говорит Вернигора Ромодану.

И когда люди доведены системой и ее исполнителями до отчаяния, им нужен друг, который сказал бы, как Танечка Володе Пухову, слова утешения: — «Володя, не нужно падать духом. Я тоже часто бываю в таком состоянии. Руки опускаются... но тогда я начинаю думать, что все может сразу перемениться...» Дружба,

одно из высших человеческих чувств, также претерпела изменения в атмосфере страха и ощущения какой-то подсознательной вины перед властью, от которого часто не могут избавиться подсоветские люди. Проблему измелчания, понятия дружбы в советских условиях ставит Константин Симонов в своей новой книге стихов. Он с горечью говорит о друзьях в кавычках:

«Едва ошибся человек,
Как сразу — им в привычку —
Уж тянут, тянут руки вверх
Его друзья в кавычках.
Один — чтоб первым осудить
На первом же собрании,
Другой — чтоб всех предупредить,
Что он все знал заранее...» («Друг-приятель», Октябрь, № 11, 54).

Таких псевдо-друзей Симонов предлагает сразу же отстранить от себя — «из сердца сделать вычерк!» Но что делать с третьим, который «как будто без кавычек?» Этот «сегодня как вчера, рубашкою поделится». Но в случае несчастья с другом, попавшим в немилость к власти, на публичном собрании свой голос

«подаст он все же за
Тот самый строгий выговор,
Что хоть и не положен
И все тому подобное...
Но раз уже предложен,
То против — неудобно!»

Стихотворение Симонова — это картина морального растрепанного души человеческой, которого так страстно добиваются руководящие круги коммунистической партии. Человек понимает, что он должен встать и громко заявить протест против клеветы и попирания человеческого достоинства своего друга. Но страх перед тем, чтобы то же самое не случилось с ним самим, удерживает его «на собрании»

Сказать о мнении собственном
Перед голосованием.

Это стихотворение похоже на авторскую исповедь:

«... Случается,
что я и ты
бываем этим
третьим...»

— так заканчивает свое извинение перед каким-то преданным им другом Симонов.

Желание высказать, наконец, собственное мнение особенно отчетливо проявил Александр Твардовский в поэме «За далью — даль». Твардовский различает без труда то, что «дорого и любо» душе его всегда: «Желанье той счастливой встречи
С тобой иль с кем-нибудь иным,
Где жар живой, правдивой речи,
А не вранья холодный дым.

Где все твое незаменимо,
И есть за что тебя любить,
И ты тот самый, тот любимый,
Каким еще мечтаешь быть».
(«За далью даль», Новый мир, №6, 53).

Но этим настоящим, искренним, всеми любимым поэтом ему мешает стать то безликое, давящее, жестокое и непонимающее, именуемое политбюро или президиумом ЦК, олицетворенное в поэме редактором. Нигде нет от него спасения: от Бреста до Владивостока — всюду преследует писателя тень партийного цензора.

«— Ты думал — что? Что ты уехал
И от меня? Нет, милый, нет.
Мы и в пути с тобой соседи,
И все я слышу в полусне»...
— говорит этот партийный цензор раз-
мечтавшемуся о свободе поэту.

«— Мне было попросту занято,
Смотрю: ну до чего хорош,
Ну как горяч невероятно,
Как смел! И как ты на попятный
От самого себя пойдешь.
Как, позабавившись игрою,
Ударил сам себе отбой.
Зачем? Затем, что я с тобою —
Всегда, везде — редактор твой».

Партийная цензура уверена, что некоторые писатели уже никогда не решатся дать полный ход своим стремлениям к освобождению от давящего на них партийного надзора. Редактор, разговаривающий с поэтом в поэме Твардовского, заявляет:

... «Я все препоручаю
Тебе и твоему перу.
Мне самому-то нет расчета
Корпеть, черкать, судьбу кляня.
Понятно? Всю мою работу
Ты исполняешь за меня.
... Все так. И я тобой доволен.
И не нарадуюсь, поверь.
Я всем тебя предпочитаю,
Примером ставлю: вот поэт,
Кого я просто не читаю:
Тут опасаться нужды нет».

Но несмотря на это внешнее самоуничтожение, в поэте все сильнее растет возмущение против гнета чиновников и цензоров от министерства мозга. Растет и его сопротивление:

... «Но тут его прервал я разом:
— Поговорил — слезай долой.
В каком ни есть ты важном чине,
Но я тебе не подчинен...»

Твардовский говорит о разнице, существующей между творчеством писателя, когда

... «Не на виду еще, поэт
Творит свой подвиг одиноко,
Заветный свой хранит секрет».

Когда же он уже «отовсюду виден стал», когда от него ждут выполнения партийного заказа и он не творит, а пишет по указке, тогда в его книгах «Недостовверны мысли, чувства,

Ты смотришь в них — не те, не те...

И все вокруг мертво и пусто

И тошно в этой пустоте».

Точно стало многим — раздались голова за искренность в литературе, за единство в сердце, за борьбу против разъедающих сознание двух правд, вернее — правды и партийной лжи. Искренность «обнимает и разум, и совесть, и склонность — многое, чего даже нельзя объяснить», писал В. Померанцев в статье, неожиданной смелостью положений вызвавшей целую бурю негодования среди партийного руководства и его идеологических приспешников, которые увидели, что покорность советских писателей режиму — неискренняя, деланная, что их протест ожидает только удобной минуты, чтобы прорваться, и что власти следует опасаться писателей. «Все, что по шаблону, все, что не от автора, — это искренне», — говорит Померанцев, и тысячи писателей и читателей согласны с ним.

2.

Готовясь ко второму съезду, писатели надеялись, что им наконец удастся поговорить о литературе. Но и в отношении к литературе как и во всей экономической системе страны, все ощутительнее начала сказываться борьба двух направлений в коллективном руководстве. Поэтому и статья Эренбурга «О работе писателя» (Знамя, № 10, 53 г.) и статья Померанцева «Об искренности в литературе» вначале не вызвали ответной реакции. Партийные идеологи старались создать впечатление о полном изменении политического курса в постсталинский период. Первое, о чем заявили писатели, — о своем праве на свободу творчества. «Вряд ли может существовать писатель настолько безличный и настолько ко всему безразличный, что ему нужно подсказывать, о чем он должен писать. Да и нужны ли кому-нибудь книги, рожденные не горением автора, а разверсткой, исходящей от редакции журнала?» — спрашивает Эренбург, отмечая в то же время, что произведения советских писателей, написанные по заказу, не интересуют читателей, которые плачут над «Анной Карениной» и явно предпочитают Льва Толстого и Чехова современным советским писателям.

«Никто не заинтересован в искусстве, обманывающем народ», пишет Эренбург в

ноябре 53 года и предлагает «припомнить некоторые слова, почти вышедшие из оборота: призывание, вдохновение, служение». Необходимо отметить, что во время последовавшей вскоре дискриминации писателей, драматургов и критиков, воспользовавшихся позволением «глубоко и правдиво отображать нашу действительность в литературе», не упоминается эта статья Эренбурга, а все ядовитые стрелы критиков по заданию президиума ЦК направлены на Померанцева.

Власть закрывала глаза на факт отступничества Эренбурга — вернейшего пропагандиста партийной идеологии. По всей вероятности, борющиеся между собой две группы в партийных верхах еще не уяснили себе тогда, на чью же сторону склонится окончательно Эренбург.

Мысли, занимавшие Эренбурга и Померанцева в их статьях, опубликованных в конце 53 года, нашли выражение и в выступлениях некоторых писателей на втором съезде. Протест против духовной диктатуры, против лишения писателя свободы — воздуха, которым он дышит, прозвучал с трибуны Колонного зала Дома союзов в речах Вениамина Каверина, Мариэтты Шагинян, Ольги Берггольц, Маргариты Алигер, Михаила Шолохова. Мариэтта Шагинян, касаясь доклада Рюрикова о советской критике, заметила, что из поля зрения главного редактора «Литературной газеты», так же как и из поля зрения советских присяжных критиков, выпал сам объект — художественная литература. Из слов Мариэтты Шагинян о «конъюнктурности» советской критики легко можно было понять ее собственное истинное отношение к методу партийной критики. Шагинян не сказала прямо, что задача советской критики — вешать ярлыки на произведения советских писателей — соответствует линии партийной верхушки в настоящее время» или «не соответствует» и посему должно быть объявлено обывательским, непартийным, вредным, порочным, слабым и тому подобным. Но Шагинян открыто говорит: «сегодня роман расценивается критикой, а за него библиотекарями, издательствами, редакторами, как хороший. Завтра появляется оценка его в прессе, как плохого, и вдруг, словно по волшебству, меняется все вокруг. Те, кто защищал и хвалил роман, выступают против него. Библиотекари, издательства и редакторы подчиняются приговору, как если бы речь шла о юридическом постановлении». Так точно случилось с романом Василия Гроссмана «За правое дело», с повестями Эммануила Казакевича, с романом Веры Пановой «Вре-

мена года». Такую же метаморфозу потерпело, как говорил Сергей Михалков на съезде, отношение к комедии Минко «Не называя фамилий». После двухлетнего признания положительным явлением в советской комедиографии, как говорит Михалков, эта пьеса затем почти попала в разряд «порочных комедий». Ее уже боялись ставить, чтобы не вызвать гнева какому-нибудь поднимающемуся к вершинам власти Карпа Карповича нового типа.

Мариэтта Шагинян констатирует, что «у критика, знающего, что роман хороший, знающего, что доводы против него неубедительны и бездоказательны, нехватает просто гражданского мужества встать на защиту романа и страстно за него бороться». Но ни Шагинян, ни Маргарита Алигер, ни Михалков, ни Антонов не могут продлить своего анализа губительной и фальшивой роли советской критики, так как никто из них не может указать вслух причин этой «конъюнктуры» и беспринципности. Мариэтта Шагинян затронула кардинальную проблему литературного и литературно-критического творчества в парализующих всякое свободное высказывание условиях однопартийной диктатуры и строжайшего надзора. Но Шагинян вынуждена остановиться на полпути, так как дальнейшая критика должна была бы привести ее к открытому выступлению против партийной власти.

Эренбург писал об искусстве, обманывающем народ. Шагинян говорит о партийной критике, стремящейся ввести читателя в заблуждение.

О ненормальном явлении предвзятости советской критики говорит и Ольга Берггольц. Хотя ее выступление внешне носит более сдержанный характер, чем выступления Шагинян и Каверина, ее протест идет из большей глубины. Ольга Берггольц сказала, что критика художественных произведений «производилась не с позиций мастерства и художественности, а совсем с других позиций, нередко конъюнктурных, и часто эта оценка бывала директивной, исходящей от секретариата». Ольга Берггольц имеет ввиду секретариат союза писателей, но в действительности и этот секретариат не всегда мог угодить президиуму ЦК и также подвергался одергиванию сверху. Неблагополучное положение в советской поэзии, драматургии и критике Ольга Берггольц объясняет этим методом директив сверху, «упорным навязыванием поэту нечего, не свойственного его творческой сущности», «Его сбивают с толку, — говорит Берггольц, — и он начи-

нает петь не своим голосом, «давать петуха».

Всем, слушавшим выступление Ольги Берггольц, было ясно, что она объясняет так называемое «отставание» советской литературы, фальшивость ее, давлением партийных организаций на писателей, превращением их из свободных художников, призванных «глаголом жечь сердца людей», в простых исполнителей заказа, в людей, вечно оглядывающихся назад в страхе перед репрессиями, которым они могут подвергнуться в случае неточного выполнения замысла заказчиков. Особенно эта фальшь оскорбительна в поэзии — литературном жанре, должным отразить все многообразие человеческой психологии, дать выражение непостижимым разумом движениям человеческой души.

Ольга Берггольц говорила о необходимости «как можно бережнее относиться к индивидуальности, личности поэта, к тому, что хочет сказать сам поэт «о времени и себе». Она с горечью констатировала, что «личность поэта просто совершенно исчезла из поэзии; она была заменена экскаваторами, скреперами, каналами...» При системе, когда в любую минуту человек может быть облит потоком обвинений, когда ему могут приписать всевозможные низкие побуждения, поэт невольно стремится скрыть свое настоящее Я, подальше от пытливых, враждебно настороженных глаз цензора. И большая заслуга Ольги Берггольц, талантливого поэта, ощутившего на собственном опыте, что значит немилость партийных цензоров и преследования власти, — в формулировке протеста против удушения человека тоталитарной системой: «Я только еще раз хочу подчеркнуть, что, по моему убеждению, без действительного свободного выражения поэтом своей личности — общественной, многогранной — лирики нет, не бывает и не может быть».

Кто же виновен в том, что советские поэты не могут свободно выражать своих мыслей, идей, устремлений? Автор поэмы о Зое, девушке, отдавшей свою жизнь за светлый идеал родины, который для нее еще ничем не был запятнан, Маргарита Алигер, требует «ответов по существу» на поставленные писателями вопросы о причинах упадка в Советском Союзе литературы и литературной критики. Зная, что ответов от власти не дождешься, Алигер отвечает сама. Она говорит о молодых критиках, которые еще не научившись «осторожничать, лавированию, угодливости», «в запале молодости» высказывают свои суждения, «ошибаются», по выражению Алигер. В результате такие критики, «как

правило, довольно быстро оказываются «в бездействии». В редакциях журналов и газет на них смотрят подозрительно — «такой молодой, а уже умеет ошибаться». Маргарита Алигер взяла под защиту двоих таких «умеющих ошибаться», т. е. отойти от навязываемого им образа мышления, — В. Огнева и М. Щеглова. Из ее выступления выяснилось, что не все критики в Советском Союзе идут на поводу у власти. Есть и такие, которые не хотят расстаться со своей точкой зрения и предпочитают не печатать обезличенные и приглаженные редактором статьи. Маргарита Алигер рекомендует уважать такого критика.

В обстановке непрестанной борьбы против порабощения властью человеческой личности, отстаивание своих взглядов равно героическому подвигу. В упадке литературы и критики, который выступавшие на съезде писатели осторожно называют «отставанием», во всех неудачах, — говорит Маргарита Алигер, — «виноваты общие условия литературной жизни, где творческий разговор подменялся нередко начальственным стучанием кулаком по столу...»

Выступление донского писателя М. Соколова в общих чертах выдержано в соответствии с требованиями партийной цензуры. Но и здесь настроение Соколова прорывается в двух фразах: «Надо, наконец, освободить театры от бесполезной опеки и предоставить им полную свободу действий...» Соколов говорит, что в театрах имеется достаточно опытных людей, разбирающихся в вопросах драматургии лучше сидящих в органах Министерства культуры часто некомпетентных людей, — «от которых, к сожалению, зависит иногда судьба спектакля».

Вениамин Каверин не только открыто выступил с реабилитацией повести «Сердце друга» Эммануила Казакевича и романа «За правое дело» Василия Гроссмана, не только напомнил о заслугах автора знакомого в тридцатых годах каждому школьнику романа «Смерть Вазир-Мухтара» Юрия Тынянова, и любимого москвичами автора бессмертной пьесы «Дни Турбиных» — Михаила Булгакова, впадших затем в немилость. Каверин начертал картину будущего, в котором свободно могла бы развиваться русская литература и самостоятельная критика, не зависящая ни от каких установок сверху, не наклеивающая ярлыков на литературные произведения, а судящая об их авторах «по законам, им самими над собою признанным». Десять обвинений писателя Каверина, который был уже вынужден под давлением идеологиче-

ских пособников власти переделывать свои произведения, так же как Фадеев, Гроссман, Шолохов и многие другие, десять обвинений Каверина — это счет, предъявленный писателем власти, которая, как писал когда-то Чехов, «культивирует искусство порабощения». Свои мечты об иных условиях для творчества Каверин сам называет «фантастическими», настолько ясно он видит границы, которых не может преступить тоталитарный режим в своей игре в либерализм.

Официальные докладчики избегали упоминать произведения, в которых слышится протест против партийной критики, против советской системы. Ленинградский поэт А. Прокофьев, молчавший несколько лет, после того, как его поэзия была раскритикована и его эстетические взгляды были объявлены не соответствующими линии партии, замечает, что Самед Вургун, делавший доклад о поэзии, «ни словом не обмолвился» о поэме Твардовского «За далью — даль». Мнение Прокофьева о двух разновидностях партийных цензоров ясно высказано краткой цитатой: «Избави нас, Боже, от таких друзей, а от врагов мы сами избавимся».

Даже Борис Лавренев в чрезвычайно осторожно составленной речи дал возможность слушателям догадаться об его отношении ко всем рассуждениям, начавшимся после доклада Маленкова на 19-ом съезде, о типичности героев и явлений. Литература — не выискивание положительных героев, подходящих под мерку типичности в коммунистическом понимании этого слова, — то-есть соответствия с требованиями группы беспринципных, ни во что не верящих карьеристов, находящихся в данный момент у власти. Лавренев выражает свое мнение по этому поводу цитатой из Белинского: «Мы требуем не идеала, но самой жизни, как она есть».

Валентин Овечкин, и Михаил Шолохов подняли голоса протеста против унижительной системы распределения премий. Сам по себе положительный обычай премирования литературных произведений, распространенный в западных странах, в руках партийных ценителей искусства превратился в выуживание наиболее удачно выполненных политических агиток, хорошо ли плохо ли облеченных в литературообразную форму, выдвижения их, по выражению Овечкина, на правый фланг литературы, чтобы по ним равнялись остальные. Литературные премии на Западе обращают внимание читателя на лучшие произведения современной литературы, а также по-

могают молодым писателям найти себя, убедиться в своем призвании, или же отмечают мастерство уже известных, заслуженных писателей. В Советском Союзе сталинские премии привели к созданию нездоровой обстановки среди писателей, появлению «руководящих товарищей» от литературы, вроде Симонова, проникновению, как сказал Шолохов, в печать макулатуры. В результате «читатель будет настаивать, увидев книгу очередного лауреата». Шолохов явно смягчил здесь действительность. Читатель давно уже перестал доверять Гладковым и Щипачевым, Сурковым и Мальцевым. Овечкин и Шолохов, протестуют против захваливания симоновских «Товарищей по оружию», выражают негодование читателей, вызванное такими книгами, как сборник стихов Симонова «Друзья и враги», их протест направлен против «Девярых валов», «Света над землей», «Белых берез», где Сталин уподоблен Наполеону, против «Первых ударов» и «Пушек» псевдописателя, французского коммуниста Андре Стиля, преподносимого русским читателям в качестве передовой иностранной литературы. От всего этого «мутного потока», как констатировал Михаил Шолохов, от всего этого «непотребства», отворачивались читатели «в великом смущении».

Возражают Овечкин и Шолохов и против засилия в редакции литературных журналов и газет Симонова и Рюрикова, которые вынуждают писателей писать, «забывая лишь о том, — как говорит Овечкин, — чтобы «попасть в струю», так как иначе произведения их не будут напечатаны.

14 декабря, накануне открытия второго съезда, в центральный комитет КПСС были вызваны ответственные работники Союза советских писателей и писательских организаций союзных республик, а также так называемые «ведущие» писатели. О чем говорилось во время встречи писателей с руководящей партийной верхушкой, осталось неизвестным. Но в результате этой «беседы», во время которой, без сомнения, была указана требуемая «линия», съезд, как образно отметил Михаил Шолохов, прошел, за исключением нескольких выступлений, о которых мы уже упоминали, «в нехорошем спокойствии».

Каждое выступление, носившее характер критики, носившее печать самостоятельной мысли и принципиальности, парировалось и сводилось на нет. После речи Шолохова Гладков поспешил подняться на трибуну и сделать специальное заявление по по-

воду сказанного. Гладков объявил его речь «непартийной по духу» и «мелкотравчатой». Первый эпитет может быть только похвалой Шолохову, второй же отнюдь не подходит для выражения суждений о своем коллеге ревнителя чистоты русского языка и стиля, в качестве которого Гладков выступает последние годы в печати. Но у Гладкова это называется «быть немножко мудрецом и в эти исторические дни твердо стоять на принципиальных позициях», в страхе, что всякое правдивое слово будет услышано не только миллионами читателей в Советском Союзе, но и за границей.

Против Овечкина, Маргариты Алигер, Ольги Берггольц, Каверина и Шолохова выступил Фадеев. Остановившись на выступлении Берггольц, Фадеев тут же указал его, перетолковав слова Берггольц о том, что поэт должен иметь «свободу для выражения своих идей». «О чем бы писатель ни говорил, какие бы стороны жизни он ни отражал, он во все это должен вложить свою собственную биографию», — так примитивно перефразировал Фадеев протест Берггольц против накладывания пут на вдохновение поэта. Предложение Фадеева «названным товарищам» подумать «все-таки еще немножечко» над своими речами звучит плохо скрываемой угрозой: — «... Может быть, вы в конце концов согласитесь со мной, что в этих речах имеются существенные изъяны».

Все писатели, которые «ошибаются в своем творчестве», — заявляет Фадеев, — «отступают от партийности». Здесь, к концу съезда, уже без всякой либеральной вуали начинает вступать в свои права жуткая действительность насилия над духом. Речь Фадеева прозвучала приговором. Вновь вспоминается автор статьи об искренности в литературе — Померанцев. Но здесь уже он приговора не ждет. «У автора статьи в «Новом Мире», — говорит Фадеев, — «было желание, чтобы великая советская литература отказалась, от вдохновляющих ее идей коммунизма и стала проводником чужой идеологии». А этого диктаторы, цепляющиеся за власть, не прощают.

О многом еще говорили писатели на съезде, приоткрывая завесу молчания над действительными условиями, в которых протекает их деятельность. Говорили они, как Л. Соболев, о равнодушии к искусству и друг к другу, об очерствении «руководящих товарищей», убивших в себе все человеческое. Л. Соболев напомнил съезду, что «три секретаря — Сурков, Симонов и Гри-

бачев, располагая всеми нужными документами, в течение пяти месяцев не могут помочь реабилитировать писателя, несправедливо ошельмованного «письмом в редакцию» некоего обиженного «вельможи». Говорили о критиках, превратившихся в простых «проработчиков», похвала которых — «бедствие и автор, читая их положительный отзыв, должен невольно вспоминать слова Гейне: «он обливает меня помоями своих похвал». Говорили и об опасности превращения писателей в особую касту, оторванную от жизни, отделенную от других людей даже территориально (Овечкин).

Но наряду со смелыми, страстными словами Берггольц, Каверина, Алигер и других, с трибуны съезда прозвучали речи известных писателей, заставляющие нас краснеть за них. Валентин Катаев, автор «Дороги цветов» и «Квадратуры круга», дожив до седых волос, почему-то счел нужным заверить непримиримую, ничего не прощающую и ничего не забывающую власть, о своей «духовной партийности». «Я считаю себя обязанным подчиняться всем партийным решениям и, по мере своих сил, проводить партийную линию и бороться с ее искривлениями», — заявил Катаев на съезде. Выступление Катаева похоже на полуприкрытую исповедь и на обещание лояльности.

В таком же верноподданническом чисто пропагандном духе выдержана и речь Гладкова. В ней нет ни одной фразы, которую с таким же успехом не смог бы написать рядовой профсоюзный или комсомольский работник. От писателя там нет ничего. Этому психозу страха, заставляющему писателей подниматься на трибуну и клясться в своей верноподданности и партийности, оказались подвержены поэт С. Кирсанов и широко образованный литературовед и знаток западной литературы Иван Анисимов, обратившийся за советом по вопросам эстетики к таким «авторитетам», как Мао Цзе-дун, Торез и Готвальд. Автор «Вольницы» Федор Гладков усиленно призывал к бдительности, переносил на съезд писателей приемы и язык органов тайной полиции.

Реакция официальных кругов на выступления писателей видна уже из того краткого изложения речей, которое появлялось ежедневно в течение всего съезда на первой странице «Литературной Газеты» в рубрике «Вчера в Колонном зале Дома союзов». Так о выступлении Ольги Берггольц сказано лишь, что она сетовала на беды, происходящие от отказа литераторов от критерия художественности. Выступление

Михаила Шолохова было сведено к сетованию на снижение требовательности писателей к себе, чем и объясняется «появление наряду с хорошими произведениями значительного количества посредственных книг». Также выпущено всё обличительное из выступлений Мариэтты Шагинян, Валентина Овечкина и других.

Рапохин, приветствуя съезд от ЦК ВЛКСМ, упомянул «Оттепель» Эренбурга и «В родном городе» Виктора Некрасова только, чтобы назвать их «неудачными произведениями».

Главный редактор «Правды» Д. Шепилов, в полном противоречии со словами писателей о равнодушии к ним, о черством отношении, умиляется перед тем, «сколько чувства любви и материнской заботы о писателях, о расцвете нашей литературы... в приветствии Центрального Комитета коммунистической партии Второму съезду писателей!» Шепилов заявляет, что «социалистический реализм — единственно правильный метод изображения нашей действительности» и что «в дальнейшем овладении марксизмом-ленинизмом нашими писателями заключены источники обогащения социалистического реализма, источники развития нашей литературы».

Так все мечты поэтов о свободе были разбиты заявлением представителя партийной верхушки о необходимости «бороться с отклонениями от принципов социалистического реализма... бороться с проявлениями буржуазной идеологии». Страшный призыв партийного цензора, от которого поэт Твардовский мечтал уехать куда-нибудь подальше, громкогласно заявил поэту и писателю, который ради свободы и искусства, «... ради той любви бесценной, Забыв о горечи годов, Готов трудиться... душу сжечь готов...» —

«— Не выйдет...

— То есть как?

— Не дам...»

(«За далью — даль»)

Этот «окрик зычный», тот

«... особый жесткий тон,

С каким начальники обычно

Отказ роняют в телефон»,

— особенно громко прозвучал в появившихся после съезда статьях в партийной печати, написанных в старом сталинско-ждановском духе. В редакционной статье журнала «Коммунист» (№ 1, январь, 1955 г.) попрежнему повторяется: — «Сила советской литературы в том, что она вдохновляется великими идеями коммунизма». — Писателям попрежнему внушается, что «сила нашей литературы в кровной связи с геро-

ической борьбой коммунистической партии».

В партийной печати ясно дается понять, что в будущем развитии советской литературы не будут играть никакой роли идеи писателей, высказанные на съезде и перед ним. Все сведено только к так называемому приветствию центрального комитета КПСС Второму съезду писателей. В этом «приветствии», прочитанном на съезде Поспеловым, изложена вся программа действий писателей, роль которых сводится к пропагандированию коммунистических лозунгов. Поспелов от имени ЦК партии объявил, что для писателей не может быть другого источника вдохновения, кроме «великих идей борьбы за коммунизм». «Подлинная правда жизни», изображение которой требуется от писателей, опять есть ни что иное, как приукрашение партийной лжи. Это означает, что никакие широкие проблемы человеческого существования, которыми занималась русская литература и которыми занимается современная западная литература, не могут быть поставлены советскими писателями.

Теперь, через два с половиной месяца после закрытия съезда, партийные идеологи открыто выражают своё враждебное отношение к требованиям свободы писателю, еще резче подчеркивают, что власть полностью игнорирует требование писателей освободить их от гнёта партийной опеки. «Литературная Газета» в редакционной передовой от третьего марта пишет, что приветствие ЦК компартии съезду — «исторический документ, являющийся программой литературного развития на ряд лет». Более цинично заявить о подчинении духовной жизни человека системе партийной диктатуры вряд ли можно. «Общество, которое развивается и крепнет, не может страшиться правдивого изображения: правда опасна только обреченным», — сказал Эренбург, выступая на съезде. Но именно настоящая правда полностью расходится с пресловутой «партийностью». ЦК коммунистической партии, как и все исполнители его воли, боятся этой правды, боятся голоса писателей, не желающих подчиняться ему.

Галина Николаева, не поднявшаяся в своей речи на съезде, несмотря на звание лауреата, выше уровня обычного газетного пропагандиста, пожелала «нашему руководству (т. е. руководству Союза писателей) проводить линию на создание чистой творческой атмосферы и такого стиля работы, которые привели бы литературу к подъёму, характерному сейчас для всей нашей страны». Не прошло и полутора месяцев после

выступления автора «Жатвы» на съезде, а «крутой подъём» уже претерпел существенные изменения. Вместо обещанного облегчения материальных условий существования от народа опять требуют жертвовать своим сегодня во имя какого-то будущего мифического изобилия.

Бывший комсомольский поэт Безыменский, стремившийся в двадцатых годах подражать Маяковскому — «за каждой мелочью революцию мировую найти», — и теперь не утратил своего прежнего свойства быстро угадывать «как пахнет жизнь». Первым из всех советских поэтов он уже снова воспел... тяжёлую промышленность. Его последний опус «Тяжелой индустрии — слава!» — возвращение к самым мрачным временам засилия железобетона в литературе. После съезда и предсъездовской дискуссии, во время которых, хотя очень робко и осторожно, вновь заговорили о призвании, о вдохновении, о свободе творчества, о глубине человеческой психологии, стихотворная агитка Александра Безыменского — издевательство над всеми поэтами и писателями, мечтающими об освобождении поэзии от давления ком-

мунистической диктатуры и её идеологов. Безыменский, быстро приспособившись к изменившейся обстановке, поспешил напомнить советским гражданам, что они все обязаны

«моторам,
прокату,
углю,
чугуну,
мартенам и току,
станкам и машинам.»

Что делать после всего этого писателям по призванию? Попрежнему стараться «попасть в струю» и подойти «под обойму» или же писать по-настоящему, искренне, от души, писать, судя о событиях, согласно собственным эстетическим и этическим убеждениям, и, может быть, складывать неопубликованные рукописи до тех пор, пока свобода не будет завоевана?

«Когда перевернете вашу жизнь, то всё изменится», — говорит студент Саша в последнем рассказе Чехова «Невеста». Жажда этого изменения, этого переворота жизни ясно прозвучала в последние два года в статьях и выступлениях подсоветских писателей.

БУНИН — ПОЭТ

Будь щедрым, как пальма. А если
 не можешь, то будь
Стволом кипариса, прямым и простым:
 благородным.
И. А. Б у н и н. «Завет Саади»

Как-то случилось, что мы просмотрели большого русского поэта, жившего среди нас. Правда, мы знали его по имени — Иван Алексеевич Бунин. Но поэтом не считали и стихов его не знали.

Давно, — еще до Первой мировой войны, — Валерий Брюсов удостоил Бунина краткого очерка о стихах последнего. Он покровительственно похлопал Бунина по плечу, начав этот очерк французской поговоркой: «мой стакан мал, но я пью из своего стакана».

Айхенвальд, Коган тоже упоминали вскользь о стихах Бунина: «поэзия скитальчества, певец осени, запустелых дворянских гнезд и т. д.».

В то же самое время в рецензиях усердно обсуждался Игорь Северянин, Крученых*) и Велемир Хлебников.

Причина и повод для обсуждения были самые уважительные: стихи в совершенстве походили на крестословицы и шибали в нос, как лимонад «Газес» (Кто еще помнит эти овалыные бутылки?..)

А вот строки:

«Чашу с тёмным вином подала
мне богиня печали...»

были очень просты, совсем понятны и никого на ярмарке не удивляли.

Какие же это стихи?

Так просмотрели молодого Бунина—поэта. Правда, Бунин получил Пушкинскую премию, правда, А. Ф. Маркс пустил стихи Бунина, приложениями к «Ниве», широко в народ, правда, перевод «Песни о Гайавате» для нас, «детей страшных лет России», был одним из последних серебряных отзвуков детства, но литературные критики

того времени очень изумились бы, если бы кто-нибудь им сказал: «Да, Бунин поэт, и притом великий поэт».

Между тем, несмотря на всю разницу между юношескими стихами Бунина (1890-1900) и последующими циклами, основные линии его поэтического дарования проступали и определились уже в стихах эпохи «Листопада».

И если тогда критика Бунина-поэта просмотрела, то не просмотрел читатель: пишущий эти строки видел, как в лихолетье революции и гражданской войны находились люди, которые, бросая всё и спасая жизнь, уносили с собой в изгнание один-два томика стихотворений Бунина: то самое приложение к «Ниве» с листопадом на желтой обложке.

Годы лихолетья и изгнания заслонили и изменили многое и многих. Бесполезно гадать, как развернулся бы талант Бунина в нормальных условиях, в своей стране. Несомненно одно: изгнанником . владеют воспоминания. Воспоминание длительно, хочет деталей, подробностей, оно не уместится в крошечную чеканку стиха. И таким образом возникает «Жизнь Арсеньева» — не роман, а большое стихотворение в прозе.

Теперь уже Бунин не затеняется мелкой порослью. По иронии судьбы мировое признание приходит к нему в изгнании. Но теперь он «писатель». Про поэта не говорят.

Тут действуют несколько причин: во-первых, для иностранного читателя стихи просто непонятны. Русский же читатель и за «железным занавесом», и в эмиграции должен — каждый по-своему — бороться за существование в самом буквальном смысле этого слова. Широкой читательской массе не до стихов. Это причины внешние.

Но действуют в поэте и какие-то внутренние причины: самые блестящие стихотворения относятся к периоду доэмиграции.

*) Автор изречения: «Дыр бул щил».

онному. Может быть, действуют годы, может быть, сказывается отрыв от родной почвы. А может быть, — может быть, — поэт сказал уже свое самое главное, самое нужное, и повторять это значит уже — повторяться.

В поэтических кружках эмиграции двадцатых-сороковых годов Бунин-поэт не является властителем дум. Причина тому лежит в глубоком противоречии между поэтической установкой Бунина и двумя главными установками поэтических групп того времени. У «парижан», несмотря на все их отличия друг от друга, имеется одно общее свойство, которое можно назвать «беспредметной субъективностью»: внимание собрано на своём «я». Но это «я» опустошено. Беглые впечатления упоминаются вскользь, с умолчанием опустошения — таков художественный приём для изображения «я», которое всё-таки остается в центре всего. Получается „*circulus viciosus*“. Разухабистость времён Игоря Северянина, конечно, исчезла: в доме эмиграции всегда незримо присутствует покойник. Это присутствие обязывает к сдержанному слову.

Таким образом, словесная сдержанность «парижан», а с другой — недержание слова по линии Маяковский-Пастернак не были благоприятны для оценки точно отмеренного стиха Бунина. А по «великому чувству меры» в стихах Бунин — прямой наследник Пушкина.

Признание Бунина как поэта начинает носиться в воздухе теперь, после его смерти. Газетные статьи, доклады литературных критиков начинают сходиться на том, что прежде всего Бунин был поэтом.

Не пытаясь дать обзора появившегося в печати и оглашенного на докладах материала, можно остановиться на симптоматической статье И. Тартака*): «Бунин в потомстве».

И. Тартак отмечает тот неоспоримый факт, что оценка писателя современниками часто сильно разнится от оценки его в потомстве.

И. Тартак исходит из личного впечатления и приходит к заключению, что в потомстве «будет заново открыт и признан Бунин-поэт, несравненный певец простой, скромной русской природы и простого русского человека — и музыкант-чародей вещего русского слова».

«Бунин превосходный прозаик потому, что он прежде всего прекрасный поэт».

Можно подкрепить выводы статьи И. Тартака и таким практическим соображе-

*) «Новое Русское Слово». Нью-Йорк, 13. 12. 53. Перекликается со статьей И. Тартака статья В. Рязанова (Н. Р. С. 27. 12. 53).

нием: мы все выросли на классиках. Классики входили в нашу жизнь в школьных классах — с детства, отрочества, юности. Человек прочно хранит воспоминания этих лет. Бунин же прозаик, при всём своём, всеми признанном, мастерстве слова, писатель не для детей и не для юности.

Бунин-прозаик строг к человеку, и страшен его человек на фоне природы, сияющей «красою вечною».

Ниже будет дана попытка найти психологическое объяснение такого противоречия.

Пока же, к вопросу о «переживании в потомстве», отметим еще одно обстоятельство, также приводящее к указанному выше соображению.

Бунин-прозаик не дает фабулы т. н. «большого романа»: его зарисовки — штрихи, очерки, силуэты. Этот способ не нов: вспомним Чехова, оставшегося в потомстве именно таким беглым очерком.

Можно привести много всяких доказательств в пользу того, что для современного писателя фабульный роман изжил себя, что теперешний писатель просто не может дать эпопеи вроде «Войны и мира» или следить за трещинами в личных и общественных отношениях на фоне какого-то хода действия, как это делали Тургенев, Гончаров и Достоевский.

Но то, что, может быть, уже невозможно для писателя, еще очень возможно для читателя.

Большой русский роман делал из фабулы как бы «воздух» картины, третье измерение, в котором плоские «характеры» обращались в живых людей: бедный, бестолковый Райский для нас не умирает именно потому, что он путается в трех соснах незатейливой, но очень похожей на нашу жизнь фабулы. Чичиков вечно едет в своей бричке.

Чехов от фабулы отказался. Но у Чехова (только прозаика) было одно свойство, которого не было у Бунина-прозаика: Чехов, хотя и не гладил по голове своих людей, но всё-таки любил их. И должно быть эта магия любви заставляла беглые карандашные наброски сходиться с бумагой и живыми людьми оставаться в памяти.

Изобразительность прозаика Бунина изумительна. Но не ловил ли он, склоняясь на соблазн изобразительности, исключительное вместо типического? А для выхода в прекрасное у него был широкий путь стиха. В стихе же он был мастером. (Вспомним здесь для сравнения, что и Гоголь писал стихи, и совсем не плохо, но «выход в красоту» осуществлялся им с несравненной легкостью в прозе).

И вот все наши вопросы и недоумения исчезают, когда мы перелистаем книгу Бунина и перейдем на короткие строчки стиха. Дистармонии больше нет: мы в мире прекрасного, и это прекрасное передано языком точным и богатым.

Конечно, Бунин — не Пушкин: каждый — сам по себе, каждый — дитя своего века и по способу письма, и по своим темам, по влиянию на современников и по личному характеру: порывистый холерик и созерцательный меланхолик. Но есть, несомненно, между ними и общее — прямое, непосредственное чувство красоты и гармоничность личности (пусть каждой по-своему).

Трудно подсмотреть красоту в простом и обычном. Еще труднее передать её убедительно. Называется такая убедительность художественным реализмом. И Пушкин, и Бунин умели этим приёмом пользоваться.

Вот два примера:

«На красных лапках гусь тяжелый,
Задумав плыть по лону вод,
Ступает бережно на лёд,
Скользит и падает...»

(«Евгений Онегин», гл. IV. XI/II)

«И вот однажды пёстренький цыпленок
Залез, пища, на лавку,
с лавки на хомут...»

(«Лимонное зерно»)

Повторим еще раз И. Таргака: Бунин — хороший прозаик оттого, что хороший поэт. А поэт Бунин и может, и должен оделаться спутником детства и юности, чтобы его стих врос и остался в памяти на всю жизнь.

Поэт измеряется его темами. Не будем говорить о стихотворной технике — у большого поэта она настолько совершенна, что ее не замечаешь.

Основной темой поэзии Бунина является чувство прекрасного. Это — как бы лейтмотив, тема всей симфонии творчества, пафос, пронизывающий все. Надо подчеркнуть именно непосредственность, физиологичность этого ощущения. Таким чувством, наверно, обладали древние греки. (Для сравнения отвлечемся в сторону: есть и другой психологический тип человека — неспособный к чувству прекрасного — нечто вроде слепого на цвета. Такие люди подменяют «прекрасное» чем-нибудь другим — «идейным», или «натуральным», или «выразительным», или еще чем-нибудь).

«Ищу я в этом мире сочетанья

Прекрасного и тайного, как сон...»

А мир везде исполнен красоты...

В стихотворении «Олень»: «Он красоту от смерти уносил...»

Что же прекрасно? — Прежде всего ок-

ружающий нас мир, небо, земля, вода, олень, спасающийся от охотника, седой орленок, «шипящий, как василиск», «завидев за морем спросонок в тумане сизом красный диск».

У Бальмонта было программное заявление в стихах:

«Я в этот мир пришел, чтоб видеть
солнце

И синий крутозор...»

Слабой стороной Бальмонта было то, что он воспринимал мир, как книжник-филолог на даче. Бунин был в этом мире, как в своем хорошо обжитом, хорошо знакомом, своем доме.

Прекрасна у Бунина и жизнь — и в олене, и в седом орленке, и в самом поэте, эту красоту сознаящем.

«Набегает впотьмах и узорною

пенкою светится,

И лазурным сиянием реет у скал

на песке...

О, божественный отблеск незримого —
жизни, мерцающей

В мирадах незримых существ!...»

Прекрасны древние предания всех стран и всех народов, книги мудрости и слова, отмеренные мерой строгой и ясной: Библия и Коран, Тора и Брахманы, Новый Завет и Книга Мертвых.

В особенности привлекает Бунина Восток,

«Где слезы звезд, как четки

На смутлой кисти Ангела Пустынь...»

Восток — страна гробниц, древних могил. И вот, при поэте вскрывают «Могилу в скале»:

«То было в полдень, в Нубии, на Ниле:

Пробили вход, затеплили огни —

И на полу преддверия, в тени,

На голубом и тонком слое пыли

Нашли живой и четкий след ступни».

Он, путник, видел это, след того, кто вздохнул здесь в последний раз пять тысяч лет назад:

«Тот миг воскрес. И на пять тысяч лет
Умножил жизнь, мне данную судьбою».

«Надпись на могильной плите» — стихотворение так и называется. Вот его конец:

«Я, тишину познавший гробовую,

Я, воспрियाвший скорби темноты,

Из недр земных земле благовестую

Глаголы Незакатной Красоты...»

Как ни гармонична тема жизни, но мысль о смерти следует за ней неизбежно. Для этой темы характерны у Бунина два этапа: первый — смерть не страшна:

Смерть не семя губит:

Смерть срезает

Лишь цветы от семени земного...

«...И саван обречен
Истлеть в земле, чтоб снова
вырос яркий

Небесно-синий лен...»

Так успокаивает себя ребенок, проходя через темную комнату — «не страшно! Совсем не страшно!» И вдруг вскрикивает от ужаса, бывшего тайным и ставшего явным. Мало кто обращал внимание на короткое стихотворение «Сатурн»:

«Рассеянные огненные зерна
Произрастают в мире без конца.
При виде звезд душа на миг покорна:
Непостижим и вечен труд Творца!
Но к полночи восходит на востоке
Мертвец Сатурн и блещет, как свинец.
Воистину, зловещи и жестоки
Твои дела, Творец!..»

Успокаивал себя стихами бледными, рас-судочными, а ужас вдруг прорвался. Но стихи зато вышли хорошие. Хороша и роза, сорванная смертью и брошенная за оградой:

«А роза за оградой
Рассыпалась на мрамор черным
пеплом».

Не надо думать, что стихотворение «Сатурн» ставит Бунина в демоническую позу. Тема веры, тема Бога звучит очень уверенно и светло.

«А Бог был ясен, радостен и прост.
Он в ветре был, в моей душе
бездомной —

И содрогался синим блеском звезд
В лазури неба чистой и огромной».

Бог необходимо вытекает из мира и жизни, как Устроитель красоты. Это даже не вера, а какое-то непосредственное ощущение, как у ребенка или как у библейских пастухов:

«Мир не забудет веры древних лет...»
«Мир Авеля! Дни чистых детских
вер...»

Это не теология, а искусство:

«...И Христа,
Что слушал нас в веселом храме,
Мы написали не спроста.
Нам все казалось, что под эти
Простые песни вспомнит Он
Порог на солнце в Назарете,
Верстак и кубовый хитон».

Характерны для автора не только темы затронутые. Характерны и темы незатронутые или выраженные слабо.

Нет у Бунина темы поэзии гражданской. Где-где, а в русской поэзии это было темой почти обязательной. Тема любви — тоже законнейшая тема поэзии всех стран и

всех времен — выражена слабо. Зато в полной мере развита тема одиночества:

«как хороша, как одинока жизнь!»

Уравнение решается просто: поэтическое «я» Бунина настолько концентрировано на себе, на своем видении красоты, что даже «одиночество вдвоем» отвлекает. Характерно одно из ранних (и очень слабых) стихотворений: «~~На~~ побережье моря длинная аллея...»:

«...Я, ль не искал мятежно
Любви и счастья юность разделить
С душою женской, чистою и нежной,
И жизнь мою в другую перелить?..»

И далее, из стихотворения «Жемчуг»:

«...разделить с тобою
Эту радость жизни, эту красоту!»

Далее этой слабо намеченной программы тема не развивалась.

Зато самоконцентрация, одиночество позволило вобрать в себя красоту мира, найти нужные слова для убедительной передачи этой красоты нам, невидящим или невнимательным и, главное, услышать нужную интонацию. Сам Бунин был всегда очень недоволен, когда его называли пейзажистом. Конечно, его стихи не «картины природы». Это — лирика через символ краски и формы.

«Так небо низко и уныло,
Таг. сумрачно вдали,
Как будто время здесь застыло,
Как будто — край земли...»

«И звонок каждый шаг среди ночной
прохлады.

И царственным гербом
Горят холодные алмазные Плеяды
В безмолвии ночном...»

Называть Бунина великим мастером стиля — означает теперь повторять давно известное. Лучше возьмем несколько примеров. Возьмем тему описания заката — очень избитую. Поэт дает картину заката в сказочно-символической «Вири», в глубоко-православном «Кануне Купалы», когда «ходит в темной роще Богоматерь», в передаче духовного стиха об Алисафии и в «Одине» — мотиве скандинавской Эдды.

«...В лесу пустом
Горит заря, а ельник черный
Стоит на фоне золотом
Стеною траурно-узорной...»

...Застят ели черной хвоей запад,
Золотой иконостас заката...

...Вот и солнце опускается
В огневую зыбь помория...

...Опираясь на меч, он глядит
на багровую

Чешую беспредельных зыбей...

Это — по старому определению поэзии
— «лучшие слова в наилучшем порядке».

В стихах Бунина подкупает именно эта верная рука мастера, кладущая нужный штрих или мазок. Могут быть возражения эрудитов: «Бунин не был эрудитом». Может быть. Но зато он был мастером иллюзии, т. е. художником.

Для большого поэта характерен и поэтический почерк: вы угадываете автора по одной строчке. Выбор слов, образов, их расстановка — всё это создает характерную интонацию: вы узнаете поэта по голосу.

У Бунина голос очень и очень своеобразен. Его строи не припишешь другому поэту.

Голос его суховатый, сдержанный, очень уверенно называющий предмет, нет никакой расплывчатости и неопределенности. Но характерно некоторое «остранение» через соединение контрастов:

«И ветер вторит диким завываньем,
«Их жалобным, но радостным
стенаньям...

Это — про чаек над Северным морем. Особенную силу придает фразе именно это «но».

А вот гудок океанского парохода:

«Как нежно плачет колокол в порту
Под этот рев, торжественный
и трубый».

Расчленение творчества поэта на отдельные темы относится к восприятию этого творчества, как топографическая карта к живому ландшафту. Конечно, такое установление тем является схематичным. Как карта, оно служит лишь для ориентировки. Темы можно назвать и перечислить. Но такое перечисление обычно опускает самое важное: а отчего в поэте все эти темы звучали? Что стояло за темами? Поэзия — что-то дальше тем. Было ли это «что-то» у Бунина?

Здесь кончается работа критика и начинается собственная работа читателя. Есть ли у Бунина эта иррациональная добавка ко всему логическому?

Люди типа, указанного выше, — «без

ощущения красоты», — тут ставят на Бунине быстро и охотно крест.

Но по Платону: «красота — трудная вещь». Прочтите «Сапсана», — и вы почувствуете холодок запредельного.

Кстати: Бунин пытался иногда объяснять свои стихи стихами рассудочными: эти рассудочные стихи художественно слабы. Они имеют значение в творчестве в качестве своего рода доказательства от противного: того, что Бунин рассудочным поэтом не был. В этом его основное отличие от Тютчева.

Пишущий эти строки имел возможность в личной беседе с Буниным высказать основное положение этой статьи, а именно: что Бунин — прежде всего поэт, а затем уже прозаик. Беседа происходила вскоре после получения И. А. Буниным Нобелевской премии, в апогее его известности как прозаика. Темой беседы была предполагаемая тогда автором этой статьи работа: «Бунин-поэт».

И. А. Бунин вполне согласился с таким подходом к его творчеству. А интереснее всего было то, что сам он говорил только о поэтах, и о некоторых по-бунински, с большой энергией. Значит, рифма и ритм затрачивали больше чем округленный период.

В заключение необходимо сказать несколько слов о намечающемся влиянии Бунина на поэтическую смену.

В эпоху «школ»: символистов, акмеистов, футуристов и т. д. Бунин ни к каким школам не принадлежал и школ не основывал.

Выше было упомянуто о том, что предвоенное поколение поэтов как-то упустило Бунина из внимания.

Теперь же, пожалуй, если взглянуть в стихи «смены», то можно заметить если и не следование Бунину в виде какой-то школы, то, во всяком случае, поворот к бунинской ясности и четкости в форме и к «предметности» в содержании.

И, пожалуй, вместо «беспредметной субъективности», через всю боль пережитых лет начинается у «смены» звучать тот «мира восторг беспредельный», о котором Блок только упомянул, а дал в своих стихах Бунин.

Константин Леонтьев и эстетика жизни

Не литература, а **литературность** ужасна; литературность души, литературность жизни. То, что всякое **переживание** переливается в ищающее, живое слово: но этим всё и кончается, — само **переживание** умерло, нет его. Температура (человека, тела) остыла от слова. Слово не возбуждает, о, нет! оно — расхлябывает и останавливает. Говорю об оригинальном и прекрасном слове, а не о слове «так себе». От этого после «золотых эпох» в литературе наступает всегда глубокое разложение всей жизни, её апатия, вялость, бездарность. Народ делается как сонный, жизнь делается как сонная. Это было и в Риме после Горация, и в Испании после Сервантеса. Но не примеры убедительны, а существенная связь вещей.

Вот почему литературы в сущности не нужно: тут прав Леонтьев... Нужна вовсе не «великая литература», а великая, прекрасная и полезная жизнь. А литература может быть и «кой-какая», — «на задворках».

Поэтому нет ли providentialности, что здесь «все проваливается»? что не Грибоедов, а Л. Андреев, не Гоголь, — а Бунин и Арцыбашев. Может быть. М. б. мы живем в великом окончании литературы.

В. Розанов. — «Опавшие листья».

Длился прекрасный и прекраснотелесный век искренней веры в абсолютную ценность личности человеческой. Да, именно **всякой личности, личности земной**. И вера эта была укоренена не теми, кто считал всякую личность — отчасти божественной, ибо в ней почит дыхание Божие, отражается Лик Божий. Вера в абсолютную ценность личности человеческой, личности земной и плотной, пришла из гуманистических книжек, из проповедей французского просвещения, из лекций кенигсбергского философа, из романсов и поэм

романтиков и реалистов, из нравственных прописей европейского либерализма и социализма.

И так бездумно и ласково-поэтически — с Жорж-Занд и Консидераном в руках, на упротом тамке, после вечера с цыганами или спорами на темы «мировой скорби», — так просто, наконец, вышелушивались из «абсолютной ценности» человеческой личности» и индивидуализм, и идеи самоопределения народов, народовластия, прогресса, социализма. До конца мысль не шла, она лениво замирала и, потягиваясь, дремала, дойдя до идеи рая земного — окончательного и бесповоротного устройства человечества на основах разума и благоволения. Фаланстеры ли Фурье или коммуны Марксэнгельсы; общинное народоправство «кающихся дворян» или опирающаяся на христиански-преображенную соборную личность государство славянофилов — у всех была конечная Осанна, дальше которой лучше не идти, не додумываться, в которой сомневаться строго запрещено. Чистый и беспримесный хилиазм — только у большинства без Христа и личного бессмертия.

И вот появились немногие, посмевшие усомниться в **окончательности**, да и в желательности подобного царства Божия на земле. Федор Тютчев и Федор Достоевский. Константин Леонтьев. Василий Розанов. Их мысли были невласть эпохе. Одного окрестили, поэтому, лириком, другого — «жестоким талантом», последнего — доморощенной помесью реакционера с чем-то фрейдобразным. А Константина Николаевича Леонтьева просто замолчали. Долго его просто не замечали. «Поверьте, — писал он 8 мая 1891 г. из Оптиной пустыни В. В. Розанову, — не нужно быть «малосведущим», чтобы не знать меня. Не вы первый открываете меня, как Америку... Почему это так? Не знаю... По-моему, это объясняется, с одной сто-

роны, очень просто: мало обо мне писали другие»...¹⁾ 13 июня того же года он опять пишет Розанову «неоцененному и неожиданному другу», как он его называет теперь: «Не думайте, что отзывам о моих сочинениях не было вовсе; за последние 5-6 лет их было там и сям достаточно, и даже были весьма похвальные, но все это было кратко, недоказательно, неясно и т. д. А главное, историческую мою гипотезу все старались обходить осторожным молчанием». ²⁾ Потом, с легкой руки Владимира Соловьева, о Леонтьеве заговорили в кругах, творивших так называемый «русский религиозно-философский ренессанс». Появились статьи о Леонтьеве Соловьева и Фуделя, Розанова, Булгакова, Бердяева, С. Трубецкого. Появились сборники его памяти, начали выходить томы его собрания сочинений (в 1912-1914 гг. всего вышло девять томов). Но широкой, подлинной известности не было. Слава не состоялась. Только некоторая часть «правых» литераторов извлекает иной раз на свет две-три более или менее перепутанные цитаты из Леонтьева, вернее — цитаты из книг, Леонтьева цитирующих.

Книги Леонтьева, саблинское собрание его сочинений, письма его, разбросанные в мало доступных читателю старых журналах, — всё это стало сейчас библиографической редкостью. Поэтому мы позволили себе такие обширные цитаты из Леонтьева — хочется не излагать его взгляды, а, по возможности, заставить его самого говорить. А говорить Константин Леонтьев умел хорошо, ярко, убедительно. Афористическая манера речи, переданная им Розанову, лучше всего передает его мысли.

«Увлекаясь то какой-то холодной и обманчивой тенью скучного, презренного всемирного блага, то одними племенными односторонними чувствами, мы можем неисцелимо и преждевременно расстроить организм нашего царства, могучий, но все-таки свободный, как и все на свете, к болезни и даже разложению, хотя бы и медленному. Идея всечеловеческого блага, религия всеобщей пользы, — самая холодная, прозаическая и вдобавок самая невероятная, неосновательная из всех религий. Во всех положительных религиях, кроме огромной позиции их, кроме их необычайно организующей мощи, есть еще нечто реальное, осязательное. В идее всеобщего блага реального нет ничего. Во всех мистических религиях люди согласны, по крайней мере, в исходном принципе... А общее благо, если только начать о нем думать (чего, обыкновенно, говоря о благе и пользе, в наше время и не делают), что в нем ока-

жется реального, возможного? Это самое сухое, ни к чему хорошему, даже ни к чему осязательному не ведущее отвлечение, и больше ничего. Один находит, что общее благо есть страдать и отдыхать попеременно и потом молиться Богу; другой находит, что общее благо это — то работать, то наслаждаться, всегда, — и ничему не верить идеальному; а третий — только наслаждаться всегда, и т. д. Как это примирить, чтобы всем нам было полезно (т. е. приятно-полезно, а не поучительно-полезно)? ... Однообразно-настроенное и блаженное человечество — это призрак и вовсе даже не красивый и не привлекательный»...³⁾

Свести все противоречивые и противоположные человеческие устремления, волнения, желания к чему-то средне-статистическому — это ничего не разрешить и никого не удовлетворить. Гетерогония человеческих волей и целей исконна и вечна, да так и надо, это и создает движение в мире, создает саму жизнь. Но, может быть, можно реформировать общество, построив его на принципах здравого смысла? Если и не все будут удовлетворены — это невозможно! — то хотя бы здравые притязания окажутся не за бортом жизни? Но что такое сам-то «здравый смысл»? Почему человек должен жить в обществе? Почему здравый смысл в этом деле здрав, а не повальная ошибка? Ведь мы смотрим на средние века как на безумие веры, а XXI век не выглядит ли на наш, как на безумие положительности, здравого смысла и пользолубия?»⁴⁾ За три года до этого Достоевский в «Записках из подполья» (1864) заявлял: «Выгода! Что такое выгода? Да и берете ли вы на себя совершенно точно определить, в чем именно человеческая выгода состоит? А что, если так случится, что человеческая выгода, иной раз, не только может, но даже и должна именно в том состоять, чтоб в ином случае себе худого пожелать, а не выгодного? ... Ведь вы, господа, сколько мне известно, весь ваш реестр человеческих выгод взяли средним числом из статистических цифр и из научно-экономических формул. Ведь ваши выгоды это — благоденствие, богатство, свобода, покой, ну и так далее, так что человек, который бы, например, явно и зазнамо пошел против всего этого реестра, был бы по-вашему, ... обскурант или совсем сумасшедший, так ли? Но ведь вот что бдивительно: отчего это происходит, что все эти статистики, мудрецы и любители рода человеческого, при исчислении человеческих выгод, постоянно одну выгоду пропускают? ... Беда бы не велика, взять

бы ее, эту выгоду, да и занести в список. Но в том-то и пагуба, что эта мудреная выгода ни в какую классификацию не попадает и ни в один список не умещается. ...Свое собственное, вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хоть бы даже до сумасшествия, — вот это-то и есть та самая, пропущенная, самая выгодная выгода, ...от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту. И с чего это взяли все эти мудрецы, что человеку надо какого-то нормального, какого-то добродетельного хотения? С чего это непременно вообразили они, что человеку надо непременно благоразумно-выгодного хотения? Человеку надо — одного только **самостоятельного хотения**, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела».

Леонтьев, отрицательно относившийся к Достоевскому и его «розовому христианству», высоко ценил «Записки из подполья», но воинствующий индивидуализм Достоевского был ему не по душе. Сам он пытался оставить в какой-то мере здравый смысл и выгоду на потребу практической жизни отдельного человека, выключая их из своей социологии и историософии. «Все, что я говорю, — пишет он в «Исповеди мужа», — не совсем согласно с философией здравого смысла. ... Для философии мироздания здравый смысл никуда не годится, но для философии жизни он одно спасение». ⁵⁾ Но и в социально-политической жизни целей народов и государств Леонтьев приемлет в известной мере здравый смысл и выгоду, как оценочный критерий и как побудительный жизненный импульс. Не приемлет он их только, как высший и всеобъемлющий критерий, тем более, как критерий всеобщий. «Вы видите, я ничего не говорю о сочувствиях, о страданиях и т. п. Все эти сердобольные фразы ни к чему не ведут. Откровенное обращение к интересам эгоистическим вернее. Если эгоизм государственного долга совпадает с преданиями, с привычными сочувствиями и т. п. вещами, очень высокими и важными (но не всегда политическими), тем лучше: тем больше можно верить бескорыстно сильной державе». Альтруизм, самопожертвование — всё это приложимо только к отдельной человеческой личности, и то в плане религиозно-мистическом, в плане личного спасения, «трансцендентального эгоизма», — ибо личность человеческая бессмертна и её ждет воздаяние за гробом. Ну, а нация, государство — они-то не бессмертны, они живут свой они-то не бессмертны, они живут свой век (1000-1200 лет максимум, как опреде-

ляет Леонтьев), — для них, следовательно, в их практической жизни, критерий чисто эгоистический, и только он. В этом Леонтьев — прямой ученик Н. Я. Данилевского, ⁷⁾ зависимость от которого — в ряде положений своего учения — сам он охотно признавал. Эгоизм, как вполне законный стимул поведения государства и отдельной личности — в пределах ее чисто-животной жизни, — не может, однако, быть высшим мериллом оценки. Но он, эгоизм, хорош тем, что не позволяет ни личности, ни государству «заноситься», превозносить себя выше всего; всякий эгоизм в глубине души сознает свою относительность, ограниченность другими личными и национальными, культурными и государственными эгоизмами, — и принужден прибегать — для оценки событий, поступков, творчества и поведения — к какому-то другому, **высшему критерию**. Поэтому — для отдельной личности высочайшим мериллом является религия: страх смерти и ответа на Страшном суде; жажда личного спасения — «трансцендентальный эгоизм» (в чем и заключается и мистическая, и жизненная сущность христианства для Леонтьева). Но может ли служить это мерило **всеобщим** критерием оценки? Оценки исторического процесса, оценки государственной деятельности? Нет, не может, — категорически отвечает Леонтьев. Да, религия, Церковь — выше государства, как государство выше племени, народа. Но можно ли судить магометанина или мусульманское государство с точки зрения догм христианской морали, и наоборот? Можно ли судить неверующего так, как верующего? Нет, нельзя, — говорит Леонтьев. Религиозный критерий — критерий абсолютный и высший, но не универсальный и не может быть таковым. Еще менее может быть таким критерием критерий национально-племенной. «Народ — тело Божие», — свидетельствует Достоевский устами Шатова. «Племя, разумеется, — явление очень реальное, — усмехается Леонтьев. — Поэтому племенные чувства и сочувствия кажутся сразу довольно естественными и понятными. Но и в них много необдуманности, модного суеверия и фразы. Что такое племя без системы своих религиозных и государственных идей? За что его любить? За кровь? Но кровь ведь, с одной стороны, ни у кого не чиста, и Бог знает, какую кровь иногда любишь, полагая, что любишь свою, близкую. И что такое чистая кровь? Бесплодие духовное! Все великие нации очень смешанной крови... Любить племя за племя — натяжка и ложь... Равенство лиц, равенство сословий, равенство (т. е. однообразие) провинций, равенство наций — это

все один и тот же процесс; в сущности, все то же всеобщее равенство, всеобщая свобода, всеобщая приятная польза, всеобщее благо, всеобщая анархия, либо всеобщая мирная скука. Идея национальностей чисто племенных в том виде, в каком она является в XIX веке, есть идея, в сущности, вполне космополитическая, антигосударственная, противорелигиозная, имеющая в себе много разрушительной силы и ничего создающего, наций **культурой** не обособляющая; ибо культура есть нечто иное, как своеобразие;⁸⁾ а своеобразие ныне почти везде гибнет преимущественно от политической свободы. **Индивидуализм** губит индивидуальность людей, областей и наций.»⁹⁾

Культура, т. е. своеобразие, своеобычность — вот критерий оценки. А это своеобразие является продуктом безудержного эгоизма, борьбы наций, классов, сословий, плодом многой крови и обилия страданий. И в основе своеобразия этого — свободная игра злых и добрых сил, лишенная моральной опеки всенивелилирующего «здравого смысла» и «общественной выгоды», никогда с личной выгодой не совпадающей.

«Под словом **культура** я понимаю вовсе не какую попало цивилизацию, грамотность, индустриальную зрелость и т. п., а лишь цивилизацию **свою по источнику**, мировую по преемственности и влиянию. Под словом своеобразная мировая культура я разумею: целую свою собственную систему отвлеченных идей, религиозных, политических, юридических, философских, бытовых, художественных, экономических (необходимо прибавить — **когда дело идет о нашем времени**, ибо нельзя же отвергать, что экономический вопрос **везде** теперь стоит на очереди и что та нация, или то государство, которому посчастливится захватить в свои могучие и **охранительные руки** это передовое и ничем до поры до времени неотвратимое движение умов, станет на целые века во главе человечества и не только себя прославит неслыханно, но и предохранит множество драгоценных этому человечеству предметов и начал от насильственного разрушения).»¹⁰⁾

Нельзя подходить с моральной оценкой к истории, к культуре: величайшая **гармония** достигается борьбой и сочетанием противоположностей. Деспотия — и какой-то социализм (лучше бы, с точки зрения Леонтьева, взятый под опеку абсолютизма, «охранительный»); свобода — и рабство; высочайшая культура и «неграмотность». В статье «Грамотность и народность» (1870 г.) Леонтьев объясняет некоторое своеобразие России и ее культуры тем, что простой великорусский народ еще в значительной

степени безграмотен, не приобщился к обезличенной средневековой образованности.¹¹⁾

«**Гармония**» — или прекрасное и высокое в самой жизни — не есть плод вечно мирной солидарности, а есть лишь **образ или отражение** сложного и поэтического процесса жизни, в которой есть место всему: и антагонизму и солидарности. Надо, чтобы составные начала цельного исторического явления были изыщны и могучи, — тогда будет и то, что называется высшей гармонией. Дорог не вечный мир на земле, а искреннее примирение после страстной борьбы и глубокий отдых в мужественном ожидании новых препятствий и новых опасностей, закаляющих дух наш!»¹²⁾ «Итак, какое дело частной, исторической реальной науке до неудобств, до потребностей, до деспотизма, до страданий? К чему эти не научные сентиментальности, столь выдохшиеся в наше время, столь прозаические вдобавок, столь бездарные? Какое научное право я имею думать о конечных причинах, о целях, о благоденствии, напр., прежде серьезного, долгого и бесстрастного исследования?»¹³⁾

Таким образом, только и остается одно мерило для оценки жизни и истории: «единство в разнообразии, так называемая гармония, в сущности не исключаящая антитезы и борьбы, и страданий, но даже требующая их». Опять вспоминается Достоевский: его чорт в разговоре с Иваном Карамазовым утверждает, что он, чорт, совершенно необходим для уничтожения скуки и односторонности всеобщей Осаннины: без него, чорта, и отдела происшествий в газетах не было бы: ничего бы не случилось... Бог и диавол, свет и тень, добро и зло — необходимые элементы гармонии, природной и эстетической. В замечательном письме свящ. о. И. Фуделю Леонтьев предлагает следующую схему относительной применимости тех или иных критериев:

Мистика (особенно положительные религии) Критерий только для единоверцев; ибо нельзя христианина судить и ценить по мусульмански и наоборот.

Этика и политика

Только для человека.

Биология (физиология человека, животных и растений, медицина и т. п.)

Для всего органического мира.

Физика (т. е. химия, механика и т. д.) и **Эстетика**

Для всего.¹⁴⁾

В письме В. В. Розанову от 13 августа 1891 г. Леонтьев сомневается, что его эстетический критерий будет понят, как следует. Розанов задумал статью о Леонтьеве, и

последний пишет по этому поводу: «Вы хотите озаглавить вашу статью: **«Эстетическое воззрение на историю»**... Опасаюсь, что очень немногие поймут слово «эстетика» так серьезно, как мы с вами его понимаем. Быть может, я ошибаюсь, но мне кажется, что в наше время большинство гораздо больше понимает эстетику в природе и в искусстве, чем эстетику в истории и вообще в жизни человеческой. Эстетика природы и эстетика искусства (стихи, картины, романы, театр, музыка) никому не мешают и многих утешают. Что касается настоящей эстетики самой жизни, то она связана со столькими опасностями, тяготами и жестокостями, со столькими пороками, что нынешнее боязливое (сравнительно, конечно, с прежним), слабонервное, маловерующее, телесно само изнеженное и жалостливое (тоже сравнительно с прежним) человечество радо-радешенько видеть всякую эстетику на полотне, подмостках опер и трагедий и на страницах романов, а в действительности — «избави Боже!» Мне иногда даже кажется, что по мере расширения круга среднего понимания природы и искусства, круг **эстетического** понимания истории все сужается и сужается. В этом случае само христианство (по-моему, конечно, ложно понимаемое большинством, т. е. понимаемое более с утилитарно-моральной, чем с мистико-догматической стороны) часто играет в руку демократическому прогрессу. ...Я считаю эстетику мерилom наилучшим для истории и жизни, ибо оно приложимо ко всем векам и ко всем местностям. Мерило положительной религии, напр., приложимо только к самому себе (для спасения индивидуальной души моей за гробом, трансцендентальный эгоизм) и вообще к людям, исповедующим ту же религию. Как вы будете, например, приступать со строго христианским мерилom к жизни современных китайцев и к жизни древних римлян? Мерило чисто моральное тоже не годится, ибо, во 1-х, придется предать проклятию большинство полководцев, царей, политиков и даже художников (большую часть художники были развратны, а многие и жестоки); остаются «мирные земледельцы» да какие-нибудь кроткие и честные ученые. Даже некоторые святые, признанные христианами церквями, не вынесут чисто этической критики. Напр., св. Константин, св. Ирина, св. Кирилл Александрийский и почти все ветхозаветные святые... Это вопервых. А во-вторых, этическое мировоззрение неизбежно и всегда колеблется между двумя разными моральями: моралью внутренней борьбы (или моралью стремле-

ния) и моралью внешнего результата (мораль осуществления). Пример 1-й морали: я рабовладелец; **могу бить**, могу даже изувечить раба, но воздерживаюсь от последнего, с большой победой над собою, хотя, однако, все-таки бью и бью крепко, но без членовредительства, и бью, напр., за дело, за грубость, за подлость и т. д. Пример 2-ой морали: не бью слугу вовсе, потому что боюсь мирового судьи. Первая мораль, конечно, менее верна; но зато она ближе и к мистической религии, и к эстетике (победа разума и сердца над гневом и зверством есть также **эстетическое** явление — моральная эстетика); вторая мораль — гораздо вернее: но ведь эта забота об одном лишь внешне-моральном результате и приводит шаг за шагом к тому обще-утилитарному мировоззрению, которое и есть всемирная уравнилельная **революция** (смещение, разрушение, вторичное упрощение и т. п.). В эстетическом же мировоззрении **все совместно!**... И все религии, и всякая мораль, даже до некоторой степени и мораль внешнего результата...

Все это так... Но, увы! Не только в глазах какой-попало публики, но и в глазах многих весьма серьезных, весьма влиятельных, весьма высоко в государстве поставленных людей слова: «художник», «эстетик», «эстетический взгляд на жизнь» роняют практическую ценность мыслей. Им представляется все это сейчас чем-то вроде излишества, роскоши, искусства для искусства, **десерта**, какого-то, без которого можно обойтись. Они не могут понять, что только там и **государственность сильна**, где в жизни еще много разнородной эстетики, где эта видимая эстетика жизни есть признак внутренней, практической, другими словами — **творческой силы**. Вот что я хотел сказать». ¹⁵⁾

Условимся в терминах: Леонтьев говорит все время об эстетике творческой, эстетике жизни и истории (развития), а не об эстетике **отражений** (эстетике искусства, также **творческого**) и тем более не об эстетике **восприятия** (— эстетизм, как чисто пассивное наслаждение зрителя, читателя, слушателя произведениями художественной литературы, изобразительного искусства, театра, музыки; или природой, как объектом незаинтересованного эстетического любования). Эстетическое понимание истории и жизни находит у Леонтьева обоснование в его триединой формуле развития.

«Говорят беспрестанно: «Развитие ума, науки, развивающийся народ, развитый человек, развитие грамотности, законы развития исторического, дальнейшее развитие наших учреждений» и т. д.». Но Леонтьев

протестует: вовсе не **развитие**: «**распространение, разлитие** грамотности — дело другое. Распространение грамотности, распространение пьянства, распространение холеры, распространение благонравия, трезвости, бережливости, распространение железных путей и т. д. Все эти явления представляют нам разлитие чего-то **однородного, общего, простого**. Идея же **развития** собственно соответствует в тех реальных, точных науках, из которых она перенесена в историческую область, некоему **сложному процессу** и, заметим, нередко вовсе **противоположному** с процессом распространения, разлития, процессу, как бы враждебному этому последнему процессу. Присматриваясь ближе к явлениям органической жизни, из наблюдений которой именно и взялась эта идея развития, мы видим, что процесс, развития в этой органической жизни значит вот что:

Постепенное восхождение от простейшего к сложнейшему, постепенная индивидуализация, обособление, с одной стороны, от окружающего мира, а с другой — от сходных и родственных организмов, от всех сходных и родственных явлений. Постепенный ход от бесцветности, от простоты к оригинальности и сложности. Постепенное осложнение элементов составных, увеличение богатства внутреннего и в то же время постепенное укрепление единства. Так что высшая точка развития не только в органических телах, но и вообще в органических явлениях, есть **высшая степень сложности, объединенная неким внутренним деспотическим единством**. ... То же и в развитии животного тела, и в развитии человеческого организма, и даже в развитии духа человеческого, характера. ... Все вначале просто, потом сложно, потом вторично упрощается, сперва **уравниваясь и смешиваясь внутренне**, а потом еще более упрощаясь отпадением частей и общим разложением, до перехода в неорганическую «Нирвану». При дальнейшем размышлении мы видим, что этот триединый процесс свойственен не только тому миру, который зовется собственно органическим, но, может быть, и всему существующему в пространстве и времени. Может быть, он свойственен и небесным телам, и истории развития их минеральной коры, и характерам человеческих; он ясен в ходе развития искусств, школ живописи, музыкальных и архитектурных стилей, в философских системах, в истории религий и, наконец, в жизни племен, государственных организмов и целых культурных миров. ... Напр., для небесного тела: а) **период первоначальной простоты**: расплавленное небесное

тело, однообразное, жидкое; б) период срединный, то состояние, которое можно назвать вообще цветущей сложностью: планета, покрытая корою, водою, материками, растительностью, **пестрая**; в) **период вторичной простоты**: остывшее или вновь, вследствие катастрофы, расплавленное тело и т. д. Мы замечаем то же и в истории искусств: а) период первоначальной простоты: циклопические постройки, конусообразные могилы этрусков..., избы русских крестьян, дорический орден, и т. д.; эпические песни первобытных племен; музыка диких; первоначальная иконопись, лубочные картины и т. д.; б) период цветущей сложности: Парфенон, храм Эфесской Дианы (в котором даже на колоннах были изваяния), Страсбургский, Реймский, Миланский соборы, св. Петра, св. Марка, римские великие здания, Софокл, Шекспир, Дант, Байрон, Рафаэль, Микель-Анджело и т. д.; в) период **смешения**, перехода во вторичное упрощение, упадка, замены другим: все здания переходных эпох, романский стиль..., все нынешние утилитарные постройки, казармы, больницы, училища, станции железных дорог и т. д. В архитектуре единство есть то, что зовут стилем. В цветущие эпохи постройки разнообразны в пределах стиля; нет ни эклектического смешения, ни бездарной старческой простоты. В поэзии тоже: Софокл, Эсхил и Эврипид — все одного стиля; впоследствии всё, с одной стороны, смешивается эклектически и холодно, понижается и падает. Примером вторичного упрощения всех прежних европейских стилей может служить современный реализм литературного искусства. В нём есть нечто и эклектическое (т. е. смешанное) и приниженное, количественно павшее, **плоское**. Типические представители великих стилей поэзии все чрезвычайно несхожи между собою: у них чрезвычайно много внутреннего содержания, много отличительных признаков, много индивидуальности. В них много и того, что принадлежит веку (содержание), и того, что принадлежит им самим, их личности, тому единству духа личного, которое они влагали в разнообразие содержания. Таковы: Дант, Шекспир, Корнель, Расин, Байрон, Вальтер-Скотт, Гете, Шиллер. В настоящее время, особенно после 48 года, всё **смешаннее** и сходнее между собою: общий стиль — отсутствие стиля и отсутствие субъективного духа, любви, чувства. Диккенс в Англии и Жорж-Занд во Франции (я говорю про старые ее вещи), как они ни различны друг от друга, но были оба последними представителями **сложного единства**, силы, богатства, теплоты. Реализм

простой наблюдательности уже потому беднее, проще, что в нем уже нет автора, нет личности, вдохновения, поэтому он пошлее, демократичнее, доступнее всякому бездарному человеку и пишущему, и читающему. Нынешний объективный, безличный всеобщий реализм есть вторичное **смесительное упрощение**, следовавшее за теплой объективностью Гете, Вальтер-Скотта, Диккенса и прежнего Жорж-Занда, больше ничего. ... В истории философии то же... Тому же закону подчинены и государственные организмы, и целые культуры мира. И у них очень ясны эти три периода: 1) первичной простоты; 2) цветущей сложности и 3) вторичного смесительного упрощения». 16)

Эстетика жизни и истории (развития) полностью совпадает с социальной физикой и онтологией («физикой» в схеме Леонтьева). Красота есть единство в цветущем многообразии, в сложности. Она — вершина расцвета. Она — форма. Она — кристаллизация. «Форма вообще есть выражение идеи, заключенной в материи (содержании). Она есть отрицательный момент явления, материя — положительный. В каком это смысле? Материя, напр., данная нам, есть стекло, форма явления — стакан, цилиндрический сосуд, полный внутри; там, где его уже нет, начинается воздух или жидкость внутри сосуда; дальше материя стекла не может идти, не смеет, если хочет остаться верна основной идее своего полого цилиндра, если не хочет перестать быть стаканом. **Форма есть деспотизм внутренней идеи, не дающей материи разбегаться.** Разрывая узы этого естественного деспотизма, явление гибнет. ... Кристаллизация есть деспотизм внутренней идеи. Одно вещество должно, при известных условиях, оставаясь самим собою, кристаллизоваться призмами, другое — октаэдрами и т. п. Иначе они не смеют, иначе они гибнут, разлагаются. Растительная и животная морфология есть также нечто иное, как наука о том, как оливка не смеет стать дубом, как дуб не смеет стать пальмой и т. д.; им с зерна **предустановлено** иметь такие, а не другие листья, такие, а не другие цветы и плоды. ... Тот, кто хочет быть истинным реалистом именно там, где нужно, тот должен бы рассматривать и общества человеческие с подобной точки зрения. Но обыкновенно делается не так. Свобода, равенство, благоденствие (особенно это благоденствие!) принимаются какими-то догматами веры, и уверяют, что это очень рационально и научно! Да кто же сказал, что это правда?» 17)

Совершенный и законченный детерми-

низм. Никакого проблеска свободы выбора. Все в жизни человеческой, в жизни нации, культуры, в жизни государства предустановлено, предопределено. Какой-то мусульманский «кисмет». Самое большее, что можно сделать — это несколько задержать, «подморозить» процесс развития, продлить несправедливый, но прекрасный период цветущей сложности. Вот и все... Европейский же гуманизм, обездуховленный и обезбоженный индивидуализм — начало смерти индивидуальности, самости и самобытности. Не иронический господин «Подполья» Достоевского, до последних пределов дошедший в апофеозе личности и ее свободы: свободы «по своей глупой воле пожить»; а апофеоз формы, как деспотизма идеи, апофеоз силы государства и — еще выше — апофеоз церкви, не как Целительницы и Освободительницы, а как властной организации, устрашающей запретным последним Судом: не любовь и свобода духа, а **страх Божий** — и жажда спасения: трансцендентальный эгоизм...

«Какое мне дело, в более или менее отвлеченном исследовании, не только до чужих, но и до моих собственных неудобств, до моих собственных стонów и страданий? Государство есть, с одной стороны, как бы дерево, которое достигает своего полного роста, цвета и плодоношения, повинаясь некоему таинственному, независящему от нас деспотическому повелению внутренней, вложенной в него идеи. С другой стороны, оно есть машина, и сделанная людьми полусознательно, и содержащая людей, как части, как колеса, рычаги, винты, атомы, и наконец, машина, вырабатывающая, образующая людей. Человек в государстве есть в одно и то же время и механик, и колесо или винт, и продукт общественного организма. На которое бы из государств древних и новых мы ни взглянули, у всех найдем одно и то же общее: простоту и однообразие в начале, **больше равенства и больше свободы** (по крайней мере фактической, если не юридической свободы), **чем будет после.** Закрывши книгу на второй или третьей главе, мы находим, что все довольно схожи, хотя и не совсем. Взглянув на растение, выходящее из земли, мы еще не знаем хорошо, что из него будет. Различий слишком мало. Потом мы видим большее или меньшее укрепление власти, более или менее резкое (смотря по задаткам первоначального строения) разделение сословий, большее разнообразие быта и разнохарактерность областей. Вместе с тем увеличивается, с одной стороны, богатство, с другой — бедность, с одной стороны, ресурсы наслаждения разнообразятся,

с другой — разнообразие и тонкость (развитость) ощущений и потребностей порождают больше страданий, больше грусти, больше ошибок и больше великих дел, больше поэзии и больше комизма; подвиги образованных — Фемистокла, Ксенофонта, Александра — крупнее и симпатичнее простых и грубых подвигов Одиссея и Ахиллов. Являются Софоклы, являются и Аристофаны, являются вопли Корнелей и смех Мольеров. У иных Софоклы и Аристофан, Корнель и Мольер сливаются в одного Шекспира или Гете. Вообще в эти сложные цветущие эпохи есть какая бы то ни было аристократия, политическая, с правами и положением, или только бытовая, т. е. только с положением без резких прав, или еще чаще стоящая на грани политической и бытовой. Эвпатриды Афин, феодалы сатрапы Персии, оптиматы Рима, маркизы Франции, лорды Англии, воины Египта, спартиаты Лаконии, знатные дворяне России, паны Польши, беи Турции. В то же время, по внутренней потребности единства, есть склонность и к единоличной власти, которая по праву или только по факту, но всегда крепнет в эпоху цветущей сложности. Являются великие замечательные диктаторы, императоры, короли или, по крайней мере, гениальные демагоги и тираны (в древне-эллинском смысле), Фемистоклы, Периклы и т. п. ... А страдания? Страдания сопровождают одинаково и процесс роста и развития, и процесс разложения. Все болит у древа жизни людской... Болит начальное прозябание зерна. Болят первые всходы; болит рост стебля и ствола, развитие листьев, и распускание пышных цветов (аристократии и искусства) сопровождаются стонами и слезами. Болят одинаково эгалитарный быстрый процесс гниения и процесс медленного высыхания, застоя, нередко предшествующий эгалитарному процессу. ... Боль для социальной науки — это самый последний из признаков, самый неуловимый: ибо он субъективен, и верная статистика страданий, точная статистика чувств невозможна будет до тех пор, пока для чувств радости, равнодушия и горя не изобретут какое-нибудь графическое изображение, какое-нибудь объективное мерло... Статистики нет никакой для субъективного блаженства отдельных лиц; никто не знает, при каком правлении люди живут приятнее. Бунты и революции мало доказывают в этом случае. Многие веселятся бунтом. ... Никакой нет статистики для определения, что в республике жить лучше частным лицам, чем в монархии; в ограниченной монархии лучше, чем в неограничен-

ной; в эгалитарном государстве лучше, чем в сословном; в богатом лучше, чем в бедном. Поэтому, отстраняя мерло благоденствия, как недоступное..., гораздо безошибочнее будет обратиться к объективности, к картинам и спрашивать себя, нет ли каких-нибудь всеобщих и весьма простых законов для развития и разложения человеческих обществ?»¹⁸⁾

Эти законы Леонтьев и устанавливает: это — его «триединая формула развития». Для России период ее сложного цветения, ее эпоха «Возрождения» начинается в Петровское царствование.¹⁹⁾ Русская идея (— форма, т. е. «деспотизм внутренней идеи») — византизм, т. е. привитый к русскому дичку (матери, славянству) благородный отросток — православное самодержавие. «Изменяя, даже в тайных помыслах наших, этому византизму, мы погубим Россию».²⁰⁾ Говорить, что Россию выручит ее относительная молодость, что Запад гибнет от дряхлости, а России еще жить да жить, — подлинная маниловщина: «с чего бы мы ни начали считать нашу историю, с Рюрика ли (862), или с крещения Владимира (988), во всяком случае выйдет 1012 лет или 886.²¹⁾ В первом случае мы несколько не моложе Европы; ибо и ее государственную историю надо считать с IX века. А вторая цифра также не должна нас слишком обеспечивать и радовать. Не все государства прожили полное 1000-летие. Больше прожить трудно, меньше очень легко».²²⁾

Социальный, национальный, государственный организм подлежит тем же законам, как и организм индивидуальный. Он рождается, расцветает, дряхлеет и умирает. Процесс дряхления-умирания многими прекраснодушными социологами и идеологами принимается как-раз за процесс прогрессивный, за процесс, несущий людям свободу, равенство, братство, царствие Божие на земле. Ведь в этом случае социалисты и коммунисты — те же хилиасты. И они верят в наступление такой Осанны, когда «уже нельзя будет ни языка высушить, ни кукиша в кармане показать», — так все будет разумно и совершенно.

«Социальная наука едва родилась, а люди, пренебрегая опытом веков и примерами ими же теперь столь уважаемой природы, не хотят видеть, что между эгалитарно-либеральным поступательным движением и идеей развития нет ничего логически родственного, даже более: эгалитарно-либеральный процесс есть антитеза процессу развития. При последнем внутренняя идея держит крепко общественный материал в своих организующих, деспотических объ-

ятиях и ограничивает его разбегающиеся, расторгающие стремления. Прогресс же, борющийся против всякого деспотизма — сословий, цехов, монастырей, даже богатства и т. п., — есть не что иное, как процесс разложения, процесс того вторичного упрощения целого и смещения составных частей, о котором я говорил выше, процесс сглаживания морфологических очертаний, процесс уничтожения тех особенностей, которые были органически (т. е. деспотически) свойственны общественному телу. Явления эгалитарно-либерального прогресса схожи с явлениями горения, гниения, таяния льда (менее свободного, ограниченного кристаллизацией); они сходны с явлениями, напр., холерного процесса, который постепенно обращает весьма различных людей сперва в более однообразные трупы (равенство), — потом в совершенно почти схожие (равенство) остоны и, наконец, в свободные (относительно, конечно): азот, водород, кислород и т. д.»²³)

Обездуховленный и обезбоженный, секуляризованный индивидуализм, именующий гуманизмом, неизбежно приводит европейскую государственность и культуру к вторичному смертельному упрощению, т. е. к смерти. Элементы, приводящие к смерти, содержатся в каждом явлении с момента его появления на свет Божий. В этом смысле рождение есть уже первый шаг к смерти. Нет ничего постоянно пребывающего. Все находится в процессе развития-расцвета-разложения. Цивилизация европейская сложилась из византийского христианства, германского рыцарства, эллинской эстетики и философии (к которым не раз прибегала Европа для освежения) и из римских муниципальных начал. Борьба всех этих четырех начал продолжается и ныне на Западе. Муниципальное начало победило все остальные и **исказило** (или, если хотите, просто изменило) характер и христианства, и германского индивидуализма, и кесаризма римского, и эллинских, как художественных, так и философских преданий. Вместо христианских **загробных** верований и **аскетизма**, явился **земной гуманный утилитаризм**; вместо мысли о любви к Богу, о спасении души, о соединении с Христом, — заботы о всеобщем практическом благе. Христианство же настоящее представляется уже не божественным, в одно и то же время и отрадным и **страшным** учением, а детским лепетом, аллегорией, моральной басней, дельное истолкование которой есть **экономический** и моральный **утилитаризм**. Аристократические пыш-

ные наслаждения мыслящим сладострастием, «бесполезной (!) отвлеченной философией и **вредной** изысканностью высокого Идеального искусства», эти стороны западной жизни, унаследованные ею или прямо от Эллады, или через посредство Рима времен Лукуллов и Горациев, утратили также свой прежний барский и царственный характер и приобрели характер более демократический, более доступный всякому и потому **неизбежно и более пошлый, некрасивый и более разрушительный**, вредный для старого стиля. Личные права каждого, благоденствие всех (перереживание, демократизация германского индивидуализма и христианская личная доброта, обращенная в предупредительный **безличный** сухой утилитаризм) и здесь играют свою роль. «И я имею те же права!» говорит всякий и по вопросу о наслаждениях, забывая, что «quod licet Jovi, non licet bovi», — «что идет Людовику XIV, то нейдет Гамбетте и Руместану».²⁴)

Европа давно пережила уже и практику гражданского политического смещения, и практику полного нивелирования национальных особенностей, особенности отдельных областей и городских общин. Вся эта «феодалная» пестрота, напр., эпохи Ренессанса, приводила к бесчисленным войнам, восстаниям, политическим интригам, закабалению целых сословий. Но каждая область, каждый город имел свой, ему только свойственный облик, и Сиенна, Пьемонт, Венеция, Флоренция, Рим, Калабрия. Милан — не были только географическими наименованиями, а имели свои школы живописи, поэзии, музыки, свой стиль жизни и свою историческую физиономию, не сливающуюся в физиономию общегерманского (вернее, средневропейского) буржуа. Тоже — Париж, Лимож, Нормандия, Прованс, Лион — во Франции; тоже — по отношению к отдельным многочисленным государствам Германии, Австрии. Каждый мелкий немецкий князь или ландграф старался обзавестись собственным университетом, собственной академией искусств и наук, собственным театром и собственной картинной галереей. Но этого мало: каждый властитель, каждый город культивировал свои особые школы и школки, и мы сейчас ясно различаем стиль искусства маленького Кульмбаха, Авиньонскую школу художников Вероны или Мантуи. **Материально** великая европейская культура не умирает еще. «Цивилизация, культура, есть именно та сложная система отвлеченных идей (религиозных, государственных, личностно-нравственных, философских и художе-

ственных), которая вырабатывается всей жизнью наций. Она как **продукт** принадлежит государству; как **пища**, как **достояние** она принадлежит всему миру. ... Европейское наследство вечно и до того богато, до того высоко, что история еще ничего не представляла подобного. Но вопрос вот в чем: если в эпоху современного, позднего плодonoшения своего европейские государства сольются действительно в какую-нибудь федеративную, грубо-рабочую республику, не будем ли мы иметь право назвать этот исход падением прежней европейской государственности? Какой ценой должно быть куплено подобное слияние? Не должно ли будет это новое всеевропейское государство отказаться от признания в принципе всех местных отличий, отказаться от всех, хоть сколько-нибудь чтимых преданий, быть может... (кто знает!) сжечь и разрушить главные столицы, чтобы стереть с лица земли те великие центры, которые так долго способствовали разделению западных народов на враждебные национальные станы. На розовой воде и сахаре не притотовляются такие коренные перевороты: они предлагаются человечеству всегда путем железа, огня, крови и рыданий». И Леонтьев уверен, что, хотя европейская культура материально и переживет европейские государства, но социализм купно со «средним европейцем» - буржуа приведет Европу к созданию единого, обезличенного всеевропейского государства, государства средних людей, одинаковых, фабричного массового выпуска.²⁵⁾ Европа «не хочет больше морфологии! Она стремится посредством этого смещения к идеалу **однообразной простоты**». ²⁶⁾ «Господство... среднего класса — есть тоже упрощение и смещение; ибо он по существу своему стремится все свести к общему типу так называемого «буржуа». ... Хорош идеал!»²⁷⁾

Царство этого среднего буржуа — начало полного упрощения и смещения, начало конца, неизбежного и неотвратимого. Леонтьев яро ненавидит этого либерального мечанина. Одну из своих талантливейших работ он называет так: «Средний европеец, как идеал и орудие всемирного разрушения». «А жизнь видимо пошлет от прогресса», вздыхает он время от времени в своей автобиографии «Моя литературная судьба». ²⁸⁾ Это естественно. Вода в глубоких колодезях всегда вкусна и прохладна, утоляет жажду и дает наслаждение. Но разлейте воду отдельных одиноких колодезев по всей выгоревшей пыльной степи — и в мелкое болото превратится живительная влага, не напав, не утолив даже

жажды потрескавшейся от засухи земли. Чем шире распространяется культура — тем более она плоска, скудна и немощна. И высокие романские башни монастырей, готический лес соборов и одинокие литературные вершины прошлого кажутся нам, в нашей иссохшей пустыне, чем-то совсем немислимым, мы чудимся им — как они могли «состояться»?

А среднему человеку, наградившему нас, к слову сказать, уже в наши дни и фашизмом, и коммунизмом, и нацизмом, и движениями - «человека улицы», — этому «среднему человеку» не нужно ничего. «Кто же ему нужен? Ему для прогресса нужны: агрономы..., профессора, фабриканты, работники, механики и, наконец, художники и поэты... Прекрасно: понятно, что механик, агроном, ученый, могут, как сыр в масле, кататься, обращая пышный шар земной в одну скучную и шумную мастерскую... Но что делать поэту и художнику в этой мастерской? ... Они и без того задыхаются больше и больше в современности. Не лучше ли сказать, что и они вовсе не нужны, что без этой роскоши человечество может благополучно прозябать». ²⁹⁾ И поэта заставляют петь практически нужные оды среднему человеку, а художнику заказывают лозунги, портреты и оформленные ресторанов и газет... А наука? Образование и науку придется сдерживать, ибо наука, пути сообщения, все убыстряющийся темп жизни и промышленности, всеобщее образование — всё это бессмысленное уторопление жизни к смерти, вся эта сутолока — грозят самой физической жизни человечества. «Слишком шумно становится в мире!» — жаловался Достоевский. А Леонтьев спрашивал: «разве не может случиться, что именно дальнейший ход цивилизации приведет к тому, что наука государственная, философская, психология и политико-социальная практика признают необходимым поддерживать преднамеренно наибольшую неравномерность знания в обществе? Я полагаю, судя по разрушительному ходу современной истории, что именно высший разум принужден будет выступить, наконец, почти против всего того, что так популярно теперь, т. е. против равенства и свободы (другими словами, против смещения сословий, конечно), против всеобщей грамотности и против демократизации познаний. Вероятно даже против злоупотребления **машинами** и против разных прикладных изобретений, «балующихся», так сказать, весьма опасно со страшными и таинственными силами природы». ³⁰⁾ И в другом месте: «Господство средних людей, несомненно оживляя на

короткое время устаревшие общества, приводит, однако, очень скоро эти общества к гибели государственной и культурной. Это господство, усиливая кратковременную социальную динамику, нарушает очень скоро все условия, благоприятные социальной статике». ³¹⁾

Уже в самом начале нашего века Христиансен издевался над идеей всеобщего образования: если образованность перестанет быть привилегией, — кто же станет к ней стремиться? А демократизация науки и искусства приводит к такому катастрофическому падению их уровня, что заставляет задуматься над вопросом — не следует ли вернуться к индивидуальному ученичеству Средних веков и Возрождения? Следует ли говорить о том, что машина уже съела личность, а некоторые изыскания сейчас являются строгой тайной государств, боящихся гибельных последствий ряда открытий, и не только в области атомной физики... Но, главное, либеральный мещанин является всегда только предтечей социализма-коммунизма. Буржуазная демократия — только увертюра к коммунистической опере. «Социально-политические опыты ближайшего грядущего (которые, по всем вероятностям, неотвратимы) будут, конечно, первым и важнейшим камнем преткновения для человеческого ума на ложном пути искания общего блага и гармонии. Социализм (т. е. глубокий и отчасти насильственный экономический и бытовой переворот) теперь видимо неотвратим, по крайней мере, для некоторой части человечества. Но, не говоря уже о том, сколько страданий и обид его воцарение может причинить побежденным (т. е. представителям либерально-мещанской цивилизации), сами победители, как бы прочно и хорошо ни устроились, очень скоро поймут, что им далеко до благоденствия и покоя. И это, как дважды два четыре, вот почему: эти грядущие победители устроятся или свободнее, либеральнее нас, или, напротив того, законы и порядки их будут несравненно стеснительнее наших, строже, даже страшнее. В последнем случае жизнь этих новых людей должна быть гораздо тяжелее, болезненнее жизни хороших, добросовестных монахов в строгих монастырях... А эта жизнь для знакомого с ней очень тяжела (хотя имеет, разумеется, и свои, совсем особые, утешения); постоянный тонкий страх, постоянное неумолимое давление совести, устава и воли начальствующих... Но у афонского киновиата есть одна твердая и ясная утешительная мысль, есть спасительная нить, выводящая его из лабиринта ежеминутной тонкой борьбы: за-

гробное блаженство. Будет ли эта мысль утешительна для людей предполагаемых экономических общежитий, этого мы не знаем». ³²⁾

Буржуазное общество своими идеями средневропейского индивидуализма, всемирного мирного государства, отделения церкви от государства, всеобщего образования, идеями свободы, равенства и братства — само готовит социалистическую революцию. «Социализм со всеми его разветвлениями есть ничто иное, как вполне законное по логике происхождения детище тех прогрессивно-звездомонических идей, тех верований в благо земное от равенства и свободы, которые Франция объявила в 89 году и которые в других странах Европы распространились без гильотины и без больших народных восстаний весьма разнообразными путями... Идея свободы (свободы от чего? Для чего? И во имя чего), сказано давно уже многими, есть лишь понятие чисто отрицательное и значит, что личность, или нация, состоящая из лиц же, или какой-нибудь класс людей должен встречать как можно меньше препятствий и ограничений со стороны Церкви, государства, общества и семьи на жизненном пути своём. Но во имя чего, для какого идеала дается и требуется эта свобода? Тут ответ один — для **блага**, для большего удобства и счастья на земле³³⁾. Но что же такое это счастье масс на земле? Кто определит — что является благом для всех и каждого? И возможно ли такое всеобщее благо?

Социалисты — верующие. Они свято веруют в свой незамысловатый катехизис — в наступление **окончательного**, заключительного периода — земного рая. Социалисты полны «упований на окончательную мертвенную неподвижность всеобщего мира и благоденствия»³⁴⁾, но ведь нельзя утолить жажду морской водой, и притязания всегда растут быстрее их удовлетворения. Да и можно ли остановить процесс жизни, процесс развития? «Что такое **окончательное** слово на земле!? **Окончательное** слово может быть одно: — **Конец всему на земле!** Прекращение истории жизни... Иначе почему же и в каком смысле окончательное? Ведь неподвижным и неизменным не может же стать человечество ни умом, ни вкусами, ни волей?»³⁵⁾

А потом, стремясь к свободе — без веры в Бога и в высшие духовные ценности, без веры в долг и обязанность человека к Пославшему его в мир, — коммунисты и социалисты неизбежно приходят к сутубому рабству, к новому расслоению общества на классы, даже на наследственные сословия, к деспотизму верховной власти. Без этого

деспотического управления, без этих коммунистических сословных верхов коммунизм-социализм существовать не может: и тут действует тот же принцип аморфной материи (массы, народа) и организующей её, «не дающей разбежаться», формы (строга сословная деспотия). Об этом говорил устами Шигалева Достоевский. Об этом свидетельствовал Константин Леонтьев: «Если же анархисты и либеральные коммунисты, стремясь к собственному идеалу крайнего равенства (который невозможен) своими собственными методами необузданной свободы личных посягательств, должны рядом антитез привести общества, имеющие еще жить и развиваться, к большей неподвижности и весьма значительной неравноправности, то можно себе сказать вообще, что социализм, понятый как следует, есть не что иное, как новый феодализм, уже вовсе недалекого будущего, разумея при этом слово феодализм, конечно, не в тесном и специальном его значении романо-германского рыцарства и общественного строя... а в самом широком его смысле, т. е. в смысле глубокой нравственности классов и групп, в смысле разнообразной децентрализации и группировки социальных сил, объединенных в каком-нибудь центре духовном или государственном: в смысле нового закрепощения лиц другими лицами и учреждениями, подчинение одних общин другим общинам, несравненно сильнейшим, или чем-нибудь облагороженным (так, напр., как были подчинены у нас в старину рабочие селения монастырям)»³⁶). И Леонтьев называет социализм «реакционной организацией будущего»³⁶).

Спасется ли Россия? Едва ли, — отвечает Леонтьев. Он не верит в природную стойкость русской семьи, ни в творческие силы русского народа. Славяне — аморфны по самой природе своей. Лишь сильная государственность и православие — византизм — могут задержать, «подморозив», процесс эгалитарного прогресса, — замедлить приход как всегда неизбежной смерти. «Спасемся ли мы государственно и культурно? Заразится ли мы столь несокрушимой в духе своем китайской государственностью и могучим, мистическим настроением Индии? Соединим ли мы эту китайскую государственность с индийской религиозностью, и подчиняя им европейский социализм, сумеем ли мы постепенно образовывать новые общественные прочные группы и расслоить общество на новые горизонтальные слои — или нет? Вот в чём дело! Если же нет, то мы поставлены в такое центральное положение именно только для

того, чтобы, окончательно смешавши всех и вся, написать последнее «мене-теке-фарес!» на здании всемирного государства... **Окончить историю, погубив человечество:** разлитием всемирного равенства и распространением всемирной свободы сделать жизнь человеческую на земном шаре уже совсем невозможной. Ибо ни новых диких племён, ни старых уснувших культурных миров тогда уже на земле не будет»³⁷).

В статье «Над могилой Пазухина» (1891) еще более мрачные предчувствия одолевают Леонтьева. Уже не социальная гибель, а гибель духовная: «Без строгих и стройных ограничений, без нового и твердого расслоения общества, без всех возможных настойчивых и неустанных попыток к восстановлению расшатанного сословного строя нашего, — русское общество, и без того довольно эгалитарное по привычкам, помчится еще быстрее всякого другого по смертному пути всесмещения и — кто знает? — подобно евреям, не ожидавшим, что из недр их выйдет Учитель Новой Веры, — и мы, неожиданно, лет через 100 каких-нибудь, из наших государственных недр, сперва бессословных, а потом бесцерковных или уже слабо-церковных, — родим... антихриста...»³⁸).

Исхода нет. Всё предопределено, всё детерминировано. Сама эстетика ушла целиком в эстетизм, в чисто-пассивное «лакомствование». Сама литература развратила, само искусство растлило человечество. Красота ушла из жизни и истории на книжные полки, на подмостки театров, на музыкальную эстраду. А в жизни её больше нет. По крайней мере, в Европе. Сам Леонтьев бежит на Восток — там живёт еще живая красота, красота жизни. Эстетика истории. «Конечно, все путешественники надоели даже, говоря о живописном Востоке. Но дело не в маскараде каком-то, а в том, что европейская цивилизация малопомалу сбывает всё изящное, живописное, поэтическое в музеи и на страницы книг, а в самую жизнь вносит везде прозу, телесное безобразие, однообразие и смерть»³⁹). О литературе Леонтьев такого же мнения: нужна красивая жизнь, а не блестящая литература. Нужна эстетика жизни, а не эстетика отражений. А гипертрофия эстетизма ведет к расслаблению людей, к их обезволиванию: привыкнув к пассивному переживанию радостей и страданий, к их созерцанию на сцене, к чтению о них в книгах, люди утрачивают интерес к самой жизни. «Около года тому назад я начал печатать... под заглавием: «Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой», мои размышления о том, который из них должен

быть для России дорожке: сам творец или создание его гения, столь реальное и правдоподобное? Великий ли романист, или воин, энергический, образованный и твердый, видимо способный притом понести и тяжкую ношу государственного дела? ... В наше смутное время, и раздражительное, и малодушное, Вронские гораздо полезнее нам, чем великие романисты, и тем более, чем эти вечные «искатели», вроде Левина, ничего ясного и твердого все-таки не находящие: ... О романистах я сказал там прямо: «Без этих Толстых, т. е. без великих писателей — художников, можно и великому народу долго жить, а без Вронских мы не проживем и полувека... Без них и писателей национальных не станет, ибо и сама нация скоро погибнет»⁴⁰).

Самоцельная, самодовлеющая, в себе самой усматривающая цель деятельность — игра, а не творчество (цель которого всегда лежит вне процесса самой деятельности), — это не только пассивное восприятие образов искусства. Эстетизируется сама религия. Представление о христианстве у Леонтьева достаточно жесткое. Не религия любви, а религия страха Божия, страха грядущего возмездия и жажды личного спасения. «Начало премудрости (т. е. настоящей веры) есть **страх**, а любовь — только **плод**. Нельзя считать плод корнем, а корень плодом»⁴¹). Но и религиозное сознание разлагается. «В религии что-нибудь одно: или наивная простота, или романтическая интенсивность. Там, где утрачивается простота первобытная, необходима интенсивность романтических чувств; нужны страдания не простые, не прубые страдания, которые бывают везде, а страдания, которые ищут исхода лишь в идеальном мире и в идеальных чувствах»⁴²). И сам Леонтьев думает оправдать как-то эту подмену суровой простоты религии «изящными воспоминаниями о семье и церкви», но борется, искренне и горячо, против своего церковного эстетизма, и кончает постригом...

Слабое место концепции Леонтьева хорошо подметил И. С. Аксаков: это — детерминизм, это — выключение всякой свободы выбора. В автобиографии «Моя литературная судьба» Леонтьев передает обрывок своего спора с Иваном Аксаковым: «... — Потом, продолжал Иван Сергеевич, — вы совершенно уничтожаете влияние лица, вы забываете свободную, личную деятельность человека... У вас ваш процесс развития и вторичного упрощения есть процесс фаталистический, деспотический, неизбежный... Поэтому о чем же хлопотать? Зачем писать? Вы — Иеремия, плачущий над развалинами...

— А разве Иеремия не писал? — спросил я. Аксаков никак видимо не ожидал этого соображения и замолк вдруг; он забыл, что Иеремия писал»⁴³).

Ответ, конечно, остроумный. Но он не является ответом **по-существу**. Ибо сам Леонтьев писал о полной и неотвратимой гибели: «Верно только одно, ... одно только несомненно, — это то, что всё здешнее должно погибнуть! И потому на что эта лихорадочная забота о земном благе грядущих поколений?»⁴⁴) Но если так, то и проповедь Леонтьева — только игра ума, самоцельная и ничего остановить немогущая... Впрочем, остается одно утешение: заключающий размышления Леонтьева его «оптимистический пессимизм»:

«Итак, испытавши все возможное, даже и горечь социалистического устройства, передовое человечество должно будет неизбежно впасть в глубочайшее разочарование; ... наука поэтому должна будет неизбежно принять тогда более разочарованный, пессимистический... характер. **И вот где ее примирение с положительной-религией**, вот где ее теоретический триумф: в сознании своего практического бессилия, в мужественном покаянии и смирении перед могуществом и правотой сердечной мистики и веры»⁴⁵).

И еще одно внутреннее, душевное противоречие: критерий самой верховной оценки, самой высшей духовной силы — религия — наименее широк и наименее объемлющ. Самый широкий, самый объемлющий критерий — физика (онтология-феноменология) и эстетика — обречен гибели, да и нередко находится в противоречии с христианской практикой и даже догмой. Завершение одного из самых глубоких писем Леонтьева — его письма к В. В. Розанову от 13 авг. 1891 г., — трагично: «В заключение дерзну прибавить несколько «безумных» моих афоризмов:

1) Если видимое разнообразие и ощущаемая интенсивность жизни (т. е. эстетика) суть признаки внутренней **жизнеспособности** человечества, то уменьшение их должно быть признаком устарения человечества и его близкой смерти (на земле).

2) Более или менее удачная повсеместная проповедь христианства должна неизбежно и значительно уменьшить это разнообразие (прогресс же, столь враждебный христианству **по основам**, сильно вторит ему в этом по внешности, отчасти и подделываясь под него).

3) Итак, и христианская проповедь, и прогресс европейский совокупными усилиями стремятся убить **эстетику жизни на земле, т. е. самую жизнь**.

4) И церковь говорит: «Конец приближился, когда Евангелие будет проповедано везде».

5) **Что же делать?** Христианству мы должны помогать, даже и в ущерб любимой нами эстетике, из **трансцендентального эгоизма**, по страху загробного суда, для спасения наших собственных душ, но прогрессу мы должны, где можем, противиться, ибо он одинаково вредит и христианству, и эстетике.» 46)

Розанов делает решительный шаг: он выберет эстетику жизни, жизни цветущей и плодоносящей, и отвернется не только от прогресса и литературности, но и от «Иисуса сладчайшего» во имя «горьких плодов мира сего». Он отвергнет «Темный Лик» христианства. Он блестяще, по-своему, определит и эстетику Леонтьева: «...его «эстетизм» был синонимичен, или, пожалуй, вытекал, или коренился на **антисмертности**, или, пожалуй, на **бессмертии красоты**, прекрасного, прекрасных форм. В «эстетику» он «открывал форточку» из анатомического театра своих грустных до черноты политических и художественных наблюдений, соображений.» 47)

Сам Леонтьев тоже сделал выбор: он стал полумонахом **при монастыре**, а перед смертью пострится в монахи. Но смирился ли он? О нет! До конца он сомневался в правильности своего выбора.

«И если я **смирился**, то это никак не потому, что я в **свой собственный разум** стал меньше верить, а вообще в **человеческий разум**. Я нахожу теперь, что самый глубокий блестящий ум ни к чему не ведет, если нет судьбы Свыше. ... Я не нахожу, что другие были способнее или умнее меня; я нахожу, что **Богу было угодно убить меня**... Мне скажут, что под этим **церковным смирением** моим скрыта **житейская гордость**, такая сатанинская гордость, которую труднее было бы и ожидать от товарищеского добродушия, уживчивости, мягкости характера, за которые меня многие любят. . . А я скажу: да!.. Тем более, что я все-таки прав. . . » 48)

Есть неудачники, сыгравшие значительно большую роль, чем благополучные литературные преуспеватели. Есть трагические крушения, которые предпочитаешь победам. Леонтьев шел смело до конца. Он не боялся ни крайних выводов — а редко кто не боится выводов из своих собственных положений! — ни внутренних противоречий, ни отрицания дела всей своей жизни. Жизнь во всем ее многообразии не вместишь в узкие пределы любой системы. В каждой системе взглядов должна быть допущена

на искусственность, должна быть допущена внутренняя фальшь. Нужно отказаться от какой-то правды, чтобы построить законченную систему. Леонтьев не видит правды всецелой. Он — человек, одержимый всю жизнь одной идеей. Но он видит и все ее противоречия, он, христианин и ученик оптинских старцев, отказывается от единой мысли, которой посвятил всю жизнь свою. Отказывается не потому, что признает мысль свою ошибочной: о, нет! Он отказывается только от единоборства с Богом. Но горделиво добавляет, что он все-таки прав. . .

Есть много даровитых писателей и немало интересных мыслителей. Но не так много среди них по-настоящему и по-своему умных людей. Людей острый и своеобразной мысли. Ведь мысль — вещь едкая и обжигающая. И сколько мыслителей нашего «философского ренессанса» уклонялось от строгой логики, подменяя доказательство своих положений поэтическими образами и аналогиями. При всей художественной конкретности своего мышления Леонтьев ни разу не уклоняется от чистого логического доказательства своих положений. Он — эмпирик, естественник. Когда сравниваешь Леонтьева, скажем, с создателем пресловутого «научного социализма», — невольно удивляешься: ну, как можно назвать Маркса всерьез материалистом! Ведь вся его экономическая система пронизана самым элементарным морализированием: одна теория трудовой стоимости чего стоит. . . А у Леонтьева органическое отвращение ко всякой морали, как элементу социологии и историософии. Он, как никто другой, совлекает парчевые покровы общественных предрассуждений с голых остовов социальных постулатов: свободы, равенства, братства, социального здравого смысла. Он заставляет серьезно пересмотреть заржавевшее оружие социальной морали. Он заставляет перетряхнуть побитую молюю аргументацию либерализма и либерального национализма. Он многое предвидел, многое понял до конца.

Леонтьев звучит так современно, что при изложении его взглядов невольно можно оркестровать его мысль слишком модернистски. Поэтому лучше всего послушать его собственный голос. И задача настоящей статьи была скромной: заставить **самого Леонтьева** рассказать об эстетике жизни и истории. Извлечь из его статей, книг, заметок, всегда почти написанных по

поводу злободневных вопросов его времени, то, что не является злободневным, то, что нас волнует сегодня и будет волновать завтра.

И так радостно в наше время, время людей-

штампов, людей обезличенных до полной неразличимости друг от друга, побеседовать с умным, оригинальным, смелым и совершенно самобытным писателем — Константином Леонтьевым!

1) Письма В. В. Розанову. «Русский Вестник», том 284, 1903, стр. 846.

2) Там же, том 285, 1903, стр. 169.

3) Византизм и славянство, 1875. Собр. соч., т. 5, стр. 145 - 146.

4) Исповедь мужа, 1867. Собр. соч., том 1, стр. 598.

5) Собр. соч., том 1, стр. 608.

6) Панславизм и Греки, 1873. Собр. соч., т. 5, стр. 13.

7) Ср. Н. Я. Данилевский. Россия и Европа. Изд. 5, СПб., 1895, стр. 31-32.

8) Китаец и турок поэтому конечно культурнее бельгийца и швейцарца. Примечание К. Леонтьева.

9) Византизм и Славянство, 1875. Собр. соч., т. 5, стр. 147.

10) Письма о восточных делах, 1882-1883. Собр. соч. т. 5, стр. 386-387.

11) (Собр. соч., т. 7, стр. 39. Сравни суждения о том же Бродера Христиансена (1908): эстетическая ценность — автономна. Но у образованной среды, благодаря обезличивающим ее факторам воспитания, моды, «хорошего вкуса», боязни показаться «отсталыми», внушения со стороны столь же обезличенной и связанной в своих суждениях критики, — эстетическая оценка становится гетерономной. «Три вещи понимает образованный человек в искусстве, но все три способа его понимания обходят настоящие художественные ценности и касаются предметного содержания, техники и декоративности». «Образованность и культура — две противоположности»; «гетерономия — против автономии, подражательное переживание против самобытной оценки и творчества по собственному закону, связанность внешним авторитетом против свободной встречи родственного уму, — такова антиномия образованности и культуры». «Искусство творит для автономных умов, но гетерономные должны оплачивать расходы. Ведь образованность только средство, при помощи которого богатство укрепляет и выставляет на показ свои соци-

альные преимущества. Чтобы возвеличить себя, оно покровительствует искусству, собирает и сохраняет сокровища всех веков, которые в молчании пыльных зал ожидают тех, для кого они предназначены. Образованность — это хранилище художественной традиции даже во времена засухи в искусстве... Иногда пытались оправдать социальное неравенство, утверждая, что богатство — носитель культуры. Если хотят этим сказать, что богатые, по преимуществу, участвуют в созидании культуры, то это грубое заблуждение. Самые оригинальные и мощные таланты выходят из бедняков или из среднего класса... Но с богатством в действительности связан псевдоинтерес: образованность. Ведь этот мнимый культурный интерес является для богатства средством подчеркнуть свои социальные преимущества. Поэтому оно поощряет искусство, материальное существование которого зависит от него. Только в этом смысле богатство — носитель культуры. И в этом смысле социальное неравенство неизбежно и оправдывается потребностями культуры: должен быть дан мотив для необходимого псевдоинтереса. Ведь **всеобщее образование есть contradictio in adjecto**. Если бы образование не было привилегией, его перестали бы домогаться, и вместе с ним исчезла бы культура». Но зависимость эта от образованности плохо отражается и на самой культуре: она начинает угасать: «поэтому-то всякий последовательный ряд художников показывает одну и ту же типическую кривую упадка... Во всяком развитии обнаруживается, что внимание и силы художников постепенно сосредотачиваются все более и более на трудностях сюжета, на технической утонченности и декоративности». Культура обезличивается, вынуждена рабски следовать за модой, и всякий внутренний, автономный смысл ее утрачивается. Б. Христиансен, *Философия искусства*. Изд. «Шиповник», СПб., 1911, стр. 38 - 40.

- 12) Русские, греки и югославыне, 1878, дополн. 1885. Собр. соч., т. 5, стр. 319.
- 13) Византизм и Славянство, 1875. Собр. соч., т. 5, стр. 199 - 200.
- 14) Леонтьев о Владимире Соловьеве и эстетике жизни. Сергиев Посад, 1913.
- 15) Русский Вестник, том 285, 1903, стр. 415 - 418.
- 16) Византизм и Славянство, 1875. Собр. соч., т. 5, стр. 188 - 189, 193 - 197.
- 17) Там же, стр. 197-198.
- 18) Византизм и Славянство, 1875. Собр. соч., т. 5, стр. 200 - 203.
- 19) Там же, стр. 119.
- 20) Там же, стр. 145.
- 21) Писано в 1874 г.
- 22) Там же, стр. 253.
- 23) Там же, стр. 198 - 199.
- 24) Там же, стр. 221 - 222.
- 25) Там же, стр. 250, 251.
- 26) Там же, стр. 225.
- 27) Там же, стр. 235, 236.
- 28) Литературное Наследство, т. 22 - 24, Москва, 1935, стр. 436.
- 29) Средний европеец..., Собр. соч. т. 6, стр. 6 - 7.
- 30) Там же, стр. 13 - 14.
- 31) Собр. соч., т. 7, стр. 536-537.
- 32) Наши новые христиане, 1880. Собр. Соч., т. 8, стр. 190-191.
- 33) Письма о восточных делах. Дополн. 1885. Собр. соч., т. 5, стр. 453.
- 34) Племенная политика, как орудие всемирной революции. Собр. соч., т. 6, стр. 179.
- 35) Епископ Никанор о вреде железных дорог и вообще об опасностях слишком быстрого движения жизни, 1885. Собр. соч., т. 7, стр. 483.
- 36) Средний европеец, как идеал и орудие всемирного разрушения. Собр. соч. т., 6, стр. 61, 62.
- 37) Там же, стр. 47-48.
- 38) Собр. соч., т. 7, стр. 425.
- 39) Египетский голубь, 1881, Собр. соч., т. 3, стр. 308-309.
- 40) Анализ, стиль и веяние, 1891. Собр. соч., т. 8, стр. 219-220.
- 41) Наши новые христиане. Дополн. 1885. Собр. соч., т. 8, стр. 183.
- 42) Русские, греки и юго-славяне, 1878. Собр. соч., т. 5, стр. 299.
- 43) Литературное наследство, т. 22-24, Москва, 1935, стр. 456.
- 44) Наши новые христиане. Собр. соч., т. 8, стр. 189.
- 45) Там же, стр. 191.
- 46) Русский Вестник, т. 285, 1903, стр. 418-419.
- 47) Русский Вестник, т. 284, 1903, стр. 637.
- 48) Моя литературная судьба. Литературное наследство, т. 22-24, Москва, 1935, стр. 467-468.
-

Сновидение Фридриха Гельдерлина

В 1807 году, после повторных припадков буйства, после стажа в больнице и признания докторов, что опасный период прошел, поэту сняли комнату над мастерской столяра Циммера, в башне городской стены города Тюбингена.

Из окон открывался вид на долину реки Некар, на тополя над городским валом, огороды и виноградники, поля и холмы, а на горизонте — цепь невысоких, покрытых лесом гор. Здесь он проведет вторую половину своей жизни, последние 35 лет. С годами его взволнованность успокаивается, по выражению лица не видно, чтобы он тосковал. Снизу доходят до него звуки работы столяра, — пилы, молотка или рубанка. Посетители редки, едва раз в год кто-нибудь из поклонников или любопытных поднимется к нему. И он всегда встречает гостя глубокими поклонами и реверансами, величает его: ваша светлость, ваше высочество и уклончиво отвечает на самые невинные вопросы: «Вашей светлости угодно получить новое стихотворение? На какую тему? Приказывайте!» И сам предлагает тему: «Битва с Богом», «Праздник Греков», «Воспоминание прошлого». И охотно импровизирует на бумаге 2 - 3 четырехстишья о погоде, о зимнем или летнем пейзаже, о столяре Циммере. Для себя он редко пишет, так, во всяком случае, уверял Циммер, у которого мало что сохранилось из бумаг его постояльца. Отрывки, отдельные фразы на обрывках газет: «Приходит ночь! О, поспеши! Кто снимет с себя венок печальных снов?»

«О сестра, где найти мне,
когда угрожает зима,
Те цветы, что вяжу я в венки
для живущих на небе?
Значит, я ничего уж не знаю
про тайны небес
И как будто покинут душою.

Ибо только друзьям наверху
эти знаки любви,
Те цветы на полях обнаженных.
Их ищу
И Тебя,
Но не вижу».

Циммеру

«Я говорю про человека: если
Он мудр и благ, то что необходимо
Ему еще? Что нужно для души?
Гроздь винограда спелого, быть может
Она его накормит... В чем же дело?
Наш лучший друг —
возлюбленная наша,
Еще искусство. Друг, узнай всю правду:
В Тебе душа Эллады и лесов».

Простота чистого сердца это много, но не все: Циммер и природа знают жертву, но не полную. Жертва полная в отдаче себя без остатка, и когда дух дошел до этого, тогда сама мать-природа из абсолюта превращается в препятствие и соблазн. Что это за вечно молодая мать, неужели лишь для земных садов, как бы прекрасны они не были, её постоянное обновление? Пусть Циммер и пчёлы ищут радостей всё в новых цветниках, не предчувствуя смертельного яда в красоте весны, в ритмах слов и в их гармонии. Потому что последний выбор — между воздухом и землей, между растворением в космосе и одиночеством.

Весна

Священной пустыней родной стороны
Ты можешь во сне проходить.
При свете луны, припадая к реке,
Ты пьешь, как покинутый матерью сын,
Весной, когда в полночь лесную
Слетаются птицы из разных земель,
Там много кустов, и знакомая тень
И мало состарился лес.

Там пчёлы весною находят цветы,
 Которые напрасно искать на лугах,
 Которые только растут в пустоте,
 Как отблеск мгновенный —

в них радости нет,
 Срывать их не надо руками:
 Хотя и рожденные в зное, они
 Внезапно растают, как снег.

Нормальный разум думает, что ничему полезному он не может научиться от безумного, у которого своя логика, до предела субъективная, а также свой синтаксис и даже свой словарь. Гельдерлин чувствовал настороженное отношение к себе от своих любопытствующих посетителей, однако, отгораживаясь от них своими церемониями, он всё же соглашался давать им кое-что из своего субъективно-религиозного опыта, и так вообще поступает всякий человек субъективного начала. Если не этому гостю, так кому-нибудь другому пригодится, если не сейчас, то через сто лет. Последняя истина религиозна, это значит, что она субъективна. К этому сознанию подошли поэты раннего романтизма, прежде чем она была сформулирована философами, сильнее всего об этом говорил Кьеркегор. Что полнее и богаче, идея абсолютного субъекта или абсолютного объекта? Во всяком случае чрезвычайно трудно предполагать, что простая реальная материя могла как-то сама по себе усложниться и создать более совершенное, чем она сама, как бы удвоение своего бытия, сознание самой себя. Мир легче представить себе, как упрощение, окостенение, обеднение чего-то, а именно интуиции пространства и времени, исходящей из Абсолютного Субъекта. Эта генеалогия более представима, чем расширение и усложнение чистого объекта до самосознания, по теории нормального материализма *).

Космогонии ранних романтиков — а

*) Если время является иллюзией, как то после Канта начало входить в сознание тогдашней передовой философии и поэзии, то отпадает вопрос, что было раньше и что из чего произошло, сознание из бытия, или наоборот. Оба ответа окажутся, в метафизическом плане, одинаково верными. Всё раскрывается в едином творческом мгновении, в котором совпадает и начало проявленной вселенной и её конец, и «создание мира», и «Страшный суд». В эпоху раннего романтизма впервые начали появляться в Европе переводы священных книг Индии, в которых часто намекается на то же, т. е. что не только пространство, но и связанное с ним время не являются реальностью.

также и Гёте, и Бетховена — можно свести к следующему. Вся в целом основа мира превратилась некогда в любовь, как в свою высшую форму (ибо основа мира во времени подвластна закону становления). Она усложняется, она энергетически усиливается, она количественно расширяется. В ней одно творение как бы вечно осуществляется сквозь другое. Бог рождается в каждом человеке, и в нем залог будущих миров ибо опять в нем решается в малом размере то, что некогда решалось для всего мира, т. е. опять в каждом человеке чистая возможность — сила поворачивается произвольно в сторону любви, как к своей высшей жизни, всегда трагически и внешне этот процесс есть как бы низведение Геракла до служения. Создатель может быть не хотел для человека иной судьбы, чем ангельской, по другую, трагически-генетическую возможность, всё же оставил в его достижении, сказав: выбирай сам. А человек выбрал худшую жизнь.

Человеческое сердце превосходит эллегию, оно разрывает её и одновременно природу и красоту. Можно ли сказать про ангела, что он прекрасен? Может быть, но это ужасная, не нашего лада, красота и стены не всякого храма могут выдержать белизну его одежд, его копье и пристальный взгляд.

Орлы

Отец мой летал над Монбланом,
 Откуда спускаются реки,
 К востоку в Этрурию мчался,
 К Олимпу в кольце фимиама,
 Где тень от Афона ложится.
 До синих Лемносских пещер.
 Из дальнего леса над Индом,
 От стран золотого восхода
 Явился родитель его.
 Но первый мой предок
 Носился над морем
 Увенчанный громом
 И царская мысль содрогалась
 Пред грозной загадкой воды.
 Когда облака собирались
 Поверх корабля и чудовищ,
 Глядящих вокруг молчаливо,
 Готовых друг друга пожрать —
 Суровые горы стонали:
 Возможно ли здесь оставаться
 В пространстве, закрытом от века
 Пожаром и черной водой?

О горы, вы наше жилище,
 Питье наше — камни, питание,
 Густая, горячая влага.
 Пристанище мы отыскиали

На самой пустынной вершине,
Где искры и дым водопада.
Там хижины наши, над бездной.

Речь идет об ужасе поэта перед хаотичностью в природе, что проявляется в общей борьбе за существование. Поэт старается уйти от этого в высокие жилища. Угроза воды — другая опасность, ужас раствориться после смерти в океане природы, потеряв память и сознание. Так между пожаром и потоком колеблется трагическое природное сознание, забывшее о своем первородстве.

Дух проявляет себя в материальном мире совершенно тем же путем, каким создается стихотворение. Пока поэт ищет внешнюю форму, пока он не унесен волнами ритма, поэзия его не будет правдива.*) И поэзия не в удачных рифмах, а в том, что дух иначе не может проявлять себя, как ритмически. Всё реализованное есть музыкальный ритм, и когда ум до конца подчинит себя музыке, он становится гениальным. «Если поэт пользуется чужими ритмами, он может только повторять то, что уже раньше сказано другими. Каждое новое стихотворение требует нового ритма» (Гельдерлин). Тайнственное свойство языка: когда речь вызвана чувствами, сердцем (а не только умом), она сама собой складывается ритмически. Когда простая женщина объясняется в любви или причитает по покойнике, её язык невольно говорит белыми стихами (много примеров у Достоевского в «Братьях Карамазовых»: бабы у старца Зосимы, Грушенька в селе Мокром). «Других законов для поэзии не нужно, записывает Гельдерлин, рифма может обмануть, ритм — никогда», т. е. блестяще, хорошо прилаженные рифмы могут прикрыть душевную опустошенность автора, но слабый ритм сразу обнаружит фальшь, или что написанное не искренне, создавалось без энтузиазма. Под конец Гельдерлин отталкивается от самой идеи рифмованных стихов, т. е. от всей почти европейской поэзии. Наша вечная игра с рифмами начала казаться ему (как впоследствии Верлену) варварской шарманкой. Что бы сказали греки? Привычка к рифмам обеднела, подточила заботу о рифме. Язык человека умнее его ума. «Не туда, куда я иду, а туда, куда ты меня ведешь», — обращается он к

языку. Еще об языке: «Человеку дан язык (ритмический), самый опасный из даров, дабы создавая, разрушая, исчезая и возвращаясь к вечно живущей Госпоже и Матери, он свидетельствовал о том, что есть: что человек унаследовал, узнал от Матери о самом божественном в её сущности, о любви, которая пишет вселенную» (Гельдерлин).

Итак, язык поэзии, о котором еще в начале болезни он писал своей матери, успокаивая её, что «поэзия это только игра, самое невинное из занятий», есть одновременно и самый опасный из даров. Человек призван свидетельствовать о том, что есть. Но всё находится в постоянной борьбе между отдельными своими частями, и то, что разъединяет и одновременно соединяет всё, есть именно сущность вещей. Может ли человек добраться до сущности одним темным инстинктом? Или одним ясным разумом? Нет, но соединением обоих вместе. Это соединение и есть поэзия, и она совпадает с ритмом. Опасность же этого, казалось бы невинного занятия в том, что тут человека подстерегает безумие: дар языка — начало сумасшествия. Это не относится к обыкновенному, двухмерному плоскому языку, языку практических удобств и болтовни (или эпиграмм, — добавляет Гельдерлин), какой могут знать и высшие виды животных. Поэт обрекает себя на жертву. Но без таких жертв человечество не могло бы существовать, оно вернулось бы в ряды природы. Таковы подвиг и наказание Геракла, и пусть у матерей болит и истекает кровью сердце за младших, самых незадачливых и незащищенных из сыновей. Об этом говорит конец поэмы, которая начинается словами:

Как в праздник посмотреть поля
Идёт крестьянин рано после ночи,
Когда гроза гремела над землей...

«Нам подобает под грозою Бога
Остаться с непокрытой головой,
Рукой схватить стрелу огня, без страха,
И дар отцовский, облечённый в гимны
Потом отдать народу».

Отдать народу, потому что «всё, что правдиво, то профетично», записывает Гельдерлин. «Поэзия есть борьба либо за правду, либо за чудо. В поэзии народ узнает о своей душе то, что без поэтов не могло бы выявиться». Можно расшифровать это высказывание так: язык поэзии может отображать движение в природе, например приливы и отливы океана — это область лирики и, с другой стороны, движение в истории, приливы и отливы народных волнений — область эпоса. Но

*) Точка зрения классиков, выразителем коих для нашего времени является Поль Валери, диаметрально противоположна. Классицизм считает, что разум должен руководить вдохновением, укрощать его, бороться с обольщениями музыкальных ладов.

Гельдерлин один из первых, после Пиндара, соединил эти области в одну, и его поэмы можно отнести к новому виду, к «лирическому эпосу». Вот стихотворение, в котором явно ощущается нарастание и отлив морского прибоя. Говорят, что Гельдерлин никогда не видел моря. Незадолго до обострения своей болезни, он прожил несколько месяцев в Бордо, в качестве воспитателя детей в одной семье, но и там, по преданию, никогда до моря не доходил. Получив известие о болезни и смерти той, которую он в стихах и в романе «Гиперион» называет Диотима, он вернулся пешком на родину.

Воспоминание

О, сады Гаронны у Бордо
С водяною мельницей! Весною
Женщины, под солнцем загорев,
На земле-работали, а вефер
Сны неся над райскими холмами,
Пробегал по голубым дорогам.
Пусть опять дадут мне тот напиток,
Кубок, полный темноты и света.
Опьянившись, я найду покой.
Плохо жить с душою уцербленной,
С мыслями о смерти. Мне ведь нужно
Говорить, прислушиваясь сердцем,
Про любовь. Я никого не предал.
Где вы ныне, спутники земные,
Беллармин и друг его? Иные
Не хотят к истокам возвратиться,
Ибо избылье только в море.
И они, подобно живописцам,
Все дары собрав земли и неба,
Не страшась сражений в океане,
Много лет в изгнании пребывают,
В отдалении от ночных пожаров,
От веселья городов, от плясок
И от музыки. Отныне люди
В Индию отплыли, все ушли,
Опустели горы под ветрами
И тот сад, где ясная Дордонь
Пролилась в широкую Гаронну,
В ту, что море нам напоминала,
Ибо море память отнимает
И её обратно нам приносит,
Как любовь, храня лишь правду жизни.
Это вечно. Вечны также знаки,
Что мы, пишем на песке у моря.

Переходя к «лирическому эпосу», который есть также «сон об истории», нужно напомнить о том, как в эпоху раннего романтизма античное начало судьбы совме-

щалось с христианством. *) Есть один на глубине другого два слоя, лепящих человека как статую и вмешивающихся в его рост. Вовне это судьба или античные божества, внутри — Христос. Так Христос часто задерживает руку судьбы, видя изнутри, что человек не перенесет данного испытания, вполне впрочем полезного для него. Здесь Христос помогает или внешне, или внутренне, потому что где море, там и утешение. Оба лепят человека, но судьба рассматривает каждую личность, как внешне-временную, и пусть человек не поймет мук, говорит она, результат всё же проявится. Христос же, как сама Память, каждую личность принимает всерьёз и больше всего страшится, как бы не переломить, не обидеть до конца.

Сверх-язык делает возможным общение с Богом, а также с людьми. Обыкновенным, плоским языком нельзя разговаривать и с людьми, лишь от сердца идущая речь может быть услышана и понята ближним, те же слова, которые идут от одного острого ума, суть звук пустой, ненужный шум, который тотчас же замирает, забывается. «Человек многое испробовал, и небесные силы многое нам назвали своими именами с тех пор, как мы являемся диалогом и можем слышать один другого», говорит Гельдерлин. Поэзия создала память, культуру и историю, т. е. самое существо социального человека. Всё, что создано, чтобы остаться в истории, создано поэтами. Поэт — вестник, он несёт и передаёт людям поручения от богов. Поэтому он пребывает в сфере ангелов, в промежуточном мире между небом и землей. Отсюда боль одиночества. Сперва он воспринимает себя как существо свободное, его вводят в заблуждение крылья; это период чистой лирики. Постепенно, и если он силен, он узнаёт о долге подвига и жертвы. «Песни влюбленности суть незрелые крылья, но иное совсем просветленная слава орфических песен народов» (Ф. Г.). Созревший поэт есть уста и голос своего

*) Гельдерлин, как и Киркагор, сперва готовился стать пастором. Впоследствии оба пришли к заключению, что «общей религии» не бывает — у каждого человека своя вера, или никакой. С каждым Бог говорит на особом языке, у каждого свой особый, неповторимый опыт. Настоящая религиозность начинается с уклонов от катехизиса, с ереси. Кто успокоился в «Догме», тот не читал Евангелия, или оно до него не дошло. «Объективная» мысль отделяется от поэтов субъективного и от философов экзистенциального начала, причисляя их к параноикам.

народа. Судьбы родины, о которых лишь на самой темной глубине подсознания догадывается человек, вот настоящая тема созревшего поэта. Что такое «лирический эпос» Гельдерлина? Это облечение в лирические символы исторических событий. Из такой глины в свое время лепились мифы. Классический летописец созерцает «объективно» — со стороны и без сердечной боли. Но вот открывается новый вид «летописи», превращение своей темы в самого себя (Марсель Пруст говорит об этом так: «Если перед тем как заснуть я читал об отношениях Карла Великого к феодалам, во сне я мог сам превратиться в это отношение» — а не в Карла Великого и не в феодалов. Разница между классическим и романтическим сновидением). Это открытие романтизма, который весь устремлен к личному. Для классицизма всё — оно, они, это, для романтика — я, мы. На этом пути современные Гельдерлину поэты не пошли так далеко, как он. Шиллер, Уланд и многие другие, кого у нас переводил Жуковский, еще близки и классике: под видом душевной взволнованности они изображали идиллию далеких от них веков, где герои с душами подростков борются с любовью или с чудовищем. «Мир становится сном, сон становится миром», сказал Новалис. Ночь преобразается в свет, хаос в молитву. Поэт-священник, приносящий жертву небесным силам, причём жертва это он сам. Он тот, кто творит легенду и предугадывает народу путь (вспомним нашу большую и тоже лирико-эпическую поэзию — «Слово о полку Игореве», «Медный Всадник», «Скифы»). И гимны его, обращенные к народу, являются в то же время его собственной исповедью. У него рано или поздно появляется бессознательный пророческий дар, как у Исаака, который рассказывал о грядущем золотом веке Израиля, предсказал о Христе. Иногда искусство идет под знаком правды, иногда под знаком чуда. В конце 18-го века поэзия от светлых вод ясности переходит к густой и тяжелой «воде живой» древних сказок, к водам жизни и смерти, охраняемым Жар-Птицей любви. XVIII век дал музыку, Индию, Персию, Китай. Стихи теперь ассоциируются не с живописью, как раньше, а с музыкой, больше с симфонией, чем с картиной. Точность слов и определений не нужна этой поэзии, слова служат для того, чтобы прорваться в мир иного измерения, где смысл их меняется. Всё в движении, всё переливается из одного в другое. Широкая река мифических сновидений всё время открывает новые перспективы, новые горизонты за каждым своим поворо-

том. Поэт может пользоваться старыми, всем известными мифами, особенно для выступления или для заглавия, но и тут не всегда так, как мы к ним привыкли. Он, может быть, узнал о них когда-то, потом забыл, потом снова увидел во сне. Поэтом такими непривычными, будто из соседнего мира на миг показавшимися являются у Гельдерлина Прометей, Ахилл, Битва в Архипелаге, Европа, Азия, Германия, Дунай, или виноградники Гаронны.

... Дует восточный ветер,
Друг, уйдем на Кавказ...

Это для него не чужое и не только аллегорическое, а его собственная сущность раскрывается под разными именами, его личная трагедия, подвиг и печаль. Отсюда взволнованность географических описаний. Едва коснувшись темы, он оставляет ее, она уже сыграла свою роль, послужив трамплином для скачка в иную реальность. Он разорвал, рассеял горный пейзаж, превратил всё в облака, но сам не растворился в небытии, и тот мир, где он на самом деле пребывает, более прочен, чем Альпы и Гималаи.

Гельдерлин поэт поэзии, но он же поэт благочестия. Большая часть его творчества исходит из чувства благодарности за полноту бытия. Тема жертвы, тема отдачи себя всему и поглощения всего собою и тема времени, как непрерывного проникновения всего любовью, вот ключ к этой поэзии, загоревшейся на заре романтизма, не замеченной в течение ста лет, и не оставляет после себя преемственности. *)

«Ах, мы плохо знаем себя,
Потому что в нас царствует Бог»,

говорит он. Обращение к мелодии:

К тем ладам, что парят на большой
вышине
Я хотел бы уйти. Нё доходят до неба
Обращения унылой тревоги.

*) Если укротить, подчинить, дрессировать своего демона, тогда жизнь и смерть поэта пройдут, с обывательской точки зрения, благополучно и при жизни он узнает славу. Но это не путь героя, и такой акт самосохранения ведет к ущербу поэтического влияния. Сменится одно-два поколения, и неожиданно станет под сомнение искренность того, кто сумел уберечь себя.

Об истории:

А теперь

Буду петь поход королей
В Палестину, и боль Каноссы,
Куда Генрих ходил. Но мне надо
Много смелости. Нужно понять имена:
После утра Христова
Все слова, как туман на рассвете —
Они сделались снами.

Опять о поэзии, она гроза, небесный потоп:

Дождь прошел из таинственных слов
Нам святыней дремучего бора.

По временам орфическая темнота проясняется:

Ибо там, где прошла чистота,
Дух становится зримым очами.

Окно:

В селеньях жизнь течет. Различную
погоду
Дала природа жизни временам.
От совершенства это.

Еще окно:

Весной, на озере, цветы не столь
прекрасны,
Не столь нам нравятся, как звезды
в декабре.

Ночью:

Промчался страх на кованых колесах.

Утро:

То, что было единым — разбилось.
Звезды скатились в молчаньи.
Опьяненные солнцем сияют долины.

Поэтический дар сперва счастье, потом угроза, потом гибель, потому что слаб человек, ему не по силам выдержать беседу с ангелом и, не понимая, что с ним происходит, отмеченный человек сопротивляется, отступает, пытается уменьшить пламя светильника, но тогда приходит боль и, в смирении приняв её, как искупление, он получает новую помощь и указание, на этот раз матери-земли. Это тема — гельдерлиновских поэм о поэзии (напр., того отрывка, который начинается словами:

«Еще досказать остается
Как счастье внезапно явилось...»

Насчёт точного значения своих стихов Гельдерлин не раз предупреждал (в письмах), что в них мыслей искать не нужно

и что их каждый может понимать так, как ему захочется. Прибавлю от себя, что область чистой поэзии это — пограничная зона между эстетическим и религиозным.

Смысл в стихах много раз утверждался, как главная их ценность, и столько же раз отрицался, как нечто несущественное. Обе точки зрения имеют за собой некий признак правоты. Отрицатели смысла правы в том, что существуют прекрасные стихотворения и великие поэты, в которых вовсе нет никакого дискурсивного развития. Утвердители же смысла правы в том, что несомненно неглубокий человек не сможет никогда написать действительно хорошего стихотворения. То есть, в стихотворении как-то переходит глубина его написавшего, которая и является его смыслом. Но несомненно, что некоторые большие поэты не были очень умными людьми. Во всяком случае рациональный смысл многих лучших стихов сводится к крайне малому и никогда бы не создал их величия, ни любви к ним. Но чему-то они всё-же научают, и об этом чём-то можно иногда догадываться. Затем, некоторые поэты были наделены способностью повысить в конце еще на одну октаву свое тайное видение мира и подняться над своим стихотворением, «разрешить» его в некоем откровении его «смысла».

Я упомянул о двух силах жизни, перед коими преклонились поэты романтизма, одна из них античная Правда, она же и ветхозаветный Закон, другая — смягчающее суровую правду — Чудо, оно же христианская жалость. Обычно эти силы мыслятся в противоречии одна другой, но их можно соединить в одно, поскольку обе направлены к любви: первая скорее в сторону любви к Богу, вторая к человеку. Китай для романтиков являлся областью правды, а Индия — областью чуда. Европа после Возрождения стала подобна Китаю, и последний ее китаец был Вольтер, но начиная с Руссо в ней опять, как в Средние Века, начинает воскресать культ чуда. Таково очень приблизительное толкование одного очень эзотерического гимна Гельдерлина.

Жан - Жак Руссо

Недолг наш день, просыпаемся утром,
Глаза раскрываем, и вот уже вечер.
И мы засыпаем, и много народов
Проходят, как звезды.

Иному дано разглядеть в отдаленьи
Лишь чуть просветлеет покров горизонта,
Но ты у реки пребываешь в тревоге,
Взыскующий чуда.

Сквозь ясные утра и черные ночи
Он видел порой колесницу победы
И шли легионы в цепях золоченых
С тяжелой добычей.

Уж новая жатва поднялась на волю
Из почвы родной, но горячие руки
Упали, и точно не выдержав груза
Повисли в печали *).

Он жил среди нас. И ему осветили
Чело те лучи, что от нового солнца
Доходят к иным из нездешнего мира
И грудь согревают.

Он новый язык услышал и запомнил
И знак разобрал, и читать научился
В сердцах, ибо знаками только беседа
Ведут с нами Боги.

Мы правду искали, но высшее чудо,
Когда человек, как орел через бурю,
Промчится без страха, и выйдет навстречу
Идущему Богу.

Та новая нота, которую никто кроме Гельдерлина у Руссо не уловил в том, что Руссо устремлен к состраданию, а человек трезвой Правды отталкивается от этого, как от соблазна хаоса. Такое восприятие жизни, где наш греховный мир уже смешан с Богом, содержит столь сладостную надежду, что человек, коснувшийся её не сможет вернуться в царство трезвого разделения. Такой человек перестанет, в известной мере, быть полезным членом общества, материальный мир начнет отходить от него, а сверх-реальный мир не всегда пригоден для строительства цивилизации. Вот почему, заметим мимоходом, можно представить себе государство молодое, полное свежих сил, поднимающееся к свободе (как в этом гимне), трудолюбивое и патристическое, цензура коего на худой конец, может позволить себе роскошь допустить книгу, политически не совсем созвучную эпохе, с сомнительной для этого государства идеологией, но никогда не допустит стоящих вне политики поэтов субъективного начала: ни Гельдерлина, ни Новалиса, ни Киркегофа. Ибо их безумие таит заковку, перед которой не устоит самый благополучный социальный строй.

Гельдерлин погрузился без страха в тёмные глубины подсознания. После него и других поэтов его эпохи начинается усложнение психологии, всё новые покровы, об-

*) В этой строфе речь идет о французской революции.

лекающие души человеческие, спадают, делают очевидным многое, что недавно казалось невразумительным, и этому не может быть конца. Человек вышел из замкнутого, геометрического сада классической логик и вступил в странную область, где бушуют вихри и где нет никаких законов, кроме одного: всё тайное скоро станет явным. Он проходит сквозь легионы демонов с их тяжелой добычей, хотя и скованных цепями, и доходит до берега, откуда открывается вид на что-то совсем новое.

Не из удивления, как думал Аристотель, а из сострадания и печали рождается философия, которая есть одновременно и поэзия, но печаль это не к смерти, а к воскресению. Это она ведет человека всё выше, и из нее поэт черпает самые чистые свои песни. Но не следует растворяться в волнах этого радостно-печального моря. Как молитва не должна быть ради молитвы, так поэт должен бороться с желанием писать стихи о стихах. Пусть он пробуждает спящих, но остерегается мучить людей в жестоких конфликтах, а нет более ужасного, чем тот, который любовь к Богу противопоставляет любви к ближнему (всё это из писем Гельдерлина). В мире всё едино, несмотря на кажущееся разделение. Об этом в различных символах и знаках пытается напомнить, как природа (речь идет, вероятно, о разделении природы на различные «царства»). Природа говорит с нами не только в бурях и ураганах, но и в своем покое, в тихой ритмической смене годовых времен и земледельческих работ, всем тем праведным трудом, за коим столько лет, осеней и зим, наблюдал из окна своей башни Фридрих Гельдерлин. *)

XIX столетие подходило к своей середине. Давно все сверстники лежали в могилах, уже 10 лет, как умер Гёте. Новое поколение не помнит о нем, посетителей становится всё меньше, книги его не переиздаются. Но в своем уединении он узнал что-то из самых последних тайн, и в последних своих, уже предсмертных возгласах, как бы знаками, подобно природе, он пытается намекнуть об этом людям.

Уже давно подчинил себя ритму старый поэт, и всякая написанная им строка, вся-

*) Вот еще из его зимних ландшафтов:

«И реки подо льдом,
и все внизу творенье
Раздроблено оно, но ясен жизни сон,
И жизни теплота, придвинувшись
к селенью,
Течёт под крышами кадилом
в небосклон».

кая произнесенная фраза стали ритмическим совершенством. Но слово лишь тогда вполне действенно, когда оно насыщено тем же веянием, что и силы природы, как ветер, реки и облака, еще как тёмные, смертные движения народной души, какое преисполненное внимания сердце различит в основе жизни народа. В душе поэта созрел творческий синтез мира, мифическое осуществление полноты уже не раздробленной жизни, включающей в себя объяснение и оправдание космической трагедии, т. е. спасение мира.

Вот одно из последних его стихотворений, написанное Гельдерлином на седьмом десятилетии жизни. Оно сложено на тему всех его последних высказываний, на тему о любви и спасении. О любви-творении, которая жертвенно раздробляет себя и о любви-спасении, которая все свои лучи вновь в себя вбирает. Можно еще сказать, что любовь есть родник количества, превращение Единой Причины в звездное небо, но средством мнимого внешнего низведения качества. Спасение же есть обратная волна качества: возвращение отдельных звезд в Первопричину или, пользуясь алхимическим символом, превращение железной руды в золото. *)

О с е н ь

Ушедшее в твореньи не погибнет,
Пускай опять скудеют лета дни
И осень опускается на поле,
Душа своих сумеет отыскать.
В короткий срок какая перемена!
За плугом шёл крестьянин, а теперь
Он видит, как склоняется в покое
К закату год, как меркнет жизни день,
Но шар земной, украшенный горами,
Не облако, что тает после дня.
Вглядись в него, из золота он скован,
Без жалобы щемящей завершён.

*) Надо помнить, что до своей болезни Гельдерлин был близок к молодому Гегелю. Сила Гегеля (для меня) в том, что он хорошо усвоил греков, но Гегель сыграл для нашего времени огромную роль: из него вышел и Карл Маркс, и, одновременно, Киркегоф, величайший религиозно-субъективный мыслитель нового времени (он умер в 1855 г.), который находил свой пафос, как и Шопенгауэр, в отталкивании от «историчности» Гегеля. Думается, что книга Киркегофа — это самое серьезное из всего, что можно противопоставить «диалектическому материализму».

Книжное обозрение

«Свет во тьме . . . »

Концлагерь — тема не легкая. Больно уж много об этом пишут: был в концлагере — непременно мемуары издаст. И сколько таких воспоминаний . . .

Есть и другая трудность: всякое искусство неразрывно связано с гармонией. Сама дисгармония, которой тоже есть место в искусстве, подчинена гармонии, производна от нее, вторична. Гармонический принцип меры должен преломляться и в «дисгармоническом» произведении. Много воспоминаний о концлагерях грешат против чувства меры, натуралистически нагромождают «ужасы», которые притупляют восприятие, не проникают вглубь сознания, создают впечатление дешевых внешних эффектов.

Б. Ширияев избежал этих двух подводных камней. Он сумел по-новому рассказать печальную и страшную повесть о детище тоталитаризма. Соловецкие ужасы автор не смакует, а отодвигает на задний план. Передний же — почти радостный, «утешительный». Все его внимание сосредоточено на «жемчужинах духа», концлагерная обстановка их лишь оттеняет.

Интересно, что западный и русский переводчик по-разному трактуют замечательные слова из первой главы Евангелия от Иоанна: «свет во тьме светил и тьма его не объя». Западный, латинский текст говорит о том, что тьма столь сильна, столь непроницаема и упорна, что света она не приемлет. Русский же текст ставит диаметрально противоположный акцент — свет столь ярок, столь ослепителен, что тьма не способна его одолеть. Акцент в книге Ширияева русский: свет горит, переливается, животворит; тьма отступает на задний план, она не знает подлинной вечности и глубинной победы.

Но если на солнце есть пятна, то есть они и в той атмосфере света, которую создает

Б. Ширияев. Светло лишь то, что от прошлого, дореволюционного. Оно блестит на фоне современной пошлости и гнусности. Свет не впереди, а сзади. Он быстро тускнеет и вот-вот померкнет. Даже «шпана», даже чекисты и те раньше лучше были, а теперь пошли какие-то ненастоящие, порченые. «Фрак-то, фрак-то как он носит . . . ведь этого больше не увидим . . . никогда . . . Действительно жаль, что не увидим (впрочем, наверное увидим), но это делает замысел вещи более мелким, поверхностным и . . . противоречивым. Ведь вся сила вещи в извечном, «врата адовы не одолеют ЕЕ». Но если старое и единственно ценное (а так ли это?) уходит в Лету, то значит одолеют? Героям («царь» Петр Алексеевич, «утешительный поп» Никодим, «фрейлина трех императриц» баронесса Фредерикс и др.) не только, как правило, перевалило за шестьдесят, но и психологически они принадлежат прошлому веку. Правда, автор ищет в прошлом то, что причастно вечности, но неужели автор не находит этой причастности в сегодняшнем дне, в современных типах, в людях нашего времени? — в этом хотелось бы его упрекнуть.

Язык автора богат, разнообразен и выразителен. Есть в нем что-то от Клюева и Шмелева. Погрешности в речи редки (хотя нехорошо звучит «намного сильнееший», или: «более напоминающий изысканного аббата XVIII века, чем русского семинара» — разумеется, очевидно, семинарист и т. д.). Чаще другое: за свежим, подлинным («сколько человек он у нас на зиму напутствовал, а сам без напутствия в дальний путь пошел . . . Впрочем, зачем ему оно? Он сам дорогу знает») проскальзывает сухо-казенное («вступил защитником прав человека в храм законности») или избитое (почему-то отмеченное в предисловии: «только смерть простирала свои черные крылья»), встреча-

Борис Ширияев — «Неугасимая Лампада». Изд. имени Чехова, Нью-Йорк, 1954 г.,

ется иногда и чрезмерная, необидительная «усладительность».

Композиция книги удачна — книга состоит из отдельных очерков, очень разных и по тематике и даже по языку, но вместе с тем они слиты в единое целое — вся галерея типов связана Соловками и образом неугасимой лампы. Но то, что очерки не были, вероятно, с самого начала задуманы автором в качестве цельной книги (многие

из них были ранее опубликованы в различных зарубежных изданиях), обуславливает некоторые повторения, которых автор мог бы избежать при составлении книги.

На одной из последних страниц сказано: «Я не художник и не писатель. Мне не дано рождать образов в тайниках своего духа, сплетать слова в душистые цветистые венки.» Думается, что автор здесь ошибается.

В. Арсеньев

Дворянские гнезда

«Что имеем — не храним,
потерявши — плачем».

Народная поговорка

Один из крупнейших западных писателей нашего времени сказал как-то: есть три чуда человеческой истории — древняя Эллада, итальянский Ренессанс и Россия девятнадцатого века. Вот об этой-то чудесной России и рассказывает книга Тырковой. Конечно, написано об этом уже не мало книг, и это не первая. Были ведь даже и такие парадоксальные вещи, когда какой-нибудь бывший революционер брался писать мемуары, чтобы еще и еще раз опорочить эту Россию, а кончал тем, что обливался слезами. Этой России больше нет. Она — град Китеж, затонувший на дне озера. А где то озеро — не знает никто.

Вместе с Тырковой-Вильямс может читатель пройти по последним садам последних дворянских гнезд. Сейчас эти слова принято произносить с оттенком иронии, но не мешало бы вспомнить, что именно они, эти наивные дворянские гнезда выкормили орлов русской литературы — Пушкина и Лермонтова, Толстого и Бунина. Да и так ли уж отрицателен был тот быт, который разрешал важному барину, генералу, кавалеру каких-то орденов стоять на паперти храма с кружкой, собирая на построение церкви? Где можно такое увидеть в наше время, и где можно было такое увидеть в прошлом веке, кроме загадочной, сими русскими еще неразгаданной России!

«То, чего больше не будет» не просто воспоминания. Книга сочится ностальгией, сознанием того, что этого больше не будет, но это было, было, было... Вероятно, из этого она и родилась; из желания воскресить былое, но воскресить так, чтобы еще раз

Ариадна Тыркова-Вильямс. «То, чего больше не будет», Изд. «Возрождение», Париж, 1954 г.

можно было пройтись по тем же полям, еще раз выскочить на сенокос, вдохнуть аромат крестьянских полей, пронестись по Невскому на лихаче... Все это Тырковой-Вильямс удалось, все это нам нужно. Нужно нам сохранить память о России, такой, какая она была. Ведь мы — потомки тех, кто раскачивал эти устои, кто на месте старого храма жизни, пронизанного светлым сиянием православия, захотели строить мастерскую социализма, в которой каждый каждому должен быть смертным врагом. Конечно, было плохое, были минусы в этой, старой России. И все же войдет она в человеческую историю, осиянная несказанным светом огромной, редкостной культуры, огромного стремления и духом всепримиряющего чувства, которое нами в наше время утрачено.

Тыркова-Вильямс права безусловно в одном: между дворянином, питомцем помещичьего гнезда, и крестьянином было несравненно больше общего, чем между крестьянином и тем разночинцем, который подстрекал его на бунт. Подтверждением этому слова Ленина, сказанные о Льве Толстом: «И заметьте, до этого графа в русской литературе ни одного мужика не было». Эти графы своих мужиков знали и понимали. Сколько ненависти, сколько темного, злого нужно было вложить в душу простого крестьянина, чтобы он поднялся на убийство.

Впрочем, об этом сейчас не стоит говорить. Та Россия убита. Уже в конце прошлого столетия слышала Тыркова-Вильямс требование: «Распни, распни ее!» Сама к нему примкнула. И как правы были те, что утверждали: «не ведают, что творят!»

Такой России больше не будет, не будет такого быта, такой жизни; не встанет больше барин-генерал на паперть храма, и юная гимназистка не пролетит на лихаче по Невскому со своим поклонником, таясь

от родителей, от старших. А если и пролетит, то будет это иная гимназистка. Что-то выгорело в сердцах людей, почему нельзя вернуться к этому времени, когда так легко верилось, что всеобщее счастье сразу за поворотом дороги. Парадоксальность, фантастичность всего этого ведь в том именно и состоит, что те, кто раскачивал ту Россию, сами, со своей наивной, но светлой верой в счастье для всех, придавали особенную привлекательность общей картине.

Такой России больше не будет. Но она должна жить в нашей памяти, чтобы не уподобиться тем, кто, по слову Лескова, думает, что «весь русский род наседка только вчера под крапивой вывела». Спасибо Тырковой-Вильямс за то, что помогает нам не забыть, что заражает нас своей любовью, своей верой в то, что это неповторимое, хотя и живет только в прошлом, но при желании, при вере и любви, всегда может быть с нами, всегда может нас направлять и учить.

А. К.

Христианская муза

Раскрывая книгу стихов какого-либо поэта, ищешь прежде всего того личного, неповторимого, что выделяет его, делает непохожим на других. В сборнике Екатерины Таубер (кстати, почему так странно названном? Не проще ли: «Плечом к плечу»?) внимание не задерживается на таких, по существу, хороших, но не самобытных стихах, как элегия «О, город юности моей...», или на рассудочном (с архаическими ланиями) «Чтоб говорить об этом, нужно годы»... Не останавливается взгляд и там, где досказано все до конца: законченность всегда обобщает.

Ищешь «необщего выражения» и находишь его в густоте наложенных на полотно красок, в игре свето-теней в смолистый летний полдень, в пасторальной напоённости медом и зноем.

«Высока зеленая пшеница,
Пышны липы круглые над ней.
Деревушек древних вереница.
Колокольня. Стая голубей.
Старичок на солнце, у порога
Одичавшей хижины седой,
Ослики на узеньких дорогах.
Водоемы с чистою водой.
Что еще мне в этой жизни надо?
В дверь какую нынче постучу?
Тишина. Зеленый угол сада...

На этом полутоне хочется оборвать. (Разъясняющее: «Ничего другого не хочу», — последний, но ненужный штрих).

Екатерина Таубер. Плечо с плечом. Третья книга стихов. Париж 1955 г.

Перелистывая страницы сборника, невольно задерживаешься на четырнадцатой («На страшном суде»):

«Как жених, ты снова станешь справа,
И высок и прям,
Прожитого беспорочной славой
Пораженный сам,
Понимая: поздно, не до лести
В судный страшный час.
Со своей трепещущей невесты
Не спуская глаз»...

Здесь и самый размер стиха динамичен! Хотя, впрочем, в сборнике Екатерины Таубер, — на этот раз! — больше статичности, чем динамики).

В поэзии Екатерины Таубер много христианского. Не моралистики, не поучений. Просто, ее муза христианка, в смиренном отдалении следующая за Пастырем Добрым, обходящим бедные селения крестьян и рыбаков.

✱

«Не требуя, такие только просят
И, если им отказано — молчат.

✱

Их тело легкое земля любовно носит,
Как бабушка болезненных внучат.

✱

И смерть их бережно срезает, а не косит,
И только ими нищий мир богат».

Третий сборник стихов Екатерины Таубер, развивающий и раскрывающий темы ее творчества, принесет искреннюю радость каждому, кто чувствует поэзию.

А. Н.

Типично и не типично

Важно и не важно, характерно и не характерно, типично и не типично... Определения эти не становятся фиктивными и не теряют своей значимости от того, что они за последнее время всем навязли в зубах и всем прожужжали уши. Ведь оперирование фикциями является как раз характерной чертой социалистического реализма, а то, что соответствует заказу коммунистической власти, признается (и с основанием) типичным для советской литературы. В системе диалектического материализма эти слова бесспорно приобретают фиктивный смысл, но это не должно затемнять в наших глазах их первоначального нужного и значительного содержания.

Умение различать между важным и не важным, типичным и не типичным, характерным и не характерным это — основное умение историка, искусствоведа, литературного критика, редактора и издателя. И да простит мне читатель, если к вопросу двух рецензируемых книг Чеховского издательства я подойду с точки зрения типичности и если выражение «не типично» прозвучит у меня, как и на страницах советской прессы, с осуждающим смыслом. Спешу оговориться: выражаемое им осуждение будет, однако, осуждением моим собственным.

На заглавном листе первой книги читаем: «Алексей Хомяков, Избранные произведения под редакцией проф. Н. С. Арсеньева»; на заглавном листе второй: «Константин Леонтьев, Египетский голубь и Дитя души». Первая книга открывается большой (на 42 страницы) и очень хорошей статьей Арсеньева, чрезвычайно удачно дополненной большим отрывком из воспоминаний Ю. Ф. Самарина о Хомякове. «А. С. Хомяков (Его личность и мировоззрение)»; вторая — просто «Предисловием» Бориса Филиппова, хорошим большим (на 31 страницу) предисловием, дающим и справочный материал о Леонтьеве, и общую оценку его личности и творчества, но все же только предисловием.

Содержание избранных произведений Хомякова составляют: 1. почти все его лучшие стихотворения (стр. 49 - 77); 2. наиболее замечательные его статьи историко-критического и публицистического характера (стр. 79 - 206); 3. характернейшие его богословские статьи (стр. 207 - 316) и, наконец,

Константин Леонтьев. Египетский голубь. Дитя души. Из-во им. Чехова. 1954 г.

Алексей Хомяков. Избранные произведения. Из-во им. Чехова. 1954 г.

4. письма (стр. 317 - 413). Писем, пожалуй, можно было бы дать и меньше, но обо всей книге в целом нельзя не сказать, что она нужна, дает читателю совершенно ясное понятие обо всем творчестве Хомякова, позволяет составить себе о нем яркое и живое представление. В какой степени из всей полноты хомяковского наследства Арсеньеву удалось выбрать наиболее типичное, я не берусь судить: для этого надо было бы быть специалистом по славянофилам, но повидимому удалось: строй мыслей и чувств Хомякова передается книгой так живо и убедительно, что сразу становится понятной и его личность, и его влияние в русской культуре... Нужная и полезная книга, тем более, что ведь сочинения Хомякова давно уже стало невозможно достать.

Можно будет мне возразить, конечно, что Леонтьев, всем существом своим не типичен, что он принципиальный и последовательный враг типичности. Да, конечно, Леонтьев не только не типичен, но «антитипичен» и для русской и для мировой культуры XIX века. Но это-то для него и типично!

Ни в «Египетском голубе», ни в «Дитя души» этого не видно, вернее видно только тому, кто, не ограничиваясь предисловием Филиппова, сумел достать и прочесть хотя бы отрывки из статей Леонтьева, из его «Византизма и славянства», из его писем, кто сумел уже составить себе представление об этой ярчайшей и оригинальнейшей фигуре нашего XIX века, поимки книжки Чеховского издательства. Таких людей очень мало, хотя бы уже потому, что сочинения Леонтьева еще труднее достать, чем сочинения Хомякова.

Издать снова «Египетского голубя» — дело стоящее, не спорю, но издать его, не издав также хотя бы отрывков (а как же можно выбрать отрывки!) из статей и писем Леонтьева, отделаться от любознательного читателя несколькими удачными цитатами в предисловии к «Голубю», значит, прошу простить меня за резкость, обокрасть этого читателя, невольно подменить в его сознании образ Леонтьева-мыслителя, страстно, остро, беспощадно к миру и человеку, Леонтьевым-беллетристом, пусть не лишенным своеобразия и таланта, но ни в какой мере не соответствующим тому месту в русской культуре, которое по праву обозначено его именем.

Пожелаем же Чеховскому издательству восполнить допущенный пробел (это ведь так легко сделать!) и издать в дополнение к «Египетскому голубю» «Избранные сочи-

нения К. Н. Леонтьева». так же хорошо, как это сделано им с «Избранными сочинениями» А. С. Хомякова.

Р. Р.

ПОПРАВКИ

В разделе «Очерки Зарубежья» под «Письмами о Канаде» пропущено имя автора — РОСТИ.

В номере 23 нашего журнала в отчете о журнале «Возрождение» (стр.148 и 149) до-

пущена досадная опечатка. Разбираемые в нем статьи приписаны Ю. Мейеру в то время как автором их является Г. Мейер. Таким образом всюду, где имеется ссылка на автора, нужно иметь в виду Г. Мейера.

«Г р а н и». Журнал литературы, искусства, науки и общественной мысли.

Октябрь - декабрь 1954 года.

Редакционная коллегия: Л. Ржевский (главный редактор), Е. Романов, Н. Тарасова (секретарь редакции).

К печати принимаются только произведения, ранее нигде не напечатанные. Гонорар по соглашению. Рукописи присылать либо отпечатанные на машинке, либо написанные от руки чернилами на одной стороне листа. По поводу непринятых рукописей редакция в переписку не вступает. Желающие получить рукописи обратно должны указать свой адрес. Перепечатка без разрешения издательства воспрещается.

Адрес редакции: Verlag „Possev“. Frankfurt/Main, Merianstraße 24a.

Druck: Possev-Verlag, V. Gorachek K. G., Frankfurt/Main

«ПОСЕВ»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ОБЩЕСТВЕННОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

«ГРАНИ»

Журнал литературы, искусства и общественной мысли

ВЫХОДИТ 4 РАЗА В ГОД

КНИГИ

Большой склад. Специальный каталог

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЗДАТЕЛЬСТВА

«ПОСЕВ»

**ВО ВСЕХ СТРАНАХ РОССИЙСКОГО
РАССЕЯНИЯ**

AUSTRALIEN: B. Jatzenko, 143, Lintonstreet, Kangaroo Point. Brisbane - Mrs. Z. Ilijinsky. Colen Street 161. Perth. West Australien - A. Konovetz. King, s Cross Road 3. King, s Cross, N. S. W. - ARGENTINIEN: G. Knirscha, Pedernera, 772 (Flores), Buenos Aires - BELGIEN: Mr. D. Pletzer. Rue Général Leman 96. Bruxelles - Etterbeek - BRASILIEN: G. Konstantinoff, Caixa Postal 2254, Sao Paulo - DÄNEMARK: Herr F. Ladischensky Virum Stationsvej N 136. Virum pr. Lyngby - ENGLAND: V. V. Baratshevsky, Russian Book Shop 26, Tottenham Street London W 1 - FRANKREICH: Le Semis, Société, d'Edition. 6. rue de Bizerte. Paris 17-e; „La Renaissance“ 73, Av. des Champs - Elysée, Paris 8-e - GRIECHENLAND: Mr. Georg Mazarakis and Co. Patissson Street 9, Athenes - FRANZ. MAROKKO: A. Zvikevitch Boite Postale 85. Aïn-Sebâa, Casablanca - NORWEGEN: Fedor Tarakanow, Krusesgt. 5, Oslo - SCHWEIZ: Leo Grossen, Postfach, Locarno - SCHWEDEN Tidskriften „Possev“, Nygatan 27-B-I Södertälje - USA: Mr. S. Miro. 340. Liberty Avenue Brooklyn 7, N. Y. - Anatol Tzvikevich, 2018 Fell St., San Francisco 17, California, USA, Tel. SK 2 - 2612; B. Belousow. 517. NO. Madison Avenue. Los Angeles 4 California VENEZUELA: Sr. N. Drosdowsky Apartado Correo 4665 Caracas-Este - MALAYA: Mstislav Tairoff, Orchard Road 324 Singapore - TEHERAN: L. Popoff, Avenue Ferdowsi 273 - KANADA: M-r. Romar 1429 Stanley Street, app. 6 Montreal 2. - URUGUAY: Gerzenstein-Smirnov, Joaquin Requena 1654. ap. 2. Montevideo - CHILE: B. Miller, Casilla 13153 Santiago.

ГРАНИ

**ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ**

№ 1

(РАСПРОДАН)

В номере:

Е. Романов — Вместо программной статьи; В. Каралин — Освобождение; С. Павлов — Чужой берег; С. Максимов — Танюша; Б. Вашилов — Агентство «Молниеносный ответ»; М. О. Кубе — В гостях у «дикарей»; А. Угрюмов, А. Неймирок, Ф. Борисов — Стихи; Н. Витов — Гуманизм Федора Достоевского; Ж. П. Сартр — Новая французская литература; Проф. Д. С. — Суриков, как художник-историк; Р. Воробьев — По поводу статьи проф. Д. С. «Суриков, как художник-историк»; Библиография; Из мира литературы, искусства и науки.

№ 2

(РАСПРОДАН)

В номере:

Д. Новоселов — Клоун; С. Максимов — Прохожая; М. Кубе — На севере диком...; Ю. Гошин — Первый шаг; В. Гальской, В. Тополев, А. Котлин, С. Бонгарт, В. Завалишин, Р. Воробьев, И. Елагин, А. Парфенов, А. Угрюмов, О. Анстей — Стихи; Ф. Борисов — Россия и революция; С. Левицкий — Владимир Соловьев; Питирим Сорокин — Течение социальных отношений, войн и революций; Ф. Б.-в. — Древнерусская икона; — Г. Стшелецкий — Автопортреты Рембрандта; Н. В. Ветлугин — Энергия атомного ядра; Библиография; Из мира литературы, искусства и науки.

№ 3

(РАСПРОДАН)

В номере:

Н. Александров — Бамбадон; С. Максимов — Царь Иоанн; Е. Ггарин — Белые ночи; Н. Табурин — Счастье; М. О. Кубе — Забытый адмирал; Проф. И. А. — Встречи с Сергеем Есениным; А. Котлин, А. Парфенов, А. Неймирок, В. Гальской, В. Марков, А. Угрюмов, В. Тополев, В. Завалишин — Стихи; С. Левицкий — Трагедия отвлеченного добра; Р. Воробьев — Социалистическая утопия в России; Николай Саввич — Критик-художник (памяти Петра Пильского); Б. Филиппов — Чудодей песни; Е. Е. Климов — Певец крестьянской детворы; Н. В. Ветлугин — Энергия атомного ядра.

№ 4

В номере:

С. Максимов — Денис Бушуев; Г. Андреев — Новелла о танке; А. Неймирок — Сербские народные былины; Н. Моршен, В. Зава-

лишин, Б. Тополев, Б. Филиппов — Стихи; В. Каралин — Застигнутый посреди дороги; Ф. Сиверцев — Язык и стиль Пушкина; Проф. А. Филиппов — Философия «как будто бы»; К. Сакс — Законы развития искусства; Е. Шугаева — Музыкальная жизнь Америки. В Горич — Нефть; Библиография; В. Стремлев — Послевоенные звезды; А. Флауме — О трех учебных книгах; Из мира литературы, науки и искусства.

Цена 3 марки

за границей — 0,75 доллара

№ 5

В номере:

А. Землев — Родина ветловая; Бор. Зайцев — Сердце Авраамия; Г. Андреев — Встреча; Э. Хемингуэй — Революция; Д. Новоселов — В Коктебеле; Н. Моршен и О. Клычков — Стихи; Л. Ржевский — Живое и мертвое слово; Г. Иссако — Предвоенная эмигрантская поэзия; Н. Кошеватый — Воинствующий материализм, кризис культуры и грядущее новое сознание; Н. Осипов — Внутренняя эмиграция в СССР; В. Марков — О проблемах современной музыки; Е. Шугаев — Кризис современной архитектуры; С. Левицкий — Мировоззрение психоанализа; Н. Рутыч — Куликовская битва; В. Горич — О межпланетных путешествиях; библиография: В. Стремлев — «Размышления о ювелирах».

Цена 3 марки

за границей — 0,75 доллара

№ 6-7

В номере:

С. Максимов — Денис Бушуев.

Цена 8 марок

за границей — 2,50 доллара

№ 8

В номере:

Л. Ржевский — Девушка из бункера; Г. Андреев — Соловецкие острова; Дм. Кленовский и Ник. Моршен — Стихи: Мария Кригер — Отравленная туника; Всеволод Горелов — Бунтовщик и искатель; Капитан Воробьев — Советское танкостроение; Р. Редлих — Культ Сталина. В. Мерцалов — Сталин.

Цена 3 марки

за границей — 1.00 доллар

№ 9

В номере:

Л. Ржевский — Девушка из бункера; В. Мартов — Угасшие звезды; Б. Филиппов — Монастырь; Святое Паозерье; А. Шишкова — Стихи; Л. Р-ский — Закат великих традиций; Н. Рутыч — К вопросу о развитии исторической мысли в СССР; С. Левицкий — Страх свободы; Н. Гаврилов — Цена достижений; Александр Уралов — Реставрация «критики и самокритики»; Библиография; П. Тверской — О русской песне; Л. Р. — Стихи сегодняшней нашей жизни.

Цена 3 марки

за границей — 1.00 доллар

№ 10

В номере:

Г. Андреев — Тамара; Б. Мартов — Угасшие звезды; Григорий Климов — Диалектический цикл; Александр Неймирок — Стихи; Олег Ильинский — Стихи; Борис Филиппов — Петроград-Ленинград; Н. Громов — Кто победил?; А. Седов — Искусственное превращение элементов; Л. Ржевский — Светофоры на путях советского языкознания; В. Мерцалов — Животноводческая трехлетка; Н. Аркадьев — Книга, не достойная героев.

Цена 3 марки

за границей — 1.00 доллар

На складе издательства есть небольшое количество старых (4 - 10) номеров.

Цена отдельного номера: 3 марки (за границей 1 доллар с пересылкой).

Цена номера 6-7 — 8 марок (за границей 2.50 дол.)

№ 11

В номере:

Л. Ржевский — Девушка из бункера; Д. Кленовский — Стихи; С. Юрасов — Из цикла «Переводы самого себя»; Н. Аркадьев — Когда-то осенью; Г. Круговой — Непринятая жертва; В. Марков — Стихи. Переводы; Документы нашего времени — И Т К; Жак Сорель — Запад и мы; Н. Осипов и Р. Редлих — Сознание и «сознательность»; Г. Андреев — Годы рождения 1927-1930; В. Мерцалов — Закрепощение трудящихся и трудовые резервы СССР; Библиография; Отдел пародий.

Цена 4 марки

за границей — 1,25 доллара

№ 12

В номере:

С. Юрасов — «Враг народа»; О. Ильинский — Стихи; Г. Андреев — Л. Ржевский — Награда; Н. Моршен — Стихи; Б. Филиппов — О многом; А. Шишкова — Стихи; Н. Берберова — Владислав Ходасевич; А. Трушнович — Берлин — окно в Россию; Э. Ройтер — Речь на собрании «Свободного Союза русско-немецкой дружбы»; Библиография.

Цена 4 марки

за границей — 1,25 доллара

№ 13

В номере:

Л. Ржевский — Между двух звезд (роман); Н. Соколов — Пути-дороги (роман); Г. Андреев — При взятии Берлина (рассказ); Стихи эмигрантского рассеяния; В. Мартов — Угасшие звезды (роман); Б. Вышеславцев — Вольность Пушкина; В. Марков — Творческий облик А. Жида; Н. Рутыч — Декабристы; Н. Тарасова — Поединки генералиссимусов; Л. Осипова — Стахановский миф; Отдел пародий.

Цена 4 марки

за границей — 1,25 доллара

№ 14

В номере:

Е. Гагарин — Возвращение корнета; В. Свен — Певчая печка; О. Анстей, А. Лисицкая — Стихи; В. Мартов — Угасшие звезды; В. Марков — Творческий облик Андре Жида; С. Левицкий — Достоевский и кризис гуманизма; М. Балмашев — М. Н. Ермолова, великая русская актриса; Библиография.

Цена 4 марки

заграницей — 1,25 доллара

№ 15

В номере:

А. Ремизов — Стекольник; А. Неймирок — В поисках; Б. Филиппов — Два рассказа; Л. Алексеева — Стихи; А. Кашин — Желтая Волга; О. Ильинский — Стихи; В. Свен — Канал пяти морей; О. Емельянова — По следам тоголевского юбилея; В. Вейдле — Старость Шекспира; Документы нашего времени: Годы армии 1945-49; Р. Редлих — Актив — социальная опора советской власти; Н. Д. Добровольская — Завадская — Явления жизни в научном освещении. Библиография.

Цена 4 марки

Заграницей — 1,25 доллара

№ 16

В номере:

Н. А. Тэффи — Анюта. Русь; Л. Ржевский — У Тэффи; Б. Ширяев — Овечья лужа; А. Неймирок, О. Можайская, А. Шишкова — Стихи; Г. Андреев — После концлагеря; В. Мерцалов — По Голландии; Г. Алексинский — Воспоминания о Н. А. Тэффи. Критика — Публицистика — Наука: Л. Р-ский — Когда Илья Эренбург молился; Н. Донец — Проблемы истины и ее решение Лениным; С. Левицкий — Безумие рационализма; Н. Рутыч — Казань. Библиография.

Цена 4 марки

Заграницей — 1,25 доллара

№ 17

В номере:

Л. Алексеева — Весенний цикл; И. Сургучев — Кающийся бес; Н. Тарасова — У границы; А. Кашин — Ожидание; В. Свен — Пришвинское; С. Орлов — Из лирического блокнота (стихи); Н. Соколов — Пути-дороги; В. Свен, А. Искандер — Охотничьи рассказы; Н. Кошеватый — Встречи с А. Бельм; А. Трушнович — Кембридж; В. Самарин — Фронт в тылу; Н. Арсеньев — Русские просторы и народная душа; Р. Редлих — Работники большевистского аппарата; Книжное обозрение.

Цена 4 марки

Заграницей — 1,25 доллара

№ 18

В номере:

И. Бунин — Сны; В. Филиппов — Счастье; Г. Андреев — Будет хорошо; Г. Петров — Ленинградский Петербург; Ф. Барков — Строители Петербурга; А. Касим, А. Лисицкая — Стихи; В. Гроссман — За правое дело (главы из романа); Н. Анатольева — В неравном бою; В. Самарин — Фронт в тылу (из опыта минувшей войны); В. Ильин — Сергей Прокофьев. Книжное обозрение.

Цена 4 марки

за границей — 1,25 доллара

№ 19

В номере:

А. Кашин — Мои знакомые. Повесть первая. Мишка и другие; А. Дар, Олег Ильинский, Александр Неймирок, Екатерина Таубер, Игорь Чиннов — Стихи; В. Свен — Каламбай; Алексей Ремизов — Статуэтка; Ирина Сабурова — Вара; Документальная проза: Лев Дувинг — Великая скорбь; Критика и публицистика: Н. Тарасова — Тринадцатый апостол; Гр. Забежинский — Н. Г. Чернышевский и его «эстетика»; С. Левицкий — Об одной забытой полемике; В. Марков — Человек в джунглях; Книжное обозрение.

Цена 4 марки

за границей — 1,25 доллара

№ 20

В номере:

Л. Ржевский — Памяти И. А. Бунина; И. Сургучев — «За чахохбили» (сцена из пьесы «Вождь»); А. Кашин — Мои знакомые. Повесть вторая. Чортово колесо; Л. Алексеева — Маленькие рассказы: Тедди из Стокгольма. Экватор. Падение Семена Семеновича. Как мы были артистами. Золотые туфельки; К. Гершельман — Стихи; В. Ширяев — Горка Голгофа; В. Самарин — Город контрастов — Нью-Йорк; Ф. Барков — Художник Ф. Я. Алексеев, родоначальник русского городского пейзажа (1753 - 1953); Алексей Ремизов — «Потихоньку, скоморохи, играйте»; Н. А. Горчаков — Евреинов; Н. Тарасова — Тринадцатый апостол; Д. Кленовский — Окультные мотивы в русской поэзии нашего века; Н. Арсеньев — О духовной традиции и о «разрывах» в истории культуры; Книжное обозрение.

Цена 4 марки

за границей — 1,25 доллара

№ 21

В номере:

Л. Ржевский — Сентиментальная повесть; Д. Кленовский — Два стихотворения; Анатолий Дар — Солнце все же светит; О. Анстей, Борис Нарциссов — Стихи; В. Свен — Селигер; В. Унковский, Т. Алексинская — О Куприне; В. Самарин — За спинами героев; Л. Осипова — Дневник коллаборантки; Борис Филиппов — Глухие времена стенания; Гр. Забежинский — Критическое о критиках. Книжное обозрение.

Цена 4 марки

за границей — 1,25 доллара

№ 22

В номере:

Георгий Петров — Её не будет больше никогда; Л. Алексеева — Мой осколок; Н. Неймирок — Товарищ баронесса; А. Кашин — За жизнью жизни!; А. Ремизов — Три сказки; В. Свен — Серка; И. Сургучев — Письмо Периколы; В. Филиппов — Стена; А. Лисицкая — Сонеты; Анатолий Дар — Солнце всё же светит; А. П. ЧЕХОВ. Этторе Ло Гатто — Чехов в Италии; Николай Татищев — А. П. Чехов и французы; К. Фитц-лайн — Чехов в английской литературе; Грета Йельм — Чехов-драматург в Швеции; Виллиам Йенсен — «Вишневый Сад» в Дании; А. Н. — Чехов у сербов; Глеб Струве — Чехов, Мейерхольд и фальсификаторы; В. Марков — О Хлебникове; С. Левицкий — С. Л. Франк и его учение; Е. Двойченко-Маркова — Пулково и американские астрономы; Книжное обозрение.

Цена 4 марки

заграницей — 1,25 доллара

№ 23

В номере:

В. Свен — Бунт на корабле; Л. Алексеева — Стихи; А. Франк — Героические рассказы; Анатолий Дар — Солнце всё же светит (роман); А. Касим — Стихи; Федор Пульман — Сердце Фландрии; А. Крамаровский — На святой земле; Л. Дувинг — Великая скорбь; Дм. Кленовский — Казненные молчанием; Н. Тарасова — Об источниках живой воды; Г. Забежинский — Критическое о критиках; Н. Татищев — О современной французской мысли; Книжное обозрение.

Цена 4 марки

заграницей — 1,25 доллара

Вышла из печати и поступила в продажу книга

А. Р. Трушнович

ЦЕНОЮ ПОДВИГА

Сборник, носящий подзаголовок «Избранное», принадлежит перу известного мировой общественности и, прежде всего, российскому зарубежью, политического деятеля и публициста Александра Рудольфовича Трушновича, председателя Берлинского Комитета помощи российским беженцам. Год назад агенты МВД осуществили свой давно подготавливавшийся злодейский замысел и похитили доктора А. Р. Трушновича, непримиримого борца за освобождение России

Статьи, вошедшие в книгу «Ценою подвига» представляют собой крупный вклад в разработку вопросов революционной борьбы с коммунизмом, а в серии «Через вооруженное восстание к революции» показывают роль передовых идей, ведущих к национально-освободительной революции.

Цена 6 марок

С заказами обращаться в Издательство «Посев»

Verlag „P o s s e v“ - Frankfurt-Main, Merianstraße 24-a

Издательство имени Чехова

Chekhov Publishing House of the East European Fund, Inc.
New York, N. Y., U. S. A.

ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:

ВИНСТОН С. ЧЕРЧИЛЛЬ — Вторая мировая война. Перевод с английского.
Книга 1 — От войны до войны (1919-1939)

418 стр. Цена 7.60 н.м.

Книга 2 — Сумерки войны.

312 стр. Цена 7.60 н.м.

Книга 3. — Падение Франции.

350 стр. Цена 7.60 н.м.

ФРЕДЕРИК ЛЮИС АЛЛЕН — Большие перемены. Перевод с английского.

346 стр. Цена 7.60 н.м.

И. А. БУНИН — Петлистые уши и другие рассказы.

383 стр. Цена 8.20 н.м.

П. А. БУРЫШКИН — Москва купеческая.

350 стр. Цена 8.20 н.м.

Большой князь ГАВРИИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ — В мраморном дворце.

412 стр. Цена 8.20 н.м.

СЕРГЕЙ МАКОВСКИЙ — Портреты современников.

413 стр. Цена 8.20 н.м.

Н. Н. ЕВРЕИНОВ — История русского театра (С древнейших времен до 1917 г.).

413 стр. Цена 8.20 н.м.

В. П. ЗИЛОТИ — В доме Третьякова.

347 стр. Цена 7.60 н.м.

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ — Сожженная Москва.

316 стр. Цена 6.90 н.м.

НИКОЛАЙ КЛЮЕВ — Полное собрание сочинений. Под редакцией Б. Филиппова.

Том I 428 стр. Цена 8.20 н.м.

Том II 300 стр. Цена 8.20 н.м.

К. ЛЕОНТЬЕВ — Египетский голубь. Дитя души.

412 стр. Цена 8.20 н.м.

МАРК ВИШНЯК — Дань прошлому.
409 стр. Цена 8.20 н.м.

ВЛАДИМИР НАБОКОВ — Дар.

411 стр. Цена 8.20 н.м.

ВЛАДИМИР НАБОКОВ — Другие берега.

270 стр. Цена 6.30 н.м.

ХОСЕ ОРТЕГА и ГАСSET — Восстание масс. Перевод с испанского.

200 стр. Цена 5.60 н.м.

Ю. САЗОНОВА — История древнерусской литературы.

Том I 411 стр. Цена 8.20 н.м.

Том II 412 стр. Цена 8.20 н.м.

Свящ. А. СЕМЕНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ — Отец Иоанн Кронштадтский.

380 стр. Цена 8.20 н.м.

АНРИ ТРУАЙЯ — В горах. Перевод с французского.

163 стр. Цена 5.60 н.м.

АЛЕКСЕЙ ХОМЯКОВ — Избранные сочинения. Под редакцией проф. Н. Арсеньева.

415 стр. Цена 8.20 н.м.

ГЕРБЕРТ АГАР — Авраам Линкольн. Перевод с английского.

156 стр. Цена 5.00 н.м.

ГЛЕБ ГЛИЦКА — На перевале.

414 стр. Цена 8.20 н.м.

М. А. АЛДАНОВ — Ключ.

404 стр. Цена 8.20 н.м.

О. ГЕОРГИЙ ШАВЕЛЬСКИЙ — Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота.

Том I 415 стр. Цена 8.20 н.м.

Том II 413 стр. Цена 8.20 н.м.

БОРИС ШИРЯЕВ — Неугасимая лампада.

408 стр. Цена 8.20 н.м.

КНИГОТОРГОВЦАМ ОБЫЧНАЯ СКИДКА

ТРЕБУЙТЕ ЭТИ КНИГИ В КНИЖНОМ ОТДЕЛЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»

у представителей «Посев» за границей, а также в русских книжных магазинах.

Если у Вашего книгопродавца не окажется книг нашего издательства, то обращайтесь непосредственно к издательству по адресу:

Verlag „P o s e v“ - Frankfurt-Main, Merianstraße 24-a

Цена 4 марки
